

# ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

6



1954

# ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Год издания XXII

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

№ 1954 год

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ: <b>Константин Овечкин</b> — Земля амурская моя! <b>Степан Смоляков</b> — Чабан летит в Москву, На охоте; <b>Леонид Андреев</b> — В Амурском лимане, На заставе, <i>стихи</i> . . . . .	3
Георгий <b>МАРКОВ</b> — Соль земли, <i>роман, окончание</i> . . . . .	5
Михаил <b>НАЙДИЧ</b> — Два стихотворения . . . . .	109
Олег <b>СМИРНОВ</b> — Незванный гость, <i>рассказ</i> . . . . .	110
ЛИРИЧЕСКОЕ РАЗДУМЬЕ: <b>Вячеслав Кузнецов</b> — Вожатому Володе, Сестренка, Поэту; <b>Анатолий Рыбочкин</b> — В дороге, Из окна вагона, Соловей; <b>Борис Можяев</b> — Два письма, <i>стихи</i> . . . . .	115

## ПУБЛИЦИСТИКА

А. УИННИНГТОН и У. БЭРЧЕТТ — Открытое вероломство, <i>перевод с английского</i> . . . . .	118
В. ЕФИМЕНКО — Происки США в Юго-Восточной Азии . . . . .	130

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. ПЕТРОВ — Народ — главный герой современной китайской литературы . . . . .	141
О. ЖУРАВИНА — Повести М. В. Миронова . . . . .	148
Н. РОГАЛЬ — «Невидимки за работой» . . . . .	151
Новые книги . . . . .	155
Содержание журнала «Дальний Восток» за 1954 год . . . . .	158

Технический редактор *М. Д. Кайдалова*. Корректор *А. Я. Борисс*.

---

Подписано к печати 16 декабря 1954 года.

Бумага 70 X 108/16 = 5 6. л., 13,7 п. л., 15,93 уч.-изд. л.

ВЛ

05093

Тираж 8 500 экз.

Цена 7 руб.

---

Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Ким Ю-чена, 9.  
Заказ № 4391. Типография № 5 Госстатиздата, г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 3.

---

---

# ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Константин Овечкин

## ЗЕМЛЯ АМУРСКАЯ МОЯ!

По этим сопкам и долинам  
Я столько раз пешком ходил,  
Я слушал клекот журавлиный,  
Стоял у дедовских могил.

И не одну былину кедры  
Шептали мне в суровый год.  
Меня сбивали в бурю ветры,  
Я попадал не раз под лед,

С амурских сопок под Полтаву  
Перевезенный в новый сад,  
Привился и растет на славу  
Дальневосточный виноград.

И так же величаво, пышно  
У нас, уже который год,

Тонул в болоте. И в смятеньи  
Бродил в степи. И до утра  
Дрожал под дождиком осенним  
Я у потухшего костра.

Да, было трудно мне. Ну что же!  
Зато узнал немало я.  
И мне теперь стократ дороже  
Земля амурская моя!

Цветет украинская вишня  
У голубых амурских вод.

В народе говорят любовно.  
Что это — символ дружбы кровной.

Степан Смоляков

## ЧАБАН ЛЕТИТ В МОСКВУ

Под крылом проплыла города.  
Глянешь вниз — и непонятно: что там?  
Облака бегут под самолетом  
Или тонкорунные стада?

Для кого — оптический обман,  
Для него ж — он сравнивает строже —  
Облака не могут быть похожи  
Ни на что другое. Он чабан.

И пускай остались далеко  
Где-то настоящие отары —  
Он поет, поет, табунщик старый,  
В чистом небе дышится легко.

Где-то там, в бездонной глубине,  
Поезда попутные мелькнули.  
Там к стеклу дружки его прильнули,  
Самолет увидевши в окне.

Ждет в Москве заветный павильон  
Чабана колхозного с друзьями.  
Над родными тихими полями  
В ясном небе проплывает он.

Сотни замечательных картин  
Чабану навстречу пронесутся...  
А внизу, над золотом равнин,  
Облака барашками пасутся.

## НА ОХОТЕ

Вот ты снова один на один  
С предосенним леском опустелым.  
Сердце спросит: а всё ли ты сделал.  
Доживая до первых седин?

То любил ли, что надо любить?  
Всё ли отдал родимым просторам?  
Не вступал ли с пустым уговором  
Там, где надо, как саблей, рубить?

А природа вокруг — хороша!  
Где-то утка в заливе ютится,  
И летит, как под облаком птица,  
В безграничном полете душа.

За плечами двустволка висит.  
Шум воды — в сапогах-скороходах...  
Нет, не праздный в природу визит  
Твой нелегкий охотничий отдых.

Протянулась гусей полоса  
Над протоками к дальнему югу...  
Здесь — слышнее друзей голоса,  
Здесь — ответишь ты каждому другу:

«То люблю я, что вы сберегли,  
С тем борюсь я, что вам ненавистно.  
Что зловещую тенью нависло  
Над границами вольной земли,

Той земли, по которой иду,  
На которой, всё лучшее сделал,  
На прекрасном пути без пределов,  
Как в атаке солдат, упаду».

Нет охотничьим тропам конца.  
Скоро в сумерках тени растают...  
Ты идешь. И в тиши вырастают  
За плечами доспехи бойца.

Леонид Андреев

## В АМУРСКОМ ЛИМАНЕ

Гладкой неприступною стеною  
Поднималась к облакам скала,  
И на ней, высоко над рекою.  
Лиственница старая росла.

По уступу не пройти и лани.  
День и ночь грохочут валуны,  
А внизу — холодный серый камень  
Да неугомонный рев волны.

Кто-то злой, чтоб иссушить ей ветви,  
Два могучих корня отрубил,

Но она в скалу вонзила третий,  
Уцепившись, сколько было сил.

И стоит с тех пор, с ветрами споря,  
В непогоду, стужу и туман,  
Будто стережет наш выход в море,  
Наш восточный выход в океан.

Спросите: какой незримой силой  
Дерево держалось на скале?  
Той же самой, что и нас вскормила,  
Тою удивительною силой,  
Что заложена в родной земле.

## НА ЗАСТАВЕ

На пригорке, прямо у границы,  
Вырос молодой высокий клен.  
Про него недаром говорится,  
Что в березку он влюблен.

Он всегда подтянут по уставу,  
По-военному красив и строг,

Без него далекую заставу  
И представить я не мог.

Золотой тесьмой, как у петличек,  
Каждый лист у клена окаймлен.  
Он стоит, совсем как пограничник,  
На прибрежном склоне, клен.

---

---

Георгий Марков

## СОЛЬ ЗЕМЛИ

Роман\*

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава двенадцатая

1

Марина была убеждена, что Григорий еще не раз попытается вернуть ее расположение к себе. Она знала, что он умел это делать, не щадя собственного самолюбия, и, как это уже было не раз, вызывал в ней вначале жалость, а потом и прощение.

Втайне она боялась встречи с ним. Она боялась не его, а себя, своей доброты, своего благорасположения к людям. Она боялась, что и на этот раз может простить его, примириться с ним, не устоять перед его горячими просьбами и клятвами.

Григорий встретил ее у дверей. Вид у него был виноватый, глаза тоскливые, волосы взъерошены. Даже костюм, о котором он умел заботиться при любом настроении, сейчас был сильно измят. От Григория пахло водкой.

— Мариночка, я прошу тебя уделить мне полчаса, — сказал он тем вкрадчивым, осторожным голосом, который как бы подчеркивал его миролюбие и готовность быть другим.

Марина посмотрела на него, и хотя в душе у нее что-то всколыхнулось навстречу его словам, твердо сказала:

— Ни полчаса, ни десять минут я не могу уделить вам. Я прошу вас понять, что мы чужие. Я решила это окончательно. И ничто не изменит моего решения.

Григорий затряс головой, собираясь не то закричать, не то заплакать, но Марина опередила его:

— Всё!

— Всё, — механически повторил он.

— Я хочу знать, как вы думаете о квартире? — спросила она, стараясь не глядеть на него.

Григорий молчал. Об этом он не подумал ранее потому, что был уверен, что Марина отойдет. «Ей всё-таки четвертый десяток. Не много до нее охотников найдется, когда молоденьких девать некуда. Образуется!» — думал он с обычной для него самоуверенностью и цинизмом.

\* Окончание. Начало см. журнал «Дальний Восток» № 5 за 1954 г.

И теперь он не знал, что сказать ей. Правда, квартира была ее, предоставленная институтом, и он не имел на нее никаких прав, но он здесь жил, был прописан и уж во всяком случае мог претендовать на одну комнату. Однако, быстро взвесив в уме все обстоятельства своего нового положения, он понял, что Марина не пожелает оставаться с ним под одной крышей. Она переедет, и, вероятнее всего, к брату. А это выбьет у него из-под ног почву для примирения с ней. Потерять же Марину, как жену, навсегда он пока не собирался. Григорий знал, что даже самые близкие его друзья называли бы его за это глупцом или младенцем. Марина была не только крупным ученым, но ее ум и талант одновременно сочетались с редкими женскими качествами. Она обладала привлекательной внешностью, добрым ровным характером и излучала то очарование, под воздействие которого попадали все, с кем она общалась: все мужчины поголовно и все женщины, за исключением лишь тех, в ком зависть к Марине разжигала недоброжелательство.

— Я перееду к маме, — кротко сказал Григорий, решив, что если Марина останется здесь, то у него будет больше шансов уже в ближайшем будущем вновь вернуться сюда.

— Я вас прошу сделать это сегодня же, — Марина отметила про себя свою твердость и уверенность в том, что сейчас ничто не могло бы изменить ее чувств.

— Еще что вы требуете от меня? — спросил Григорий, пытаясь усмехнуться.

— Об остальном с вами будут говорить те, кому дано на это право.

— И вам не кажется это жестоким? — Голос Григория слегка дрогнул.

— Нет, не кажется. Чтобы вас спасти — осталось одно средство: жестокость. — Слово «жестокость» она произнесла с нажимом.

— Вы в этом убеждены?

— Без колебаний.

— Посмотрим, Марина Матвеевна, посмотрим, — сказал Григорий, не скрывая в тоне голоса вызова и шуря свои черные, блестящие глаза.

— Извините, я не имею больше времени разговаривать, да и не считаю это необходимым, — спокойно сказала Марина и прошла в кабинет.

Только теперь, когда она вошла в кабинет, она почувствовала, сколько сил отнял этот короткий разговор с Григорием. Он стоил ей огромного напряжения! Ноги в коленях дрожали, в руках была такая слабость, что она не могла ими шевельнуть, в ушах потренькивали звоночки. Марина села в кресло и несколько минут сидела, не испытывая желания чем-либо заняться. Но когда это состояние крайней усталости прошло, она передвинулась к столу и раскрыла третий том «Войны и мира».

Ее ощущение творчества Льва Толстого сближалось с ощущением природы. Часто в минуты крайнего душевного напряжения, или, точнее, душевного беспокойства, и в годы войны, и до нее, и после, ей приходилось бывать в лесу. Оказавшись в лесу, в окружении берез или сосен, или даже прибрежных тальниковых и черемуховых кустов, под высоким бездонным небом, она чувствовала, как душой постепенно овладевает спокойствие, как разум, недавно скованный какой-то одной мыслью, начинает охватывать жизнь целыми глыбами и с самых разных сторон. Природа исцеляла ее от дурного настроения, от болей в голове и сердце, от бессонницы. Она рождала ощущение бесконечности, великости и сложности человеческой борьбы и давала сознанию новые горизонты видения и восприятия окружающего. Сама для себя Марина называла это воспитанием философского отношения к жизни.

Творчество Толстого, по ее ощущению, было столь же великим, вечным и мудрым, как природа.

Марина села поудобнее и принялась читать. Уже через несколько минут она была покорена и захвачена значительностью событий, которые развертывались на страницах книги. Лишь изредка и очень мимолетно вспоминая о себе, она чувствовала, что ее столкновение с Григорием, все ее неурядицы и терзания — это что-то маленькое-маленькое в сравнении с движением народов и судьбами государств.

Изредка до Марины из других комнат доносился шум передвигаемых кроватей, чемоданов, столов и стульев. Это собирался Григорий. Марина продолжала читать, будто, это был не Григорий, а сосед по квартире, собиравшийся в очередную командировку. Но Григорий не хотел уйти незамеченным. Он громко стучал ногами, хлопал одной дверью, другой, третьей. Потом он уронил какую-то посудину, и она со звоном разбилась. «Уронил кувшин с водой, нервничает», — подумала Марина и отложила книгу в сторону.

«Не жалеешь, что он уходит?» — спросила она себя, поглядывая на дверь, за которой он стучал ногами, и не почувствовала ни малейшего сожаления. За последние сутки у нее ни разу не было еще такой ясности в душе, такого сознания справедливости и нужности того, что она делает.

Вероятно, Григорий был уже готов к уходу. По звукам, доносившимся до нее, она поняла, что он вынес чемодан в прихожую. Он усиленно кашлял, вздыхал, гремел ключами. Григорий всячески вызывал ее выйти. Он еще надеялся, что в эту последнюю минуту, когда он, жалкий и униженный, просунет пальцы в ручки чемодана, она, может, бросится к нему или загородит собой двери. Но надежды эти были напрасны. Марина не желала выходить. Она угадывала, что Григорий еще надеется, и знала, что он может встать перед ней на колени, изобразить обморок или кинуться целовать ей ноги.

Наконец он дернул дверь кабинета и, когда убедился, что она закрыта, понял, что ему ждать нечего. Марина услышала, как он осторожно вынес чемодан на площадку и захлопнул дверь на автоматический замок. Затем до нее донеслись его глухие, торопливые шаги. Она знала, что он спешит выйти из дому, чтобы никого не встретить и не дать повода к разговорам. Но едва ли кого-нибудь он мог встретить в такой поздний час: было уже около трех ночи.

Когда шаги его затихли, Марина встала. «Ну вот, осталась одна, как тогда, в войну», — подумала она. Выйдя в прихожую, она постояла, прежде чем войти в столовую и спальню. Ей казалось, что после всех стуков, шумов, громов, которые доносились до нее, она увидит в комнатах беспорядок. Но она ошиблась. В столовой горел свет, и она сразу же увидела, что в комнате всё на месте. «Он был аккуратен, как всегда», — заметила она про себя и прошла дальше, в спальню.

Здесь она увидела перемены. С одной кровати было снято одеяло и взята подушка. Шкаф с одеждой был раскрыт, и та его часть, в которой хранились его костюмы, пустовала.

Марина заглянула в эту пустую часть шкафа и почувствовала, что ей становится страшно. «Совсем, совсем одна, даже в войну так не было», — думала она, стоя без движения перед шкафом.

В войну, когда Григорий был на фронте, Марина все его вещи держала на виду. Рядом с ее пальто висело его пальто. Его кровать была так же застелена, как и ее кровать. В буфете, на полочке, где стояла ее посуда, была и его посуда: стакан в золоченом подстаканнике, тарелки, нож, вилка, ложка. У нее часто возникало ощущение, что он дома, но

только задержался где-нибудь на заседании. И это ощущение она очень ценила.

Женщине, которая приходила к Марине готовить обеды и убирать в квартире, она наказала все вещи мужа оставлять на своих местах и ничего никуда не передвигать. Женщина не расспрашивала Марину, почему этого не следует делать. Она сама была женой фронтовика и так же берегла вещи своего мужа. Пусть это было наивным для некоторых рационалистов, но миллионам женщин подобные поступки приносили непроходящее ощущение близости к любимым и помогало обрести ту стойкость в испытаниях войны и разлуки, которая изумила весь мир.

Словно очнувшись, Марина быстро вышла из спальни и направилась к буфету. Ни стакана в золоченом подстаканнике, ни столового прибора она не нашла. Это был ее подарок Григорию, и он, конечно, взял его в первую очередь.

Горькое уныние с новой силой стиснуло ее сердце. В голове всё закружилось: и стены комнаты, и предметы, стоявшие в ней, задвигались и поплыли, как в театре на вращающейся сцене. Боясь упасть, Марина опустилась на диван. Мысли и чувства, только что текшие с такой ясностью и спокойствием, что она сама себе удивлялась, вдруг потеряли всякую стройность. Она почувствовала то, что чувствовала уже не раз: все противоречия людской жизни переместились в ее душу и безжалостно рвут ее на части. Что она сделала! Она добровольно наложила на себя оковы такого одиночества, которого у нее не было даже в годы войны. Тогда у нее была надежда, а теперь не осталось ничего. Ей захотелось заплакать, чтоб омыть свое горе слезами, почувствовать ту легкость, которая приходит после слез. Но глаза были сухими, и слезы как на зло не появлялись. Она долго лежала на спине, с открытыми глазами, не замечая, что в окна светлой полосой неслышно вливается рассвет.

Мысли теснились беспорядочно, и ей не сразу удалось придать им логику.

«Ну что ж, верни его, если тебе горько, — думала Марина, обращаясь к себе, будто она была не она, а кто-то другой, с кем она имела право говорить прямо и открыто, как с собой. — Верни, чтоб еще и еще раз быть обманутой и оскорбленной... Уж если у него хватило совести красть твои мысли, то неужели ты думаешь, он не обманывал тебя как женщину? Верни его! Закрой глаза на его низость и не думай об этом в минуты, когда он снизойдет до тебя со своими ласками...»

Марина дрожала от этих мыслей, но остановить себя или взять другой тон у нее не было сил. Голос, которым говорил в ней ее собственный разгоряченный разум, был жесток и неумолим. Она припоминала некоторые высказывания Григория, его отдельные поступки, поражавшие ее, и видела, что все они имеют свои связи с этим последним его поступком.

Не гася света, тут же на диване, она уснула, обессиленная переживаниями этого дня. Как это ни странно, она спала крепким, здоровым сном и проснулась только в девять утра. Ей почему-то самой перед собой было неудобно за этот глубокий, безмятежный сон. Принимая ванну, она думала над тем, что всё это значило. И вывод, к которому она пришла, обрадовал и успокоил ее. Ей казалось, что она спала так хорошо потому, что решение порвать с Григорием было правильным и удовлетворяло ее совесть.

Присев за стол завтракать, она на мгновение почувствовала тоску одиночества. Но это чувство не захватило ее и не вызвало никакого раскаяния.

Она вышла из дому с твердым намерением сейчас же отправиться к директору института Водомерову и профессору Великанову и рассказать обо всем, что произошло у нее с Григорием.

Припоминая свои слова о жестокости, сказанные вчера Григорию, Марина и теперь повторила их. «Конечно, ему будет неприятно и горько. Возможно даже, что руководство института отчислит его, — думала она. — Но как же поступить иначе? Пока он еще молод, — это многому научит его. Он поймет, как надо ценить чужой труд, и, поняв это, научится по-настоящему уважать и любить свой труд. И никто, ни один разумный человек не упрекнет меня в жестокости».

Но чем больше приближалась Марина к институту, тем хаотичнее становились ее мысли. Всё чаще и чаще возникали в голове вопросы: «А уж так ли велико преступление Григория? Не прав ли он в том, что она, Марина, излишне щепетильна в отношении своего научного творчества? Не является ли ее поведение эгоистичным?»

Еще вчера, ставя перед собой эти вопросы, Марина давала на них отрицательные ответы. Сейчас она не чувствовала себя уверенной, ей казалось, что она еще не всё обдумала.

## 2

Не замечая ни расстояния, ни погоды, ни прохожих, занятая только своими размышлениями, Марина подошла к институту.

Институт размещался в большом четырехэтажном доме на одной из главных и очень оживленных улиц. Это было массивное здание. Трудно было отнести его к какому-нибудь одному архитектурному стилю. Здание представляло собой сочетание стилей, отражавших вкусы, потребности и характер различных эпох. Оно было построено в восьмидесятые годы прошлого столетия просвещенным купцом как здание для гимназии. В годы первой мировой войны гимназия была закрыта и в здании разместились юнкерская школа. Военное ведомство, идя навстречу потребностям жизни, срочно пристроило к двухэтажному дому новое крыло. Пристройка казармы не соответствовала ампиру, в котором был исполнен основной фасад, и сделала здание просто уродливым.

После революции в здании разместился государственный банк, а затем коммунистический университет. К основному фасаду в тридцатые годы было пристроено еще одно крыло, в стиле тех коробкообразных, с обширными безвкусными окнами зданий, которые появились у нас в городах в первые пятилетки, отражая поиски советской архитектуры и являясь результатом конструктивистских заблуждений некоторых архитекторов.

Когда в тысяча девятьсот тридцать восьмом году здание было передано научно-исследовательскому институту, оно вновь было реконструировано, но теперь уже коренным образом. Надстройка двух новых этажей смягчила разностильность здания, но, разумеется, не настолько, чтоб придать ему единый стиль. Среди однообразных построек старой улицы дом института выделялся своей необычностью.

Марина подошла к институту и в палисаднике, узкой полоской огибавшем лобовую сторону здания, остановилась. Она стояла возле клумбы с буйно разросшимися цветами, но не цветы занимали ее. Дорогой она так и не решила — пойти ли ей к директору института сейчас же или отложить это на завтрашний день. Делая вид, что она осматривает клумбу, Марина думала: «Пожалуй, спешить не буду. Еще и еще раз взвешу и уж тогда без всяких колебаний пойду, если не раз-

думаю совсем». Она постояла еще с полминуты и, чувствуя облегчение от того, что склонилась, наконец, к определенному решению, быстро вошла в помещение.

Кабинеты и лаборатории биологического отдела института размещались на четвертом этаже. Часть этих комнат представляла собой обширные оранжереи под стеклянной крышей и потому в них всегда было светло и солнечно. От цветов, свежей зелени небольших деревьев и земли на четвертом этаже устойчиво держался запах леса и полей. Тут даже зимой, в декабрьские морозы, можно было наслаждаться ароматом цветов и трав.

Марина любила четвертый этаж, любила так, как люди любят свой родной уголок, где они родились, встали на ноги и прожили в радостях и печалих долгие годы. Всё, всё здесь, начиная от микроскопов и длинных ящиков с образцами почвы и кончая круглыми, шарообразными медными ручками на массивных дверях комнат, было дорого и близко Марине.

Институт развевался не только на ее глазах, но при ее ближайшем участии. Марина любила четвертый этаж еще и потому, что стоило ей появиться тут, как тотчас же непроизвольно, независимо от самочувствия или настроения, возникало состояние особого расположения к работе, словно в строгой тишине, царившей на этаже, в близине прочных каменных стен, в ярком, насыщенном солнцем свете, вливавшемся в широкие окна, расположенные в концах коридора, было что-то гипнотизирующее, имевшее власть над человеком.

И сейчас, проходя по длинному коридору к своему кабинету, Марина с волнением подумала о работе, о незаконченных таблицах и диаграммах, отображавших цикличность роста, гибели и возникновения березы в разных климатических поясах страны.

Вход в кабинет Марины был через зал, в котором работали лаборанты. Григорий как-то по этому поводу пошловато сострил: «Твои лаборанты каждого входящего осматривают, как телохранители. Я доволен. Сюда не пройдет незамеченным ни один твой поклонник».

Лаборанты были уже на месте. По внутреннему распорядку института, они являлись на работу на час раньше руководителей отделов и секторов. Марина поздоровалась и хотела пройти к себе.

— Марина Матвеевна, вам срочный пакет, — сказала русоволосая девушка, сидевшая за продолговатым столом, заставленным микроскопами, весами и стеклянными пробирками.

Подходя к столу русоволосой девушки за пакетом, Марина подумала: «От Григория. Прощения просит». Но девушка подала Марине не письмо, а именно пакет. В плотном большом конверте из толстой бумаги лежала, повидимому, какая-то книга или рукопись. Марина бросила взгляд на адрес, написанный размашистым почерком, но почерк ей ничего не сказал. «От кого же это?» — подумала она, перечитывая свое имя, начертанное на конверте, и задерживая глаза на слове «лично», заключенном в жирные скобки.

— Анечка, скажите, это кто доставил? — спросила Марина, задерживаясь у двери своего кабинета.

— Пакет передали, Марина Матвеевна, из комендатуры. Принесла какая-то женщина около восьми утра, — ответила девушка, которую Марина ласково назвала «Анечкой».

Озадаченная Марина торопливо открыла кабинет и захлопнула дверь. Ее так занимало содержание пакета, что, не сняв шляпы и легкого пальто из белого шелкового полотна, Марина подошла к столу, села з кресло и быстро концом ручки вскрыла конверт.

Из конверта она вытащила последний том «Ученых записок», в котором была напечатана злополучная статья Григория. «Неужели у него хватило совести прислать мне на память?» — Марина быстро открыла обложку «Ученых записок» и прочитала написанное его рукой посвящение Софье Великановой.

Посвящение было выпранным и неумным, но тон его был совершенно определенным: так можно писать человеку, с которым либо установились, либо возникают интимные отношения.

Марине показалось, что она летит в бездну с какой-то невообразимой высоты и вот-вот ее сердце не выдержит скорости этого падения. «Неужели? Неужели я ошиблась и еще в одном человеке?» — сдерживая свои чувства и стараясь выйти из этого жутко головокружительного падения, спрашивала себя Марина.

Взглянув на конверт, Марина увидела, что она не всё вытащила из него. Дрожащей рукой она извлекла из конверта лист голубой бумаги и, не прочитав еще ни одного слова, а только взглянув на бегущую вязь из синих чернил, поняла, что письмо было от Софьи.

«Родная моя Марина Матвеевна! Я не знаю, что вы в эту минуту подумаете обо мне — это ваше дело, но не написать этих строк я не могу. Я собиралась вчера еще сказать вам всё это, но оттого, что я не сделала этого раньше, мне ужасно стыдно, стыдно до слез. Я решила прибегнуть к бумаге, возможно из-за малодушия, но иначе я поступить не могу. Я посылаю вам подаренный мне Г. В. том «Ученых записок». Дарственная надпись поразит вас. Верьте мне, как самой себе: ничем, абсолютно ничем я не давала ему повода сделать такую надпись.

И еще одно я вам не сказала прежде, хотя по долгу нашей дружбы была обязана это сделать. Нынче весной Г. В. пригласил меня на вечеринку (вернее, попойку), устроенную его друзьями. Он увлек меня под тем предлогом, что на вечеринке будете вы. Когда же вас не оказалось, он объяснил это вашей занятостью на лекции в каком-то рабочем клубе. Я сбежала с вечеринки в самом ее начале. Это было в тот вечер, когда вы ждали меня у нас в саду с письмом от Алексея.

Я сообщаю вам всё это по двум причинам: во-первых, потому, что я хочу, чтоб вы знали о нем всю правду; во-вторых, потому, что я хочу, чтоб в моей душе не оставалось ничего-ничего для вас неизвестного.

Простите меня великодушно, если я вам сделала больно, и знайте, что я со вчерашнего дня уважаю и люблю вас еще больше, чем раньше.

*Преданная вам С. В »*

Первое ощущение, которое испытала Марина, прочитав письмо, было ощущение стыда. Как у нее могла шевельнуться мысль относительно нечестности этой замечательной девушки? Это чувство было таким острым и сильным, что новая обида, нанесенная Григорием, как-то сразу погасла, как гаснет вспыхнувший, но не успевший разгореться костер. Марине захотелось сейчас же, не откладывая ни на одну минуту, сказать Софье, что она верит ей и ценит ее дружеское участие. Марина быстрыми движениями пальцев набрала номер телефона Софьи, и когда та, почувствовав, кто звонит, робко назвала себя, Марина, горячо дыша, сказала:

— Соня, вы благородный, хороший человек. Спасибо вам. Вы настоящий друг. Еще раз спасибо вам.

Софья радостно вскрикнула в трубку, но говорить ничего не могла. Марина подождала несколько секунд и положила трубку на аппарат.

— Что же делать дальше? — вслух, довольно громко произнесла Марина и с усмешкой подумала: «А дальше надо снять шляпу и пальто». Она подошла к вешалке, стоявшей в углу ее кабинета, и не спеша, боясь рассыпать прическу, стала снимать шляпу.

«Не думаете ли вы и теперь откладывать свое посещение директора на следующий день? Может быть, вам всё еще что-нибудь не ясно?» — спросила она себя мысленно и, не ответив, попрежнему в пальто подошла к телефону. На столе у нее стояло два телефонных аппарата: один городской, второй — внутренний.

Она взяла трубку внутреннего телефона и попросила телефонистку институтского коммутатора соединить ее с секретарем директора.

— Наталья Константиновна, добрый день. Скажите, пожалуйста, Илья Петрович у себя? — спросила Марина, услышав голос секретарши.

Наталья Константиновна, пожилая добродушная женщина, любила Марину, как и все служащие института, за ее внимание к рядовым работникам и мягкосердечие к людям и охотно сообщила, что директор у себя уже около часу, что недавно к нему в кабинет прошел профессор Захар Николаевич Великанов и что оба они в чудесном настроении, так как, дважды побывав с бумагами в кабинете, она видела их смеющимися и необыкновенно веселыми. «Ах, хорошо бы захватить их вместе. Можно сразу поговорить бы и о Григории и решить вопрос с поездкой в экспедицию», — подумала Марина.

— Вы не могли бы узнать, Наталья Константиновна, можно мне сейчас зайти к Водомерову? Мне очень нужно повидать и его и Захара Николаевича, — сказала Марина. Секретарша с готовностью согласилась сходить к директору и передать ему просьбу Марины. Марина ждала ее возвращения, не кладя трубку.

— Приходите, Марина Матвеевна. Они ждут вас, — послышался голос секретарши через одну-две минуты.

Марина сняла пальто, вынула из сумки зеркальце, поудрила лицо и вышла из кабинета. Спускаясь по широкой лестнице, Марина думала, как ей лучше начать разговор с руководителями института. «Противно начинать с Григория, — размышляла она, — сперва поговорю об экспедиции, а уж потом об остальном».

Марина довольно часто бывала и у директора и у профессора Великанова и посещение их кабинетов было для нее делом обычным. Но сейчас она волновалась. Желая успокоиться и собрать мысли, которые вдруг стали расплываться, она шагала по гранитным ступеням осторожно, не торопясь, и глядя на нее со стороны, можно было подумать, что она идет так потому, что боится поскользнуться и упасть.

Кабинет директора института представлял собой длинную продолговатую комнату, но без обилия света и солнца, которое было на четвертом этаже. Света и солнца было мало здесь не из-за недостатка окон, а потому, что все они наполовину были закрыты двойными портьерами из белого шелкового полотна и темношоколадной узорчатой тяжелой ткани. Марину всегда раздражало, когда люди неразумно ограничивали доступ воздуха и света. Однажды она посоветовала директору велеть уборщицам раздвигать портьеры до конца карнизов. Но Водомеров сказал, что у него часто болит голова и яркий свет ему мешает. Тут же он

добавил, что любит электрический свет под абажуром, который успокаивает его и сосредоточивает внимание. С тех пор Марина ничего не говорила директору о свете, но всякий раз, бывая в его кабинете, с трудом удерживалась от желания подойти к окнам и раздвинуть шторы.

Центральное место в кабинете директора занимал письменный стол. Это был необычный стол, раза в два длиннее и шире тех столов, которые в бесчисленном множестве стоят в кабинетах управляющих, директоров, начальников, заведующих. Кроме бумаг и книг, на столе, на специальных металлических подставках лежали кусок торфа в целлофане и кусок соснового дерева. Под стеклом в аккуратном ящичке, разделенном на квадраты, хранились образцы семян льна, ржи, пшеницы. Рядом с письменным прибором стояла модель смологонной установки. Практически всё это директору было не нужно, предметы лишь загромождали стол, но ни предшественники Водомерова, ни он сам не трогали их и, очевидно, потому, что они напоминали о назначении учреждения, расположенного в этих стенах.

Второй стол, не письменный, а обычный, на простых точеных ножках, стоял ближе к стене. Он был накрыт зеленым сукном. На нем стояли два кувшина с водой и три пепельницы. За этим столом проходили заседания. В углу поблескивал никелированными ручками сейф кофейного цвета. По размерам комнаты вещей, находившихся в ней, было мало, и от этого кабинет напоминал скорее зал или аудиторию.

Водомеров и Великанов поднялись навстречу Марине. Взглянув на них, она поняла, что они разговаривали о ней. Отпечаток легкого смущения изобразился на их лицах. «Неужели Соня рассказала обо всем отцу?» — промелькнуло в голове Марины.

Директор института Водомеров, полный, сидящий пятидесятилетний мужчина, пристукнув каблуками сапог, наклонил крупную голову и крепко пожал Марине руку.

— Ну, вот хорошо, что вы сами пришли, — сказал он чуть хрипловатым голосом.

Водомеров, как обычно, был одет в китель и брюки галифе из шерсти защитного цвета. Он ходил в полувоенном костюме и зимой и летом и никто в институте не видел его одетым иначе. Водомеров любил всё военное: вместо пальто он носил шинель, не признавал шляп и кепок и ходил в фуражке. Он всегда был тщательно выбрит, туго запоясан широким офицерским ремнем, и если встречал кого-либо из знакомых на улице, то приветствовал непременно по-военному — прикладывая руку к козырьку. Временем он пользовался так, как это принято у военных — не разделяя суток пополам. «Вы придете ко мне в двадцать ноль-ноль», или «Заседание состоится в семнадцать тридцать», — любил говорить он. Когда к нему обращались с той или иной просьбой и он изъявлял желание удовлетворить ее, то говорил: «Хорошо, я дам команду». Люди, общавшиеся с Водомеровым, были убеждены, что в прошлом он был человек военный и к тому же военный в больших чинах. На самом же деле Водомеров никогда в жизни в армии не служил. В молодости его не призвали потому, что он учился в планово-экономическом вузе, а потом он находился на таких должностях, которые «бронировались». Вероятно, Водомеров был человеком, как говорят, с «военной косточкой». Ему, например, временами казалось, что если бы пошире внедрить в работу учреждений и предприятий воинские порядки, дело пошло бы лучше и четче и его, в частности, самого меньше бы критиковали за упущения и недостатки. Окажись Водомеров в армии, он, наверное, далеко бы пошел со своей категорической требовательностью, грубой прямоотой, аккуратностью и четкостью в работе, но и теперь, на сугубо штатском

посту, он широко пользовался этими качествами характера, ни в ком не вызывая сомнения своим подражанием стилю военачальника.

После того, как Марина поздоровалась с Водомеровым, она направилась к Захару Николаевичу, который уже стремительной легкой походкой худощавого человека, не обремененного лишним весом, торопился к ней навстречу. Великанову было уже за шестьдесят, сухое костистое лицо его и длинная шея были в морщинах, рыжеватые баки, победоносно торчавшие на щеках, подернулись сединой, но в его легкой фигуре, в светлокоричневом костюме, в поблескивавшем пенсне было что-то молодое и задорное.

Не доходя до Марины двух-трех шагов, профессор Великанов остановился, выставил грудь, кивнул головой и протянул руку. Всё это он проделал изящно, и в каждом его движении чувствовалось, что хотя он и полон уважения к Марине, но при всем этом он, профессор, тут всему делу голова и ей, пока лишь кандидату наук, об этом забывать не следует.

— Как здоровье, как самочувствие, Марина Матвеевна? — шуря свои чуть-чуть выпуклые глаза под стеклами пенсне, осведомился Великанов таким тоном, в котором должностное внимание к младшему по чину и просто человеческий интерес к другому смертному были в одинаково равных дозах.

— Прошу, Марина Матвеевна, присаживаться, — в свою очередь сказал Водомеров.

— Благодарю вас, Захар Николаевич, благодарю вас, Илья Петрович, — проходя к огромному директорскому столу, сказала Марина, испытывая неловкость от преувеличенного внимания к себе со стороны руководителей института. «Эх, Соня, Соня, зачем же она поспешила рассказать обо всем отцу?» — с сожалением подумала Марина. Стараясь опередить и директора и профессора и взять инициативу разговора в свои руки, чтобы они не стали сразу задавать вопросы о происшедшем, Марина заговорила первой:

— Я пришла, Илья Петрович, к вам и к Захару Николаевичу по неотложному делу: сроки для посылки комплексной экспедиции в Улуюлье истекают, а ее научный руководитель всё еще не назначен.

Водомеров и Великанов переглянулись, и Марина поняла, что они ждали от нее каких-то других слов.

— А каковы ваши предложения, Марина Матвеевна? — баском спросил Великанов.

— Вы знаете об этих предложениях, Захар Николаевич.

— Но вы же знаете, Марина Матвеевна, мою точку зрения, — сказал Великанов, и по раздражительности, которая прорвалась в его голосе, можно было понять, каких слов не договорил профессор: «Знаете и всё-таки настаиваете на своем».

— А что за предложения? — Водомеров взглянул на Великаном, а затем перевел взгляд на Марину.

— Я уже вам как-то говорил, Илья Петрович, что Марина Матвеевна просит назначить руководителем экспедиции ее, — сказал профессор, круто обрубив фразу на слове *ее*.

Директор побарабанил толстыми, короткими пальцами по столу и произнес, с опаской взглянув на Великанова:

— А может быть, в этом есть смысл, Захар Николаевич? Скоро на пленуме обкома будет слушаться отчет Притаежного райкома. Я заранее убежден, что нас будут критиковать за невнимание к лесному хозяйству Улуюлья. Надо нам обязательно отправить экспедицию до пленума. Это будет большой козырь в наших руках.

«Какой ведомственный подход», — подумала Марина, но ничего не сказала, надеясь, что директор поможет переубедить Великанова.

— Критика критикой, Илья Петрович, — раздражаясь, заговорил Великанов, — но оставлять важнейший сектор института без руководителя, извините, я не могу.

— Всего лишь на три месяца и с пользой для сектора, — попыталась убедить его Марина.

Великанов замахал рукой, затряс баками, и Водомеров, видя, что профессор не отступит от своего мнения, сказал:

— В ближайшие два дня, Марина Матвеевна, мы непременно решим этот вопрос. Экспедицию, Захар Николаевич, — он посмотрел на профессора, — не следует задерживать. Я дам сегодня команду, чтобы часть имущества и кое-кого из сотрудников отправить в Притаежное с ближайшим пароходом.

— Я полагаю, что это вполне целесообразно. На крайний случай руководитель экспедиции может вылететь самолетом и даже опередить прибытие экспедиции к месту назначения, — сказал Великанов. — Задержки из-за программ у нас не будет, Марина Матвеевна?

— Всё готово давно, Захар Николаевич. Вы же сами утверждали и общую программу исследований и задание по группам.

— Помню, Марина Матвеевна, помню.

Наступило молчание. Вопрос о отправке экспедиции был решен, и нужно было приступить к тому, что Марина считала не менее неотложным: к делу Григория. Но вдруг в эту решающую минуту она почувствовала, что все слова, которые она приготовила, чтобы начать разговор о нем, вылетели у нее из памяти.

— У меня еще есть один вопрос, Илья Петрович, — наконец начала Марина краснея. — Может быть, этот вопрос покажется вам и Захару Николаевичу очень личным, но всё-таки... Я бы хотела поговорить...

Каждое слово Марина произносила со страшным напряжением. Она не знала, как говорить дальше. И вдруг Водомеров пришел ей на помощь:

— Я уже в курсе этого события, Марина Матвеевна. И Захар Николаевич тоже.

Марина посмотрела на директора и взгляд ее спрашивал: «Откуда вы знаете? Кто мог рассказать вам о том, что происходит у меня в душе?»

— Мной получено заявление от товарища Бенедиктина, — внушительно сказал Водомеров, и в глазах его промелькнула усмешка превосходства: уж не такой, мол, Марина Матвеевна, у вас директор растяпа, чтоб не знать, что творится среди его подчиненных.

— Заявление? О чем же он заявляет? — с изумлением спросила Марина. Она искренне изумилась. Этого она никак не ждала. Ей казалось, что заявлять может лишь потерпевший, а потерпевшей была она.

— Прочтите. — Водомеров раскрыл папку и подал Марине лист бумаги, исписанный крупным почерком Григория.

«Директору института И. П. Водомерову.

Заместителю директора по научной части профессору З. Н. Великанову.

Дорогой Илья Петрович!

Дорогой Захар Николаевич!

Зная, как вы загружены ответственной работой по руководству сложным и многообразным хозяйством института, тем не менее я вынужден жизненными обстоятельствами отрывать вас от непосредственной госу-

дарственной работы и просить вашего внимания к моей более чем скромной особе.

Как вам известно, в последнем выпуске «Ученых записок» опубликованы фрагменты из моей многолетней работы в области геоморфологии. Частично эта работа, особенно в последнее время, готовилась параллельно с докторской диссертацией кандидата наук М. М. Строговой. Будучи мужем и женой, и к тому же не один год, мы часто беседовали на темы, связанные с нашими научными исследованиями. Так как наши специальности в некоторых плоскостях смыкаются, то эти беседы были особенно плодотворными. Я должен признать, что М. М. Строгова, как большой знаток своего дела, во многом помогла мне, так или иначе натолкнув на некоторые важные мысли. Думается, что и мои высказывания не были для нее бесполезными.

Опираясь на эту совместную работу, я считал для себя возможным использовать в своей статье несколько положений, которые подвергались а наших совместных беседах обсуждению. Разумеется, что я не допустил бы этого, если бы знал, что М. М. Строгова намерена включить эти положения в окончательный вариант своей докторской диссертации. Я признаю, что я допустил ошибку, предварительно не осведомившись по этому вопросу у М. М. Строговой. Но однако же я никогда не полагал, что мой поступок, имеющий под собой определенные моральные основания, вызовет со стороны М. М. Строговой такую реакцию! М. М. Строгова порвала со мной супружеские взаимоотношения и известным образом дала мне понять, что намерена поставить вопрос относительно меня в общественном и служебном порядке.

Как член партии, я вынужден прежде всего дать позиции, занятой М. М. Строговой, политическую оценку. Я считаю ее позицию недостойной советского ученого. Ее собственнический, эгоистический подход к делу в данном случае находится в кричащем противоречии с установкой нашей партии на развитие коллективистических форм научной работы. Если бы наши крупнейшие ученые, руководящие целыми коллективами научных работников, были столь щепетильны в отношении своего опыта и своих мыслей, то, естественно, в науке не было бы роста молодых кадров и исчезла бы всякая преемственность.

Я прошу руководство института разъяснить М. М. Строговой, что она стоит на идейно-порочных позициях, что строительство коммунизма не может быть осуществлено, если каждый работник закупорится в личной скорлупе, что в настоящее время борьба с собственнической психологией перешла из области материальной (экономически капитализм у нас давно разбит) в область духовную. Это во-первых.

Во-вторых, поскольку я не отрицаю некоторой своей вины перед М. М. Строговой, я прошу руководство института обязать редакцию «Ученых записок» опубликовать в очередном выпуске «Записок» такие строки:

«В редакцию «Ученых записок».

В моей статье, опубликованной в предыдущем выпуске «Ученых записок», по моей вине выпала сноска следующего содержания: «Отдельные примеры и положения этой статьи возникли в результате совместной работы автора с кандидатом биологических наук М. М. Строговой». Считаю, что публикацией этого письма я исправляю допущенную ошибку.

*Г. В. Бенедиктин».*

Дорогие Илья Петрович и Захар Николаевич!

Заканчивая свое, вероятно, довольно сумбурное письмо, я прошу вас по-человечески понять меня. Конечно, в науке я сделал еще мало. Но раз-

ве вам не известно, что свыше пяти лет я занимался другим видом «научной деятельности»: учил на фронте уму-разуму некоторых иноземных охотников до чужого добра.

На протяжении последнего времени я встречал со стороны руководителей института и в особенности со стороны профессора Захара Николаевича Великанова поддержку и трогательное внимание. И теперь, в минуты горестных осложнений в моей жизни, я осмеливаюсь рассчитывать на то же великодушие и заинтересованность.

С глубоким уважением

*Г. Бенедиктин».*

Марина читала заявление Григория с таким чувством, словно глотала рвотное. Ей было противно, отвратительно, хотелось разрыдаться от обиды, гнева, от сознания, что столько хорошего, светлого она отдала этому более чем ничтожному человеку. Но Марина сдержала себя. Чтобы справиться со своим состоянием, она приблизила заявление Бенедиктина к лицу и сделала вид, что перечитывает его. И как только она подумала, что отныне Бенедиктин не только чужой человек, а враг ей, способный на любую гнусность и пакость, и что обижаться на врага наивно и глупо, что с врагом надо бороться, не щадя сил, она почувствовала, как к ней возвращаются спокойствие и ясность мыслей. Более того, у нее появилось желание спорить и доказывать, но сильно развитое чувство такта подсказало ей, что спешить не надо.

Марина положила листок бумаги на стол, подняла голову и взглянула на Водомерова и Великанова. Они с напряжением ждали, что она скажет. Марина молчала, стараясь догадаться, что думают они по поводу этого заявления, но лица руководителей института были непроницаемы.

— Ну и как, Марина Матвеевна, вы смотрите на этот документ товарища Бенедиктина? — не выдержав молчания, спросил Водомеров. По той серьезности и тщательности, с какой директор произнес эту фразу, Марина сообразила, что заявление Бенедиктина убедило Водомерова. Она перевела взгляд на Великанова. Профессор сидел выпрямившись, со строгим видом, будто принимал экзамен, и Марина поняла, что он осуждает ее.

— Как я смотрю на этот документ, Илья Петрович? Я скажу. У меня есть о нем мнение, — горячо заговорила Марина, но сразу же спохватилась. Горячность могла лишь повредить ей. — Я думаю так, Илья Петрович и Захар Николаевич, — более спокойно сказала Марина: — если с этого, как вы говорите, документа сколупнуть позолоту, вроде рассуждения о коммунизме и преемственности научных кадров, то в нем останутся ложь и подхалимство.

Профессор Великанов от этих слов даже слегка подскочил.

— Марина Матвеевна, ну к чему такие слова! — воскликнул он, пожимая сутулыми плечами.

— Марина Матвеевна всё еще ожесточена, — как бы отвечая Великанову, заметил Водомеров.

— Вы ошибаетесь, Илья Петрович, — спокойно сказала Марина, чувствуя в себе решимость ни в чем не уступать Водомерову и Великанову. Марина всегда считала себя, и это было так на самом деле, человеком мягким, уступчивым, сговорчивым и порой до наивности доверчивым. Но она знала в себе и другую черту — неподкупность своей совести. Она могла делать уступки и быть сговорчивой лишь до известного предела. Как только она чувствовала, что ее мягкосердечие начинает задевать ее совесть, она обретала твердость и становилась неумолимой.

Об этом ее качестве знали немногие, так как оно проявлялось лишь в сложных обстоятельствах жизни.

— А я думаю, Марина Матвеевна, что не ошибаюсь. Я сам человек женатый. И не раз мы с женой ссорились, собирались разводиться, писали заявления в партком, а потом жалели об этом. Жизнь — есть жизнь. А женщины, скажу я, народец неуживчивый, сварливый, — с грубоватым прямодушием заключил Водомеров.

— Я должен заметить, что, по моим представлениям, Григорий Владимирович человек деликатный и чудесного характера, — начал Великанов, но Марина не выдержала и перебила его:

— Помилуйте, Захар Николаевич! Вы, кажется, вместе с Ильей Петровичем решили мирить меня с Бенедиктиным?

— Наш долг предостеречь младшего товарища от ошибки, — внушительно произнес Водомеров, погладив себя по ежику волос.

— По-моему, вы избрали не тот адрес, Илья Петрович.

— Вы что же — считаете, что Бенедиктин неправ в оценке вашего поступка? — Водомерова задел резкий тон Марины. Глаза его расширились, в них вспыхнул неприятный злобный огонек.

— А вы, Илья Петрович, считаете его правым? Объясните, я не понимаю его правоты.

— Вы знаете что, Марина Матвеевна, вы не уподобляйтесь, извините, простой бабе. Вам это не пристало. Вы человек подкованный и для вас не к чему азы политграмоты читать, — всё больше сердясь, сказал Водомеров и побарабанил толстыми, короткими пальцами по столу.

— Напрасно, Илья Петрович, вы негодуете. Я вам искренне говорю: не вижу своей вины!

— Бенедиктин правильно вам на нее указывает. Вы посмотрите, в какую эпоху мы живем?! Мы строим основы коммунизма! Разве достойно в такое время крупному и к тому же весьма одаренному научному работнику мелочиться?

Водомеров разволновался. Он тяжело дышал и не смог говорить дальше. Но Марина не успела произнести и одного слова, как заговорил Великанов.

— Послушайте, Марина Матвеевна, старого волка, съевшего на научном поприще и свои и искусственные зубы. — Великанов усмехнулся. — Всю жизнь я работаю с молодыми учеными. Вы знаете, что многие из моих учеников сами доктора наук. Разве в их успехах и трудах мало моих усилий? Что было бы, если б я не делал этого или, делая, претендовал быть соавтором в диссертациях и других научных трудах? И потом глубоко прав Илья Петрович...

— Позвольте всё-таки прежде высказаться мне до конца, — перебивая поморщившегося Великанова, сказала Марина. — Уж если на то пошло, то вы, Илья Петрович, и вы, Захар Николаевич, взяли рассуждать, выслушав только одну сторону, но ведь у меня, как у второй стороны, есть также и факты и доводы.

— Говорите, пожалуйста, но только мне всё ясно, — косясь на Водомерова, с недовольной гримасой на лице сказал Великанов. Водомеров покорно наклонил голову и этим жестом заменил слова: «Что ж, говорите, если уж вам так хочется! Будем слушать».

— Прежде у меня несколько вопросов к вам... — начала Марина, но Великанов поднял руку и остановил ее:

— Извините, вы обещали факты и доводы.

— Не беспокойтесь. В моих вопросах — и факты и доводы. Во-первых, вы сказали, Захар Николаевич, что отдавали молодым ученым и мысли и наблюдения и никогда не претендовали быть соавтором их

работ. Но скажите, кто-нибудь из ваших учеников позволил себе брать ваши мысли и наблюдения в вашем письменном столе и выдавать это за свое?

— Но разрешите вам заметить, Марина Матвеевна, что никто из моих учеников не жил в моем доме, я никому из них не приходился мужем и никто из них не был мне женой, — с саркастической улыбкой и скороговоркой выпалил Великанов. Водомеров метнул взгляд на Марину и еще ниже опустил голову, выставив как на показ свои полуседеые волосы, стриженные «под ежик».

— В том-то и сложность моего положения, что я была женой! Но сейчас скажу о другом. У меня есть еще один вопрос. Бенедиктин в заявлении упрекает меня в переоценке своего научного творчества и ссылается при этом на коллективные формы работы в науке. Я чувствую, что и вы, Захар Николаевич, и вы, Илья Петрович, разделяете его точку зрения. У меня к вам такой вопрос: разве коллективизм в научной работе умаляет индивидуальные качества работника? По-моему, коллективизм как раз направлен на то, чтобы развить способности каждого до конца. Коллективизм существует вовсе не для тех, кто по своей неспособности или лени ничего не делает и скрывает это под маркой коллективизма. Так или не так, Илья Петрович?

— Уж не знаю, так или не так. Вы ударились в теоретические дебри, — сказал, совсем помрачнев, Водомеров.

— Извините, я не соглашусь с вами. Это не теоретические дебри, а дело нашей жизни. Вы упомянули о коммунизме. Мне кажется, что строительство коммунизма — это не только первоклассные фабрики, заводы, МТС, институты. Коммунизм строится и в такой сложной сфере человеческой жизни, как морально-этическая сфера. И, на мой взгляд, чем быстрее наше общество будет двигаться к своей главной цели, тем острее и значительнее будут становиться вопросы морально-этического характера.

— Вы опытный пропагандист, Марина Матвеевна, я не подозревал в вас этого таланта, — недобро усмехнулся Великанов, а Водомеров опять исподлобья бросил на Марину короткий, как удар, взгляд.

Будь кто-нибудь другой на месте Марины, это едкое замечание профессора могло бы вызвать вспышку негодования или даже поток оскорбительных слов. Но душа Марины была защищена от подобных колючек той бескорыстной доброжелательностью к людям, той терпеливостью к их скверным качествам характеров, которые бывают лишь у матерей, когда они с нечеловеческой терпеливостью, не раздражаясь, не переставая любить, преодолевают капризы своих детей и, наконец, исправляют их.

В ответ на слова Великанова Марина засмеялась тихим, кротким смехом, будто профессор произнес не колкость, а какую-то веселую банальность, и звонким чистым голосом, который чист и звонок был потому, что он был искренен, сказала:

— Вот уж спасибо вам, Захар Николаевич! Вы единственный признали меня политиком. А то ведь я в своем семействе, среди братьев, как белая ворона: беспартийная, неактивная, и всегда марксизм-ленинизм давался мне с большим трудом.

Тихий и добрый смех Марины и в особенности ее слова, сказанные с откровенностью человека, который, не боится признать свою слабость или недостаток, не боится потому, что ему не нужно рисоваться или позировать — он и без этого богат душой, задел и Великанова и Водомерова. И профессор и директор не обладали таким щедрым простодушием, и оно не только удивило их, но и покорило. Великанов сконфузился за

свой тон, принялся ожесточенно расчесывать пышные баки коричневой расческой, отделанной серебряным ободком. Водомеров поднял голову, и полное мясистое лицо его вдруг похорошело.

— А уж насчет беспартийности вы не говорите, Марина Матвеевна. Никто не верит. Вам давно пора в партию, — с улыбкой сказал он, и Марина только сейчас заметила, что улыбка очень красит его, придает жесткому выражению лица одухотворенность.

— Как диссертацию, Илья Петрович, защищу, тогда — подумаю. Неудобно идти в партию с неоконченным делом.

— Ну, быть по сему, — совсем уже весело улыбнулся Водомеров.

Великанов молчал, он глухо и деланно покашливал, но Марина знала, что и он недоволен своим поведением, рад заговорить с ней другим тоном, и не делает этого лишь потому, что не может преодолеть своего упрямства.

— И что же, Марина Матвеевна, с Бенедиктиным навсегда? — наконец спросил Великанов с живой ноткой в голосе, изобразив жест, напоминавший движение рук при разрыве веревочки или материи.

— Да, Захар Николаевич, навсегда, — твердо ответила Марина и в подтверждение своих слов махнула головой, чем особенно усилила впечатление от сказанного.

— А Григорий Владимирович был у меня утром, — помолчав, сказал Великанов.

— И у меня был, — вставил Водомеров.

— Потрясен... Придавлен и... рассчитывает на ваше благоразумие, — продолжал Великанов.

— Это его любимое словечко: благоразумие, — усмехнулась Марина.

— Я убежден, что благоразумие не покинет Марину Матвеевну. Так ведь? — без всякой шутки спросил Водомеров.

— Конечно, Илья Петрович, — согласилась Марина. — Впрочем, я не знаю, что вы понимаете под благоразумием, — добавила она.

— Ах, Марина Матвеевна, — вдруг по-женски всплеснул руками Водомеров, и это выглядело так смешно, что она не сдержала усмешки. — Я буду откровенен с вами. По долгу руководителей нам приходится заботиться о многом: и о благоразумии сотрудников, и о выполнении плана научных работ, и о добром имени нашего учреждения...

Водомеров замылся, помолчал и, вздохнув, продолжал:

— Скажу прямо: если вы не примиритесь с Бенедиктиным, пойдет проработка нашего института по всем инстанциям — от райкома до обкома. А осенью прогремим мы по всем партийным конференциям. Упомянут нас по такому случаю и на районной конференции, и на городской, и на областной. Ведь Григорий Владимирович не рядовой, он член нашего парткома, заслуженный фронтовик, в его научной судьбе мы заинтересованы, как ни в ком другом. Такие люди нужны нашему институту.

— Чтобы притти на смену нам, старикам, — вставил Великанов.

— Безусловно. В конечном счете будущее института в руках научной молодежи. Бенедиктину пока нехватает научного багажа, он спешит приобрести его, в этом он видит свою главную задачу, — продолжал Водомеров.

— И если вы помогли ему в этом, то честь и вам, — опять вставил Великанов.

— Да, да, честь и хвала, — энергично подхватил Водомеров. — И поймите, что наш институт и без того много упрекают: он-де отстает от роста области, мало выдвигает крупных проблем, медленно воспитывает

вает новые кадры... И вдруг еще такой факт прямо-таки аморального характера... С нас же за такой факт шкуру снимут!

Последнюю фразу Водомеров закончил глухо, на самых низких нотах, и на мясистом лице его изобразилось страдание.

Но страдание это не вызвало у Марины сочувствия. Наоборот, она впервые увидела то, чего раньше не замечала в своем директоре: Водомеров — трус, он боится критики. Все его старания примирить ее с мужем проистекают из соображений не принципиального характера, они подсказаны желанием уберечь себя от новых хлопот и беспокойств. Что же касается Великанова, то он также руководится личными мотивами. Профессор обворочен Бенедиктиным и до поры до времени не хочет думать о нем иначе, чем думает.

Марине так всё это стало ясно, что весь разговор с руководителями института показался ей бесцельным. «Упрашивают и уламливают меня, как строптивую невесту», — подумала Марина, ощущая острое чувство неприязни к Водомерову и Великанову. «Уехать надо, чтобы не видеть и не слышать их», — пронеслось у нее в голове.

— У нас в институте до сих пор, Марина Матвеевна, на бытовом фронте, так сказать, было всё в порядке, — помолчав, продолжал Водомеров. Марина поняла, что директор способен говорить на эту тему еще битый час.

У нее не было никакого желания больше слушать его и, прервав Водомерова, она сказала:

— Как я поступлю дальше, Илья Петрович, я, право, затрудняюсь что-либо предположить. Но было бы хорошо и для меня лично и для коллектива института в целом, если бы вы и Захар Николаевич разрешили мне уехать в экспедицию. Там, вдали от города и института, я могла бы подумать не спеша и о себе и о других. (Марине было противно произносить фамилию Бенедиктина, и она избежала этого). — Думаю, что и вам спокойнее было бы, Илья Петрович! Живя тут в такое время, я на самом деле буду возбуждать у некоторых излишний и нездоровый интерес...

Марина хитрила не потому, что боялась того, чего боялся Водомеров. Ей хотелось в экспедицию!

Водомеров оживился, приподнялся в кресле и взглянул на профессора. Марина догадалась, что директор согласен отпустить ее. Это по каким-то соображениям его вполне устраивало, но вот Великанов... Старик не любит менять своих мнений даже тогда, когда это подсказывается целесообразностью.

— Я думаю, Илья Петрович и Захар Николаевич, что я могла бы находиться в экспедиции не всё время, а лишь в период разворота работы, — сказала Марина больше для Великанова. Водомеров опять взглянул на профессора и побарабанил пальцами по столу.

— А ведь это, пожалуй, приемлемый вариант. Улююльская экспедиция имеет для нас большое значение. И на пленуме обкома у нас будет что сказать: экспедиция отправлена, возглавляет ее один из ведущих работников института. Как, Захар Николаевич?

Марина придержала дыхание. Она знала, что сейчас произойдет: Великанов вспылит, вскочит, пышные баки его затрясутся, он закричит ломким голосом подростка. Но этого не произошло. Великанов в упор посмотрел на Марину и сухо, официальным тоном сказал:

— Я согласен. Но учтите: ответственность за текущую работу с вас не снимается.

— В том смысле, что вы должны обеспечить нормальную работу на период вашего отсутствия, — уточнил Водомеров.

— Это само собой разумеется, — согласилась Марина.

— Ну вот и чудесно! — довольный общим согласием, весело сказал Водомеров. — Поезжайте, Марина Матвеевна, поезжайте. Я уверен, что в тайге, как говорится, на вольном ветерке, вся блажь из вашей головы улетучится. Еще как будете жить с Бенедиктиным!

— Люди станут завидовать! — с усмешкой воскликнул Великанов.

Глядя на сиявшего от улыбки Водомерова и на повеселевшего Великанова, Марина думала: «И откуда у них такое благодущие? За бабские капризы мой поступок принимают. Ну, хуже для них!» — Марине захотелось скорее уйти отсюда.

— Приказ не задержится, Илья Петрович? — спросила Марина.

— Сейчас же отдам команду.

— Спасибо. — Марина поднялась и, попрощавшись, заспешила к себе на четвертый этаж.

## I

### Глава тринадцатая

#### 1

Чуть брезжил рассвет. Алексею не спалось. Он осторожно встал, подбросил в костер дров и, присев на корточки, закурил. Лисицын спал, закинув руки за голову и вытянув голые ноги к огню. В двух шагах от него, укрывшись с головой брезентовым дождевиком, спала Ульяна. Находка свернулась клубком, спрятала морду в лапах, прижалась к Ульяне. Собака, заслышав хруст сухой земли под ногами Алексея, очнулась, вытянула шею, осмотрелась и снова свернулась клубком.

Стоял тот тихий предутренний час, когда в тайге замирают все звуки. Попыхивая дымком папироски, Алексей прислушивался к этой тишине, но настороженный слух не мог поймать ни одного звука. Даже ближайший ручеек, звеневший с вечера на каменистом перекате, и тот будто исчез в этот час под землей или, не желая петь свою песню в одиночестве, притаился в непроходимой таежной трущобе.

Алексей бросил окурочек в костер, посидел еще с минуту без движения, потом поднялся и легкими бережными шагами пошел на берег реки.

Широкая пойма прямого плеса белела от тумана, словно она после многодневной метели была забита сугробами снега. С каждой минутой туман поднимался всё выше и выше, и местами он уже растекался по макушкам тальниковых зарослей, тянувшихся узорчатой каемкой по песчаным отлогим берегам реки.

Алексей стоял, наблюдая, как рождается на просторах Улуюлья новый солнечный день. Солнце пришло не сразу. Вначале появились его гонцы. В вышине неба, кое-где еще мерцавшего неяркими звездочками, вспыхнули прозрачно-светлые полосы и пятна. Растекаясь по небосводу, они погасили тусклые звезды, забрали в полон серомутную пелену, растилавшуюся над горизонтом, и над тайгой засияла нежная голубизна. Потом откуда-то из-за леса в небо, в самый его зенит, ударил красноогненный солнечный луч. Можно было подумать, что этот луч протрубил на всю тайгу сигнал пробуждения. Вот пронзительно вскрикнула тонким, надрывно-высоким голосом иволга и вслед за ней затрещали весь птичий мир.

На реке послышались всплески рыбы. Проснулся и ветерок. Он пробежал по вершинам деревьев, озорно поиграл гибкими ветвями и затих. Туман заколыхался, и кудрявые шапки его, похожие на взбитую пену.

поползли над рекой, становясь на глазах плоскими, как обмытые водой льдины.

Алексей вышел на кромку берега. Яр здесь выдвинулся, навис над рекой. Рискуя оборваться вместе с накренившимися лесинами, Алексей стоял спиной к реке и увлеченно смотрел на холм, возвышавшийся вдали.

После заседания райкома Алексей две недели бродил по уваровским полям, тщательно осматривая все обрывы и промоины. Вчера Лисицын привел его сюда уже в потемки. Ему не терпелось увидеть Тунгусский холм, но, как назло, ночь выдалась темной, месяц прятался в облаках, и тайга сливалась с небом.

Тунгусский холм... Сколько слушал о нем Алексей от охотников улуюлья! И в самом деле, холм был красив и загадочен. От самой реки берег, поросший кедром, постепенно подымался, уходил вверх, и в тайге вставала гряда, рассекавшая обширную лесистую равнину. Гряда, названная охотниками Кедровой, тянулась от реки, уходя почти параллельно ей к самому горизонту. Тунгусским холмом называлась лишь одна часть гряды, самая высокая, островерхая, отделенная от всего полотна глубокой расщелиной. Холм стоял как бы у истока гряды, горло вздымая свою голову, издали напоминая четкостью линий египетскую пирамиду или террикон шахты, но только более значительных размеров. Лисицын говорил Алексею, что гряда другим своим концом выходит к Синему озеру.

Как геолог, Алексей смотрел на природу глазами специалиста. Для другого холмы и равнины, реки и озера существовали лишь как украшение земли, для Алексея они были путеводителями в прошлые эпохи, веками на трудном и тяжком пути к сокровищам природы.

Окрашенный лучами солнца, всё еще не показавшегося над лесом, но уже разливавшего над землей ласковый, яркий свет, тунгусский холм пламенел сейчас, как золоченая маковка древнего Кремля. «Шпиль улуюлья», — сказал вслух Алексей, чувствуя, что причудливая игра раннего солнца рождает в нем желание думать образно.

Но через минуту Алексей размышлял уже о другом. Перед ним была мощная гряда, величественный массив — результат каких-то сложнейших геологических процессов. Каких же? Может быть, это было то самое, что он искал? Древнейшие палеозойские породы, прикрытые в Улююлье рыхлыми наслоениями третичного и четвертичного периодов, делали здесь резкий перелом, придавая местности иной рельеф. Ведь, кажется, именно об этом месте Улююлье охотники рассказывали, что ТУТ стрелка компаса ведет себя беспокойно и делает сильные отклонения.

Позабыв, что оставшиеся на ночевке Лисицын и Ульяна могут хватиться его, Алексей торопливо направился к Тунгусскому холму. Ему хотелось скорее оказаться хотя бы у его подножья.

Да, кажется он допустил ошибку, подробно исследуя левобережье Таежной и не уделив внимания проверке сведений по району Синего озера и Тунгусского холма. Ну, что ж, дело это поправимое. Он теперь не уйдет отсюда до тех пор, пока не изучит, в каком направлении тянется Кедровая гряда, не осмотрит всех ее балок и размывов, не пробьет десятка шурфов, не изучит поведение магнитной стрелки.

Единственно, что его беспокоило, — мать. Он обещал ей вернуться недели через три, но работы здесь — не сделать и за три месяца. Она будет волноваться. Вообразит, что он попал в лапы зверя или вновь налетел на случайный выстрел. Впрочем, есть выход. Ульяна, вероятно, скоро уйдет в Мареевку, и он попросит ее переслать письмо матери в Притаежное... Возможно, у нее уже вышли деньги... Тогда пусть займет

у директора школы или продаст костюм. У него три костюма! На что они ему? Ходить в институт ему теперь не приходится, а когда возникнет в этом необходимость, будет и новый костюм. Вот только разве придет вызов из обкома? Но, в конце концов, и в обком ему лучше приехать с материалами не только по левобережью, но и по правобережью Таежной... Возможно, пришло письмо от Софьи... Ничего, он напишет и ей, чтоб знала, где он и что делает.

Занятый этими мыслями, Алексей на полкилометра отошел от реки и начал подыматься на предхолмье. Вдруг неподалеку от него в пихтовой чаще хрустнул валежник. Так хрустят старые голые сучья под ногами зверя или человека. Это был, конечно, зверь. Едва ли сейчас по всей Кедровой гряде, от Тунгусского холма до Синего озера, можно было встретить хоть одного человека, кроме отца и дочери Лисицыных и его, Алексея. Время было летнее, непромысловое, охотники в эту пору по обыкновению становились рыбаками и держались у водоемов.

Алексей остановился и, вспомнив, что он без ружья, замер в настороженной позе. Валежник захрустел вновь, и Алексею показалось, что зверь быстро приближается к нему. Оставалось одно: не теряя ни одной секунды — бежать. Алексей перепрыгнул через полуистлевшую колоду и, то и дело натываясь на сучья, изо всех сил побежал назад.

Алексей остановился лишь после того, как заросли молодого пихтача остались позади, а он оказался среди крупных ветвистых кедров. Здесь зверь был менее страшен ему. От него можно было укрыться за деревьями, да он сюда и не пошел бы: ветерок, дувший с реки, наносил запах дыма.

Алексей осмотрелся, сложил ладони трубой и закричал, что было мочи:

— Ого-го-го!

Чуткое эхо в тысячи крат усилило голос Алексея и понесло его невидимыми волнами над просторами тайги. Алексей прислушался. Он знал, что сейчас будет: напуганный эхом медведь замечется, и по лесу пойдет треск. Удирая, зверь будет ломать на своем пути и сухостойник, и валежник, и даже молодой хрупкий ельник. Но эхо смолкло, а треска Алексей не слышал. «Ушел, подлый», — подумал он с усмешкой и направился к месту ночевки.

Ульяна и Лисицын уже поднялись. Они готовили завтрак, но, услышав крик Алексея, недоуменно посмотрели друг на друга и молча ждали. Алексей уже мелькал среди деревьев.

— Ты что, Алеша, заблудился? — спросил Лисицын, когда Алексей приблизился.

— Едва удрал, дядя Миша. Пошел без ружья, хотел, пока вы спите, посмотреть поближе Тунгусский холм, — с виноватой улыбкой ответил Алексей.

— Ты чудак какой-то, Алеша! Мы же в самое звериное место зашли. Тут без ружья шагу не ступишь, — сердясь, сказал Лисицын. Ульяна исподлобья с укором взглянула на Алексея, и этот взгляд говорил: «Жалко, что не имею права делать вам выговоры, я бы отчитала вас пуще тяти».

— Где он тебя прихватил, Алеша? — смягчаясь, весело опросил Лисицын.

— Да вот тут близенько: за кедровником, в пихтовой чаще. Я иду, слышу хруст. И тут только вспомнил, что ружья не взял.

— Ты смотри, Уля, до чего здесь зверь домашний, идет себе на костер, — обратился Лисицын к дочери, щурясь от дыма и почесывая худую длинную шею, поросшую редким седоватым волосом.

— Их тут никто не пугает, тятя, они и лезут дуроломом прямо на людей, — подбрасывая на костер мелких сучьев, сказала Ульяна.

Собака, лежавшая в сторонке, встала, потягиваясь, взвизгнула.

— Эх, Находка, Находка, проспала ты зверя, — Ульяна ласково потрепала собаку.

— А я тоже не учуял. Хруст под зверем я далеко слышу, — сказал Лисицын. — Может, тебе показалось, Алеша?

— Ну, если звери ходили — след увидим, — Ульяна сняла с таганка закоптелый чайник с кипятком и пригласила Алексея и отца пить чай.

После завтрака они разошлись. Алексей и Ульяна пошли на Тунгусский холм, Лисицын взял направление на Синее озеро. Как ни близким было Лисицыну дело Алексея, как ни хотел он ему удачи, охотник был не в силах отложить и свое дело.

Ответа на заявление, посланное заказным пакетом в Москву, в Кремль, товарищу Сталину, относительно богатств синезоерской тайги еще не поступило. Лисицын опасался: пока заявление идет в Москву, из области нагрянут инженеры, подымут народ, и начнут лесорубы электрическими пилами полосовать лес. Зверь бросится дальше на север. Оскудеет Улуюлье, и тогда волей-неволей придется знаменитым мареевским пушникам и рыболовам братья за другие дела. Лисицын волновался и от безвестности страдал. Чтоб успокоить себя, он решил пройти синезоерскую тайгу насквозь: от кедровой гряды до истоков Гремучего ручья, что пробивался из земли в трех-четыре километрах юго-западнее Синего озера. Если на этом огромном пространстве он не встретит никого — значит организация лесоучастков почему-то задержалась.

— Эй, Уля! — крикнул Лисицын, когда дочь и Алексей скрылись в лесу, а он сам, затоптав костер, взялся за ружье.

— Слышу, тятя! — звонким голосом отозвалась Ульяна.

— Темнота в дороге прихватит — заночую! — крикнул Лисицын дочери.

— Ладно, тятя, иди!

Лисицын вскинул ружье на руках, осмотрел его и, перевернув вниз дулом, надел ремень на плечо.

## 2

Лисицын с первого взгляда определил, что в чаще по предхолмью ходил не зверь, а человек. Это так было неожиданно, что в первую минуту охотник старался не верить самому себе. «Если б ходил человек, мимо нас не прошел бы», — думал Лисицын. Но чем больше Лисицын присматривался к следам, тем больше убеждался, что зверя здесь не было. Зверь оставлял за собой особенный след: изломы на валежнике не цепочкой, а вразнобой, сучья деревьев согнуты по ходу, бурьян примят, на земле царапины от когтей. Ничего этого охотник не обнаружил.

Зато в двух-трех местах под покровом густого брусничника на песке отпечатались шляпки винтов, на которых держались подковки сапог.

«Видать, прибыли люди лесоучастки нарезать», — обеспокоенно подумал Лисицын.

— Кончилось, звери, ваше приволье, вслух сказал охотник. Ему захотелось сейчас же увидеть Ульяну и Алексея и поделиться с ними своими тревожными предположениями.

— Уля, Уля! — крикнул Лисицын. Но на его голос никто не отзывался. Ульяна и Алексей ушли уже далеко и его не слышали.

Лисицын постоял в чаще, крикнул еще раз, с минуту постоял и по-

шел дальше. «Почему же тот человек к нам на чай не подвернул? Может, они с Алешей-то друг друга испугались? Алеша подумал про него, что идет зверь, а тот про Алешу. Нет, подожди... Алеша потом вон как зычно кричал. По всей тайге грохотало, не мог тот не слышать», — рассуждал Лисицын.

Из-под ног вспорхнул рябчик. Лисицын даже вздрогнул, так увлечен был своими мыслями. Но не думать об этом он не мог.

«Если лесотехники прибыли, — продолжал рассуждать про себя Лисицын, — то здесь им не место. Они в сосняке начнут работу».

Лисицын пересек Кедровую грядку и по гладкой долине, поросшей ровным сосновым лесом, направился к Синему озеру. До Синего озера было от Тунгусского холма километров тридцать. Лисицын шел, не замечая расстояния. Давно он не ходил по этим местам, и вид тайги радовал его. Молодой подлесок вырос, стал гуще. Зверьки сновали на глазах у Лисицына, стайки птиц, то рябчиков, то косачей, с шумом взлетали с земли и рассыпались по деревьям.

Пройдя километров десять, Лисицын вышел к маленькой речушке и прилег на берегу отдохнуть. Речушка, названная Утиной, славилась своими омутами. В осеннюю пору, перед отлетом на юг, на омутах было столько уток, что от них чернела вода. Омуты и теперь не пустовали. Молодые выводки проходили тут первую школу жизни. С омутов долетало до Лисицына крикание уток и дружное попискивание утят. «Ишь, как они заливаются! Хорошо, что Находка не увязалась со мной, перепугала бы их, а которых и передала бы», — подумал Лисицын, с улыбкой прислушиваясь к птичьему разговору и попыхивая трубкой.

Никто из охотников так строго не берег богатств тайги, как Лисицын. Молодая птица или молодой зверек не будили в нем охотничьей страсти. Он мог часами из какого-нибудь местечка наблюдать, как прыгает впервые с ветки на ветку ловкая, гибкая белка, или как гусыня, загребая крыльями, сталкивает только что вылупившихся из яйца гусят в глубокое озеро.

В эти минуты Лисицын забывал, что у него в руках ружье. Весь он был поглощен бескорыстным интересом к живому существу, начинавшему на земле свою нехитрую жизнь. И потому, что Лисицын любил наблюдать и умел это делать, он знал все звериные и птичьи повадки. Это знание помогало ему на охоте. Глаз Лисицына был зорок, слух точен, рука никогда не дрожала, и неудачи, если и случались у него, то случались в два-три раза реже, чем у остальных охотников.

«Богато нынче будет в тайге», — подумал Лисицын, по сотням примет, порой едва уловимых, угадывая, какой обильный урожай подымается на улукульских просторах. «Добудем и зверя и птицу, насыпем в закрома и орехов, набираем бочки ягод. Только...» Вот это «только», как заноза, не давало Лисицыну покоя ни днем, ни ночью.

Передохнув, он пошел быстрее. У него в дороге был свой закон, выверенный многолетним опытом: хочешь сохранить силы до конца дня — не торопись, не пори горячку, особенно в начале пути, пока не втянулся в ходьбу.

Чем дальше шел Лисицын, чем больше он приближался к Синему озеру, тем сильнее охватывала его радость. Тайга стояла нетронутая. Нигде, ни в одном месте не встретил он следов человека. «Гляди еще и передумают власти насчет вырубки синеозерских лесов. Есть же там люди, понимающие в промысловом деле, из нашего брата, охотников. Нынче у власти кого только не встретишь! Уж они постоят за интересы таежников!»

Эти мысли, теснившиеся в голове Лисицына, несли его, как на крыльях. Он дошел до Синего озера. У одного из родничков попил про-

зрачной, играющей мелкими колючими пузырьками воды и без задержки направился к Гремучему ручью.

И тут была та же картина: лес стоял тихий, примолкший, и только птичьи песни оглашали его.

У истоков Гремучего ручья Лисицын сделал большой привал. Он разулся, освежился холодной водой, потом развел костер и вскипятил в котелке чаю.

Настроение у него было светлое и тихое, подстать тишине, стоявшей в лесу. Он лег у костра, закинул руки за голову и сладко задремал. Засыпая, он вспомнил о человеческих следах по предхолмью, но внезапно родившаяся догадка успокоила его. «Да ведь это Алеша ходил! У него сапоги с подковами», — подумал Лисицын засыпая.

Сон его был коротким, но до того целительным, что он проснулся, как обновленный. Нудная ломота в ногах исчезла, нытье в пояснице как рукой сняло, голова была свежей и ясной. Он забросал чуть тлевший костерок землей и пошел назад, к Тунгусскому холму.

Теперь он шел берегом. Местами густая непроходимая чаща так сильно прижимала его к реке, что ему приходилось пробираться по самой кромке берега, нависшей над бурной, клубящейся водой. Но эти опасности были знакомы ему. Придерживаясь то за черемуховые ветки, то за макушки молодых пихт, то за березки, Лисицын пробирался дальше, рискуя при малейшем промахе оказаться под обрывом.

Эти опасные переходы увлекали его. Оказавшись над водой почти навесу, Лисицын посматривал вниз и с удовлетворением думал: «А не отвык еще по верхам лазить. Голова в порядке — не кружится».

В молодости Лисицын был отменный верхолаз. Никто из его сверстников во время шишкобая не умел с такой быстротой и проворством забираться на маковки вековых кедров, как это делал он. Лисицыну было приятно чувствовать, что, несмотря на годы, он мог бы потягаться по ловкости кое с кем из молодых и теперь.

Когда чаща отступала и путь становился ровным, Лисицын шел, внимательно присматриваясь к берегам. Стояло еще только начало лета, а он уже думал об осени. Чтоб не прозевать охоту и провести промысловый сезон с лучшими результатами, надо было в течение лета осмотреть тайгу, наметить наиболее удобные угодья, разбить их на участки, чтобы потом охотники из его бригады не ходили друг за дружкой, не мешали один другому. И он опытным, наметанным глазом примечал такие места, куда осенью можно было привести мареевских охотников.

Присматривался он и к реке. Мареевский колхоз намечал нынче расширение неводного промысла. Таежная кишела рыбой, но добыть ее было тут не просто. Дно реки десятилетиями захламлялось валежником, и требовалось расчистить многие песчаные плесы. Правление колхоза поручило Лисицыну пройти по всему среднему течению Таежной, осмотреть реку, определить, велики ли будут затраты труда на благоустройство хотя бы пока некоторых плесов.

Лисицын решил вначале осмотреть плесы с берега, а потом проплыть по реке на лодке. Два-три раза он останавливался и, встав на колени, умывал вспотевшее лицо. День стоял солнечный, в тайге от зноя, запахов смолы и трав было душно.

Даже с берега Лисицын видел, как сильно закорчевано русло реки. То там, то тут из воды торчали сукастые лесины.

«Разве такие карчи вытатишь с лодки? Их надо стальным тросом с большого катера брать. Нет, не под силу такая работа нашему колхозу, — думал Лисицын. — Надо подмоги у Горного леспромхоза просить. Карчи и им мешают плоты водить».

В одном месте Лисицын снял с себя одежду и залез в реку. Он дол-

го барахтался в воде, плескался, потом подошел к торчавшему карчу и попробовал вытянуть его. Но лесина вросла в песок намертво, и, чтоб вытащить ее, нужны были усилия многих людей.

Лисицын оделся и медленно пошел дальше, обескураженный тем, что дело, о котором он столько думал, на поверку труднее, чем он предполагал.

Сумерки прихватили его километров за пять от ночевки. «Алеша с Улей теперь уже вернулись. Ужин настраивают», — подумал он. Лисицын ускорил шаги, но вскоре остановился как вкопанный.

В двух шагах от него, в маленьком заливчике, под нависшими кустами черемухи стоял плот. Это был плот из четырех сосновых бревен, скрепленных простым охотничьим способом: две березовых перекладины (одна сверху бревен, другая снизу) были связаны жгутами из тальниковых гибких прутьев. На плоту лежал длинный шест. Песчаная кромка берега вся в следах. Лисицын нагнулся: на песке отпечатки подковок с винтовыми шляпками. Это были следы того же человека, который ходил по предхолмью. «Нет, это не алешин след», — окончательно решил Лисицын, припоминая, что подковки на сапогах у Краюхина прибиты простыми гвоздями. Приглядываясь к следам, Лисицын увидел в бурьяне топорище. Он взялся за него и вытащил из травы тяжелый топор с глубокой щербиной посредине лезвия. Лисицын осмотрел топор и положил его так же, как он лежал — вверх топорищем.

Заныло сердце охотника. Кто-то переплыл Таежную, ходил по тайге, но встречаться с ним не спешил. Кто же это? Если в самом деле прибыли лесотехники, какой им расчет скрывать свое появление здесь? Разве узнали как-нибудь относительно его письма товарищу Сталину и побаиваются, что он взъярится, бросится защищать тайгу? Что ж, это может быть... А только с ружьем он на них не полезет. Кто они? Простые исполнители... Им приказано...

Лисицын стоял, думал. Сумерки медленно и тихо наползали на тайгу, и постепенно блекла яркая голубизна неба и затухал блеск раскинувшихся по прямому плесу серебристых песков.

Вдруг до Лисицына донесся из глубины леса сухой кашель. Кто-то шел к берегу. Лисицын кинулся в чащу, пролез сквозь густые заросли веток и встал, сдерживая дыхание. Уж коли так пошло, пусть будет — хитрость на хитрость.

Через две-три минуты в сумраке показался человек. Лисицын привстал на носки, отогнул ветку. «Вон это кто немой!» — чуть не вскрикнул Лисицын.

Охотник хотел подойти к Станиславу, но не успел еще сделать и одного шага, как тот схватил топор и, размахивая им, начал браниться. Он был сильно рассержен. Лисицына словно по ногам ударили: он присел, вытянул шею. Станислав, обычно мычавший, как бык, выговаривал слова отчетливо, kloкочущим грубоватым голосом.

Не переставая браниться, Станислав оттолкнул от берега плот, прыгнул на него и опустил шест в воду. Лисицын ползком выбрался на самую кромку берега и смотрел ему вслед. Ожесточенно работая шестом, Станислав быстро удалялся к другому берегу.

Когда плот причалил и немой поднялся на яр, Лисицын заметался по чаще, как птица, пойманная в силок. Он готов был броситься в реку и переплыть ее, лишь бы не отстать от Станислава и до конца выследить его. Но Таежная в этом месте была широкой, а у него, кроме одежды, было ружье и сумка с припасами.

Натыкаясь в сумраке на сучья и рискуя в любую минуту выстегнуть ветками себе глаза, Лисицын побежал по берегу изо всех сил. Ему показалось, что до места, где стоит его лодка, остался один плес. Но скоро

он понял, что в горячке ошибся. До лодки оставалось еще три длинных колена.

Лисицын от бессилия даже застонал. Он пошел медленно, с трудом передвигая одеревеневшие ноги.

«Знать, чуяло мое сердце, что человек этот фальшивый. С первого взгляда не лежала к нему у меня душа, — думал Лисицын. — И кто его так рассердил? Уж не Алеша ли с Улей?»

Захваченный думами о Станиславе, Лисицын не заметил, как подошел к ночевке. Впереди заблестел огонь костра. Находка бросилась навстречу Лисицыну с лаем и визгом.

Приближаясь к костру, Лисицын решил Алексею и Ульяне о своей встрече с немым пока ничего не говорить, но завтра же с утра отправиться на левый берег Таежной, чтобы побывать на пасеке и установить за Станиславом слежку.

«Хитрость на хитрость», — сказал он сам себе.

### 3

— А дорогу-то к вершине холма ты хорошо знаешь, Уля? Не плутаемся мы? — спросил Алексей, когда Лисицын свернул в сторону и быстро исчез в лесу.

Ульяна посмотрела на Краюхина прищуренными голубыми глазами и, обиженно поджав губы, сказала:

— Вы всё меня, Алексей Корнеич, за трехлетнюю принимаете.

— Да что ты, Уля, откуда ты это взяла?! — воскликнул Алексей.

— А будто и нет?! О делах своих всё с тятей и с тятей. А я тайгу не хуже его знаю...

Она диковато покосилась на Краюхина, но, заметив на его лице улыбку, смутилась и опустила голову.

— Теперь твой черед, Уля, водить меня по тайге наступил. Видишь, вот сегодня пошли и завтра пойдем. Ты еще сама не рада будешь, отказываться начнешь, — серьезно сказал Алексей.

Ульяна вскинула голову, повязанную ситцевой пестрой косынкой, и впервые посмотрела на Алексея таким смелым пристальным взглядом, что он даже растерялся.

Не сводя с него строгого взгляда, она с какой-то особенной задумчивостью и рассудительностью много прожившего человека сказала:

— Я и прежде, Алексей Корнеич, успеха вам хотела. А с тех пор, как с доктором на Синее озеро сходила, у меня всё ваше дело мечтой жизни стало.

— Даже мечтой жизни? — чуть улыбнулся Алексей.

— Мечтой жизни, — твердо повторила она, и он понял, что девушка говорит об этом серьезно, и погасил улыбку, игравшую на губах.

— Спасибо, Уля, спасибо! Ты, может быть, и не догадываешься, как дорога в моем деле всякая поддержка, — Алексей вздохнул, глядя куда-то вверх леса.

Ульяна промолчала и чуть насупилась. Во всей ее тонкой, сразу подобравшейся фигурке, перетянутой поверх простенького платья широким патронташем, изобразилось нетерпение и скрытая сила.

— Пойдемте, Алексей Корнеич, — сказала она и зашагала легко и свободно, радуясь, что бездействию наступил конец.

Алексей шел за Ульяной и, глядя на то, как подпрыгивают на ее спине толстые косы светлорусых волос, думал: «А что, пожалуй, зря я с ней не считался. Тайгу она знает не хуже, чем старые охотники. Полна удали, энергии. И ради меня сил не пощадит».

Алексей понимал, что девушка всё сильнее и сильнее увлекается им, ни думать об этом всерьез он не хотел. Ученицы старших классов школы, где он преподавал географию, как это обычно бывает, были все немного влюблены в молодого учителя той чистой и возвышенной любовью, какая непременно сопутствует этому возрасту. Как только придет первая настоящая любовь и в душе возникнет большое чувство, это светлое увлечение бесследно исчезнет, не оставив по себе, может быть, никаких воспоминаний.

Ему и в голову не приходило, что Ульяна пережила уже эту пору и ее чувство к нему было куда более сильным и сложным, чем простое увлечение.

Когда они поднялись на предхолмье и по ровной площадке, поросшей стройным, отборным сосняком, стали огибать Тунгусский холм в поисках более удобного подъема, Ульяна, молчавшая всю дорогу, запела. Она вначале пела тихо, почти вполголоса, и Алексей улавливал лишь мелодию, не разбирая слов. Но постепенно ее голос становился всё громче и наконец зазвенел в полную силу.

Что стоишь, качаясь,  
Тонкая рябина,  
Головой склоняясь  
До самого тына?  
Там, через дорогу  
За рекой широкой,  
Тоже одиноко  
Дуб стоит высокий.  
Как бы мне, рябине,  
К дубу перебраться?  
Я б тогда не стала  
Гнущаяся и качаться.  
Тонкими ветвями  
Я б к нему прижалась  
И с его листьями  
День и ночь шепталась...

Алексее много раз приходилось слышать пение Ульяны. Он слушал ее и в клубе, и в доме Лисицыных, и в тайге, и даже на районном смотре художественной самодеятельности. Он признавал за ней большие способности, советовал ей развивать их, однако его самого ее пение не задевало.

Но в это утро голос Ульяны прозвучал для него по-иному. Алексей вдруг почувствовал, что простая бесхитростная песня схватила его за сердце, пробудила в нем не то тоску, не то грустное раздумье. Как брошенный в реку камешек вызывает круги на спокойной поверхности воды, так ее песня вызвала в его душе целый строй новых мыслей и чувств. В одно мгновение ему припомнилось детство, замелькали в памяти обрывки каких-то разговоров из периода его споров с профессором Великановым, отдельные фразы из писем Софьи, вспомнились ее мягкие бархатистые глаза, такие ласковые и внимательные и такие беспомощные, когда нужно рассмотреть что-нибудь вдаль. Всё это пронеслось стремительно, как в вихре, но ощущение какой-то щемящей и приятной боли сердца не проходило.

— Уля, спой еще раз, — горячо попросил Алексей и подвернул к толстой сосне, вывороченной в бурю с корнями. Он сел на дерево и вытащил из кармана портсигар.

— Я покурю, Уля.

Ульяна не стала отказываться. Казалось, она знала, что он попросит ее повторить песню.

Вновь услышав ее звонкий высокий голос, он обеспокоенно подумал «Теперь уж так не взволнует».

Ульяна стояла от него в пяти шагах, чуть приподняв голову. Она пропела песню еще раз. Живой и осязаемой почудилась Алексею горькая тоска, мрачное одиночество и тихая, но неиссякаемая страсть рябинки. И не то было удивительно, что голос Ульяны был звонким и свободным, а то, сколько чувства несло с собой каждое слово, сколько житейского опыта было вложено в короткую песню.

Ульяна взглянула на Алексея, ища в его глазах одобрения, но он сидел, опустив голову. Девушка подошла к лесине, села рядом с ним.

Алексей подумал: «Таково уж свойство талантливого человека — вмещать в своей душе чувства, лежащие за пределом личного опыта и возраста. Откуда бы ей знать тоску одиночества?..»

— Ты лучше петь стала, Уля, — сказал Алексей и, помолчав, добавил: — И мой совет тебе: не откладывай учебу, поезжай в город.

— Да что вы, Алексей Корнеич, разве срок мне ехать сейчас в город? — не то с обидой, не то с раздражением отозвалась Ульяна.

— А когда же будет срок?

— Когда? Как вы найдете здесь руду и уголь, тогда и будет срок.

— А если я не найду тут ни руды, ни угля? — вполне серьезно спросил Алексей.

Она приняла его слова за шутку и горячо сказала:

— Будет вам, Алексей Корнеич, смеяться надо мной. Этого быть не может. Даже дедушка Марей Гордеич и тот говорил: найдете!

Алексей никогда не сомневался в правоте своих взглядов на геологию Улулюля, но, сталкиваясь всякий раз с той верой в него, которая была у людей, знавших, что он занимается изучением таежного края, он чувствовал какой-то особенный подъем. В такие минуты ему казалось, что он не отступит, если даже потребуется отдать Улулюлю всю свою жизнь — от сего дня до последнего смертного часа.

Испытывая чувство, близкое к гордости собой за свою непоколебимую преданность одному делу, Алексей повернулся к Ульяне и заговорил вдумчиво, серьезно, так, как никогда еще не говорил с ней.

— Если б мне, Уля, удалось найти хоть одно доказательство выхода на поверхность коренных пород, всё бы сразу переменялось. Я бы подорвал неверие многих ученых и хозяйственников в перспективность нашего края. Пошли бы сюда комплексные экспедиции, поисковые партии, понаехали бы ученые... — Он помолчал, мечтательно вскинул глаза, но сразу же опустил их и глухо закончил: — Труден первый шаг, первый поворот, первое усилие, Уля, чтобы поколебать старое, годами утвердившееся!

— Я читала, Алексей Корнеич, одну книгу про Мичурина, — взволнованная доверием Краюхина, проникновенным тоном сказала Ульяна. — Его тоже вначале не хотели признавать, считали чудаком...

— Куда мне до Мичурина! Тот гений.

— Я не о том, — поспешила уточнить она, и он понял, что девушка не настолько безрассудна в своих суждениях, чтобы считать его равным Мичурину. — Я о том, Алексей Корнеич, что велик ли, мал ли подвиг пионера, а путь у него один — через препятствия, через борьбу.

Алексей поднял голову и посмотрел на Ульяну долгим и удивленным взглядом. Ульяна высказала мысли верные, зрелые и, должно быть, пришедшие ей в голову не теперь... И он опять подумал о том же, о чем думал уже сегодня. Как же он ошибался в своих представлениях! Он всё еще считал ее неразумной белокрысой девчонкой, способной лишь петь песни да бездумно, поражая всех своей смелостью и ловкостью, бегать по таежным трущобам. Она же, выходит, самым тщательнейшим образом следила за его поступками и делами и до поразительности правильно схватила самую главную суть его положения.

То, что она предстала перед ним в совершенно ином качестве, чем он думал о ней, настроило Алексея на беспощадную самокритику. «Это происходит от твоего невнимания к окружающим, — мысленно говорил он себе. — Может быть, ты заболел высокомерием? Это чистейшее донкихотство — не считаться с реальным окружением, принимать людей не такими, какие они есть на самом деле, а такими, какими их рисует тебе твое воображение».

Десятки самых сильных и резких слов сказал себе Алексей, но когда все эти слова были исчерпаны, он внутренне усмехнулся, подумал: «Ну, братец мой, и наговорил же ты на себя. Это у тебя просто сысоевщина». И ему припомнился Мишка Сысоев, плотный, мускулистый парень с толстым добродушным лицом.

В годы учебы Мишка жил в одной комнате с Алексеем, хотя и был студентом машиностроительного факультета. Он был так увлечен специальными предметами, что довел это увлечение до комизма. Высшим критерием в оценке человека для Мишки стало лишь одно качество: знает ли этот человек теорию холодного резания металла.

Мишка не скрывал своего подхода к людям, и вскоре студенты стали называть «сысоевщиной» всякое однобокое увлечение каким-нибудь одним делом.

«Ну, это еще не велик грех, если я сысоевщиной прихворнул», — с усмешкой подумал Алексей.

Взглянув на Ульяну, Алексей понял, что она обижена тем, что он не поддержал ее серьезного разговора.

— Правильно, Уля! Путь у первооткрывателей один — деяние и борьба, — сказал Алексей. — Потом, когда новое победит, даже странным кажется, как это могли люди цепляться за старое, ведь оно сдерживало их собственное движение. Но уж такова сила старого.

Алексей заметил, что его слова вмиг преобразили Ульяну. Глаза ее заблестели, и она подняла свою головку с длинными косами, став сразу внимательной до строгости.

— Уж это точно, Алексей Корнеич! — воскликнула Ульяна. — Когда вы откроете Улулюье, сами же ученые ваши противники будут недоумевать, как могла случиться эта дикость, что они не верили вам.

Алексей засмеялся. Ему очень понравилось слово «дикость». Оно верно передавало ту крайнюю степень неверия в судьбу обширного края, которое было у части ученых.

— Но до того дня, Уля, когда эти люди начнут каяться в своих ошибках, так же далеко, как от нас с тобой до вершины Тунгусского холма, — с усмешкой сказал он, взглянув в ту сторону, где, темнея хвойным лесом, возвышалась, как сторожевая башня замка, шапкообразная маковка Кедровой гряды.

— А может быть, и ближе, Алексей Корнеич, — также с усмешкой, в тон Алексею, ответила Ульяна. Они весело посмеялись над тем, что взялись измерять то, что едва ли может быть измерено.

Алексей докурил, бросил окурок на землю и затоптал его каблуком в песок. Ульяна поняла, что можно двигаться дальше. Она встала, поправила ремни ружья и сумки и, увидев, что Алексей поднялся, пошла. Алексей, встряхивая на плече ружье, потянулся за ней.

Они шли молча. Ульяна вела Алексея на холм, избегая крутых подъемов.

На пути часто попадались обнажения, то в виде глубоких ям, взрытых вывороченными корнями деревьев, лежавших тут же, то в виде обвалов, промытых дождевыми потоками в ненастье.

Алексей в таких местах задерживался, осматривал обнажения, брал в руки камни, иногда глядел на них через круглую лупу и сильным рыв-

ком отбрасывал их в сторону. Ульяна внимательно наблюдала за ним, терпеливо ждала, когда он скажет: «Дальше, Уля».

От зноя, от испарины, поднимающейся с земли, стало уже трудно дышать, но и путь их подходил к концу. До вершины Тунгусского холма оставались считанные шаги.

Ульяна и Находка, без усталости с лаем метавшаяся по лесу, первыми достигли вершины.

— Победа! — весело закричала Ульяна Алексею, который еще был на подходе.

Тяжело дыша, Алексей остановился рядом с Ульяной. Осмотрелся. Трудно было поверить, что вершина Тунгусского холма, казавшаяся снизу островерхой, на самом деле представляла собой обширную площадку, окаймленную лесом и заросшую густым кустарником. Повидимому, когда-то крупный лес здесь был выжжен. Правда, на середине этой площадки стояла огромная лиственница. Алексею никогда еще не приходилось видеть такого толстого и высокого дерева. На самой площадке свободно бы уместился десятиэтажный дворец.

— Наши охотники говорят, что с этой лиственницы край света видно, — засмеялась Ульяна, показывая рукой на дерево.

— А ты была на ней, Уля? — спросил Алексей, закинув голову и осматривая острую, как шпиль, макушку лиственницы.

— Что вы, Алексей Корнеич! Я поднималась только до половины, а лезть дальше струсила. Качает сильно! А день был тихий.

— Кто-нибудь поднимался до вершины?

— Один мой тятя. Да еще не раз. Рассказывал он, что с макушки даже Синее озеро видно.

— Представляю, какое зрелище! Лес растекается волнами, Таежная блестит извилистой дорожкой, и озера полыхают, как цветные стекла, всеми цветами радуги...

- Полезете, Алексей Корнеич?

— Нет, Уля. От высоты голова кружится.

— И у меня тоже. И как взгляну вниз, сердце замирает.

— Земные мы с тобой черви, Уля, — засмеялся Алексей, — кроты. Только кроты без глаз, а мы с глазами.

Ульяна подхватила его смех и так весело захохотала, что Алексей понял — девушка счастлива сегодня.

— А камни-то где, Уля? — нетерпеливо спросил Алексей.

— Сейчас, Алексей Корнеич, будем искать, — сказала Ульяна и, с трудом пробираясь сквозь кустарник, полезла в чащу.

О камнях на вершине Тунгусского холма Алексею рассказал Лисицын. Это случилось после того, когда Марей Гордеич посоветовал Алексею побывать на Тунгусском холме.

О камнях знал и Марей Гордеич. По его словам выходило, что в годы, когда он жил в улулюльской тайге, к этим камням, похожим на два больших сундука, часто приходили с верховий Таежной тунгусы. Камни считались у них священными, и они приносили сюда разноцветные лоскутки, которые оставляли на ветках деревьев.

Показания Лисицына несколько противоречили тому, что рассказывал старик. Лисицын с дочерью ежегодно в чернотропье ставили на Тунгусском холме капканы на колонков и камни видели каждый раз, но это были простые камни, величиной с голову, с кулак, и на сундуки они никак не походили. Короче говоря, всё надо было осмотреть самому...

Чаща была такой густой, что Ульяна бесследно исчезла в ней. Алексей подождал немного, не зная, куда ему идти, и крикнул:

— Уля, где ты?

Ульяна ответила с противоположной стороны.

— Не могу найти, Алексей Корнеич. Помнится, что лежали возле этой березки. Вы ждите. Я подам голос.

Алексей стоял молча, смотрел на простирившуюся вдаль Кедровую гряду, думал: «Загадочная складка. И происхождение ее с рекой не связано. Пойменная долина лежит немного дальше. Надо попробовать пройти с компасом». Он вытащил из кармана рубахи компас, встряхнул его, положил на ладонь. Стрелка задрожала, запрыгала, ее сильно повело, но в тот же миг она отскочила и замерла. Алексей решил встряхнуть компас еще раз, положить его на пенек и сверить его показания с картой, но послышался голос Ульяны:

— Алексей Корнеич, нашла!

Пряча на ходу компас, Алексей бегом бросился на ее зов. Но ветки кустов, стлавшиеся по самой земле, цеплялись за ноги, и он пошел спокойным шагом.

— Иду, Уля, иду! — крикнул он.

Когда Алексей подошел к Ульяне, он увидел, что она присела на корточки и внимательно осматривает грудку камней, сваленных под березкой. С первого взгляда Алексей определил, что камни лежат тут давно и молодая березка на многие-многие годы моложе камней. Верхние камни подернулись мхом, дождевые капли продолбили в них круглые дырочки, прочертили извилистые канавки.

Алексей поспешно приблизился к Ульяне, опустился напротив нее. Взглянув на него, Ульяна поняла, что он возбужден. Алексей раскраснелся, хватал один камень, другой, третий, торопливо откладывал их к своим ногам.

Потом он выбрал камень темного пепельного цвета и накапал на него из пузырька какую-то жидкость.

Как ни строг в эту минуту был Алексей, Ульяна засмеялась:

— Вы как колдун, Алексей Корнеич!

— Колдун! Тоже мне... студентка! Да ты знаешь, что такое в пузырьке? Десятипроцентный раствор соляной кислоты. Без нее я как без рук. Если кислота не вскипит, значит, камень этот кварцит... он мне нужен, а всё-таки...

— А если вскипит? — оживленно спросила Ульяна.

— Если вскипит — известняк. А известняк, Уля, это моя мечта.

— И что же, если известняк? — спросила Ульяна, когда Алексей умолк.

— Это значит, Уля, древнейшие породы, с которыми связаны месторождения железной руды, угля, нефти, не столь глубоко спрятаны в Улуюлье, как утверждают некоторые ученые. Стало быть, их можно найти и... Тут начнется другая жизнь.

— Да вы мне покажите, Алексей Корнеич, какие они, известняки. Я их вам сколько угодно в промоинах у Синего озера найду, — с запальчивостью сказала Ульяна.

— Больно быстрая ты!

— Найду! — горячо повторила Ульяна.

— Ну, давай, давай найди, — подзадорил ее Алексей и кивнул на темнопепельный камень с капельками кислоты: — А видишь, вот камешек не вскипает — и баста! Это кварцит, Уля. Нужная находка, но...

Он отложил камень и принялся перебирать остальные. Край одного камня поразил его гладкой, почти отполированной поверхностью. «Как отесанный», — подумал он.

— Ты давно, Уля, об этих камнях знаешь? — спросил Алексей, повертывая в руке камень с отполированным краем.

— Как начали мы промышленять на Тунгусском холме, с тех пор. Я еще пионеркой была.

— Камни в таком же виде были?

— Их много тут было. Часть мы с тятьей растаскали на грузила к ловушкам. А что, Алексей Корнеич? — спросила Ульяна, видя, что Алексей чем-то озадачен.

— Я вспомнил слова Марее Гордеича. Помнишь, он говорил, будто камни лежали, как сундуки... Походит. Видишь, какой край... И потом - откуда они взялись туг?..

Алексей умолк и сосредоточенно принялся осматривать камни заново — на второй круг. Ульяна поняла, что он не собирается посвящать ее во все свои сомнения, и отошла. Она долго стояла молчаливая, с опущенными руками, и влюбленным взором смотрела на него: на его крупную голову с взъерошенными, выцветшими волосами, свисавшими сейчас на лоб и глаза, на ловкие руки с длинными пальцами, на полные губы, шептавшие какие-то слова.

Он словно почувствовал на себе ее долгий взгляд, поднял голову, и по мимолетной улыбке, которая озарила его лицо, она догадалась — он доволен сегодняшним днем.

— Алексей Корнеич, обед варить? — спросила она.

Он ничего не сказал, а только утвердительно закивал головой.

Она неподалеку от него выбрала полянку — круглую, как пятак, и развела костер. Дымок затрепетал и, расстилаясь дорожкой, пополз прямо на Алексея. Он зачихал и поднялся.

- Уля, ты кашеварь тут, а я пройду по склону. Посмотрю, нет ли каких обнажений, — всё еще морщась от дыма, сказал Алексей.

— Как будет готово, я крикну.

Алексей махнул рукой в знак согласия и скрылся в лесу. Находка, лежавшая под кустом в тени, вскочила и бросилась за ним. Ульяна посмотрела вслед и, зная, как преданно собака служит ей, удивленно подумала: «Находка за ним, как за мной, начинает бегать». Ульяне было приятно видеть доверчивость собаки к Алексею, и она не остановила ее, хотя и чувствовала себя в тайге без Находки одиноко.

Она подбросила дров на костер, взяла котелок и направилась в пихтовую чащу. Тут под защитой плотного слоя веток никогда не пересыхали глубокие ямки, наполненные отстойной снеговой водой.

#### 4

Не спеша, напевая тихонько то одну, то другую песню, Ульяна сварила обед.

— Эге-ге! Обедать, Алексей Корнеич! — крикнула она.

Алексей не откликнулся. «Под горой не слышно», — подумала она, вышла к месту, с которого начинался спуск, и опять закричала во всю мочь.

Голоса Алексея Ульяна не услышала, но до нее донесся лай Находки. «Идет», — решила она и вернулась к костру.

Через несколько минут на полянку с визгом и лаем вылетела из чащи Находка. Собака бросилась к Ульяне, лизала ей руки, волчком крутилась возле нее.

— Ну, ложись, Находка, тут ложись, — строго сказала Ульяна, указывая собаке место. Находка села, но подняла голову и завывала. «Уж не зверя ли она чует», — подумала Ульяна, поглядывая на свое ружье, висевшее на еловом сучке.

Собака вскочила и опрометью бросилась в ту сторону, откуда прибежала.

— Эге-ге! Алексей Корнеич! — закричала Ульяна так сильно, что от натуги покраснела. Не дождавшись ответа, обеспокоенно оглядываясь. Ульяна опоясалась патронташем, сняла ружье с сучка и, взяв его наизготовку, — ложе подмышку, ствол с мушкой на уровне глаз, — вышла к спуску.

Находка лаяла на прежнем месте. Ульяна прислушалась. Собака лаяла по-особенному: не сердито, с рычанием, как она обычно лаяла на зверя, а жалобно, с визгом и подвыванием. «Что-то случилось с ним», ощущая холодок на спине, подумала Ульяна.

«Алексей Корнеич! Где вы?» — хотела крикнуть она, но отчаяние перехватило ей горло, и она произнесла эти слова топотом. «Ну зачем я отпустила его одного? Ученый он человек, не таёжник...» — упрекала себя Ульяна, быстро приближаясь к тому месту, где лаяла Находка.

— Алексей Корнеич!

— Ульяна!

Голос его доносился Слабо, чуть слышно, откуда-то из-под земли. Она вообразила, что он лежит при смерти, растерзанный медведем, и закричала не своим голосом:

— Где вы?! Где вы?!

Алексей застонал. Ульяна напролом бросилась в кустарник и чуть не свалилась в яму. Обламывая сучья, подминая бурьян ногами, сна, проделала в чаще дыру и заглянула в яму. Оттуда на нее пахло сыростью. Алексей лежал, скрытый сумраком и ветками кустов, росших вокруг ямы.

— Алексей Корнеич, живы?! — придерживаясь за кусты и повисая над ямой, спросила Ульяна.

— Шест или веревку надо, Уля. Не выбраться мне. — Алексей опять застонал.

— Веревки, Алексей Корнеич, нету, буду искать шест! — крикнула она.

— Ищи, Уля, — донеслось из ямы.

Ульяна заметалась по склону, выискивая в валежнике легкую, гладкую жердочку, могущую заменить шест. В одном месте она подняла с земли засохшую елку, ногами обломала сухие хрупкие сучья и побежала к яме.

— Держитесь, Алексей Корнеич. — Ульяна осторожно, чтобы не уронить жердь и не ударить Алексея, стала опускать ее в яму. — Взались?

— Не могу дотянуться, Уля.

Ульяна встала на колени и, сгибаясь над ямой, насколько это можно было, опустила жердь примерно еще на метр.

— Взались, Алексей Корнеич?

— Нехватает рук, Уля.

— Много ли нехватает?

— Около метра.

— Побегу за топором. Топор у костра.

— Хорошо, Уля.

Ульяна бежала и в гору и под гору. Струйки пота сползали по ее разгоряченному красному лицу, спина была мокрая, сердце колотилось, горло перехватывало, но сознание того, что Алексей лежит в яме и для него каждая минута кажется бесконечной, придавало ей силы.

Неподалеку от ямы Ульяна остановилась, срубила тонкую высокую березку.

— Опускаю, Алексей Корнеич! — крикнула она, подходя к яме с березовой жердью.

— Ой, скорее, Уля! Продрог я насквозь.

Ульяна концом жерди опробовала прочность кромки ямы, встала так, чтобы ноги имели больше опоры, и опустила жердь.

— Держись, Уля! — сказал Алексей.

— Взя-али! — крикнула Ульяна.

Перебирая руками, она потянула жердь вверх. В те моменты, когда Алексей, скользя ногами по стене ямы, терял опору и держался лишь за жердь, ей было невыносимо тяжело. Она шаталась, в глазах ее темнело, но руки держали жердь мертвой хваткой, и не было сил, которые могли бы вырвать жердь у нее. Но такие моменты продолжались две-три секунды, потом ноги Алексея находили выступ, и Ульяна несколько секунд отдыхала.

Наконец Алексей взялся за ветки. Ульяна отбросила жердь и схватила его за руку. Он громко застонал, скрипнув зубами, но Ульяна не выпустила его руки и помогла вылезти на кромку ямы.

Увидев его на солнце, она чуть не закричала от испуга. Щека его была расцарапана, и глубокие ссадины кровоточили. Рубашка на плече и на боку пропиталась кровью. Весь он с головы до ног был выпачкан в студенистой зелено-серой жиже, стволы ружья, висевшего за спиной, были забыты грязью.

Поддерживая Алексея под руку, Ульяна вывела его из чащи. Он шел пошатываясь, и она чувствовала, что он сдерживает стоны.

— Садитесь тут, Алексей Корнеич, — сказала она, бережно сняла с него ружье, помогла опуститься на толстую валежину. Он сел, привалился к осине и закрыл глаза.

— Снимайте рубаху, Алексей Корнеич, а то прилипнет к ранам. Я побегу смолы наберу. — Ульяна взяла топор и побежала к семейке молодых кедров, расселившихся неподалеку на склоне.

Когда она вернулась, неся на топоре прозрачные, как хрусталь, капли кедровой смолы, Алексей сидел в той же позе, как бы впад в забытье.

— Снимайте рубашку, — повелительно сказала она и, не дожидаясь, когда он начнет делать это, сама расстегнула ремень и катушкой свернула его.

Всего лишь час тому назад она побоялась бы даже подумать, что может сама взять его за руки и увидеть его тело обнаженным. Застенчивая и кроткая, она краснела, когда он задерживал на ней свой взгляд. Она чувствовала себя с ним неловкой, нескладной и стесненной как в словах, так и в поступках. Теперь же она не испытывала никакого смущения. Тревога за Алексея, желание помочь ему, сознание того, что она ответственна за его жизнь в тайге, — всё это переродило ее.

Она стащила с него испачканную и мокрую рубашку и, отмахивая от его голой спины своей косынкой сердиго жужжавших паутов и слепней, смазала ссадины кедровой смолой. Про себя она удивилась, что он беспрекословно делал всё, что она говорила, молча поднимая руки и поворачивая к ней то плечо, то бок. Он был беспомощен, как ребенок, и эта беспомощность вызвала в ней такую нежность к нему, что она с трудом сдерживала себя, чтобы не прижать его голову к своей груди.

— Я пойду, Алексей Корнеич, обед принесу и рубашку вашу замою, а вы снимите сапоги и брюки, осмотрите, нет ли ссадин на ногах, — распорядилась Ульяна.

— Уля, молодец ты, сидеть бы мне в яме, — сказал Алексей, всё время молчавший, повидимому, не столько уже от боли, сколько от психической встряски, вызванной падением в яму. Он хотел улыбнуться, но неловко повернулся, желая взглянуть на нее, вызвал этим боль в плече и лишь болезненно сморщился.

— Сидите смирно да паутам не давайте. Я скоро, — сказала она

и с удивительной быстротой исчезла. «Какая стремительная, как ласточка!» — отметил Алексей про себя, взглянув ей вслед.

Когда она вернулась с котелком в руках и выстиранной рубашкой, Алексей стоял возле ямы и ковырял палкой заросшую серым лишайником и коричневым мхом кромку ямы.

— Ой, смотрите, Алексей Корнеич, еще раз попадете! — обеспокоенно закричала она и подумала: «И что его туда тянет?»

— Уля, ты знала об этой яме? — спросил он, не оборачиваясь и увлеченно присматриваясь к разрытой земле.

— Нет, Алексей Корнеич.

— А Михаил Семенович знал?

— Если бы он знал о 'ме, он обязательно предупредил бы меня. Весь этот склон за мной был. Мои тут ловушки стояли. А что, Алексей Корнеич?

— Яма необычного происхождения, Уля. Промоины тут не могло быть, обвала тем более... А как по-твоему, Уля, на медведя могли вырыть такую яму?

— Нет, Алексей Корнеич. Медвежьи ямы меньше. Вы смотрите, какой широкий зев у ямы, тут пятистенный дом может уместиться...

— Возможно, ты права, Уля.

— Давайте обедать, Алексей Корнеич. Рубашку вашу я на куст разброшу, она через несколько минут будет сухой. Палит-то как!

Они сели обедать, вытоптав возле ямы небольшую полянку и скрываясь от жаркого солнца в тени кустов. Находка улеглась у ног Ульяны, высунула мокрый красный язык. Алексея, сидевшего без рубашки, донимали паузы. Он подергивался всем туловищем, корчился от боли, но ел с аппетитом, похваливая Ульяну за вкусный обед.

Ульяна ела молча, не подымая головы. Теперь, когда он не нуждался в помощи, ей стыдно было смотреть на его обнаженную грудь, на его голые плечи, исцарапанные камнями. Алексей, чувствуя смущение девушки, поспешил надеть рубашку, хотя местами она еще не просохла.

После обеда Алексей достал из походного мешка лопату и насадил ее на черенок, для которого вполне пригодилась верхинка березы, срубленной Ульяной. Попеременно с Ульяной они принялись разрывать кромку ямы. Боль от царапин и ранок сдерживала движения Алексея, но он и думать не хотел о прекращении работы. Ульяна топором вырубала кустарник, вытаскивала полуистлевшие корни когда-то стоявших здесь больших деревьев.

Когда кромка ямы была расчищена, кустарник, заслонивший солнце, вырублен, Алексей решил спуститься в яму с лопатой. Прежде чем это проделать, пришлось соорудить лестницу. Ульяна срубила высокую ель. Сучья она обрубила так, чтобы можно было на них вставать ногами.

Ель была сырой, тяжелой, и они долго провозились, подтягивая ее, а затем устанавливая в яму. Липкая и клейкая сера, выступившая на сучках, выпачкала их одежду, руки, но, по убеждению таежников, древесная смола никогда не считалась грязью, и на это ни Алексей, ни Ульяна не обращали внимания.

Осторожно, боясь сорваться и упасть, Алексей стал спускаться в яму. Ульяна держала еловую лестницу, вкладывая в это все свои силы и прилежание. Ей всё казалось, что он вот-вот соскользнет и рухнет в яму. Тогда его спасли кусты, свисавшие над ямой, теперь ничто не могло смягчить падения.

— Тише вы! Не торопитесь, пожалуйста! — одно и то же твердила она. Алексей, не слушая ее, весело говорил:

Представь, Уля, если б я был один. Солоно мне пришлось бы. Даже не знаю, как и выбрался бы...

Алексей принялся в яме работать с азартом. Он расчищал стенки ямы от травы и зелено-серой слизи, выкапывал в них глубокие отверстия, потом взялся раскапывать дно ямы. Лопата то и дело наткалась на камни, звякала, ожесточенно скрежетала в неподатливой жесткой земле.

Ульяна несколько раз хотела спуститься в яму и подменить его, но Алексей отказывал.

— Ты займись, Уля, делом наверху. Выруби кустарник по левой кромке ямы, я там копать буду, — сказал Алексей, когда Ульяна опять изъявила желание спуститься в яму.

Ульяне уже надоело сидеть без дела, и, взяв топор, она усердно стала рубить кустарник. Они работали молча и с увлечением. Алексей позабыл даже о курении.

Расчистив кромку ямы от кустарника, Ульяна принялась за раскорчевку корней. Вдруг она услышала сильный, нетерпеливый голос Алексея:

— Уля, держи скорее елку!

Ульяна оставила топор и, не успев даже подумать, что с ним могло случиться, бросилась к яме. Он уже подымался по сучьям, не видя того, что елка сползает по обвалившейся кромке в сторону. Ульяна схватила елку за вершину и выправила ее.

Когда Алексей, потный и грязный, вышел из ямы, держа кепку с каким-то грузом, Ульяна по его виду поняла, что он, должно быть, наткнулся на ценную находку.

— Смотри, Уля! — радостно сказал он и раскрыл кепку. Она приготовилась увидеть что-то необычное, яркое, и даже прищурила глаза, но, заглянув в кепку, увидела три камня, по цвету самых обычных.

— Это, Уля, шлак, — Алексей показал на серо-коричневый камень, похожий на спекшуюся золу. — Это, Уля, самое обыкновенное железо. Смотри, оно подвергалось ковке. Видишь, какие плитки... — Он крутил перед ее лицом продолговатые, расплющенные черно-серые камни.

— А яма откуда взялась, Алексей Корнеич?

— Сам гадаю, Уля. Возможно, шурф пробили в прошлом столетии улюлюльские старожилы, а может быть, и еще раньше — тунгусы.

Алексей перебирал слитки железа и шлака, осматривал их через лупу.

— Ты счастливая, Уля, — сиял он улыбкой, размышляя о чем-то своем. — Смотри, с тобой я в первый же день на какое место наткнулся!

— Я-то при чем тут? Ваши бока страдали! — засмеялась Ульяна.

— Бока не стеклянные! Выдержат! — воскликнул он и, молча потоптавшись, опустился на корточки, вытащил тетрадь и карандаш из своей полевой сумки военного образца и начал зарисовывать расположение ямы.

— Это для чего, Алексей Корнеич? — спросила Ульяна, наблюдая за его работой.

— Рисунки и описание Соне пошлю, — сказал он тихо, увлеченный своим делом.

— Кому пошлете? — торопливо спросила она.

— Соне Великановой, — ответил он так же тихо.

Словно что-то оборвалось внутри у Ульяны, хотя она ни о чем еще не успела подумать. Она отступила от него на шаг, про себя повторяя: «Соне Великановой». Он обернулся и, взглянув на нее, заметил, что она стояла с печалью в своих всегда настроженных серо-голубых глазах.

— В этом деле, Уля, нужен совет специалиста, а может быть, даже и его участие. А Великанова историк, работала много на раскопках.

Ульяна промолчала, стараясь сообразить, почему само звучание слов «Соне Великановой» вызвало в ней невыразимую тоску.

Они пробыли возле ямы до потемок. Ульяна сидела в обнимку с Находкой и негромко пела самые печальные песни, какие только приходили ей на ум. Алексей увлеченно работал, и ей казалось, что в эти часы кроме ямы и камней, его ничего на белом свете не интересовало.

## 5

Три дня подряд Лисицын просидел в прибрежной чаще возле того места, где он обнаружил в заливчике плот Станислава. Он уходил туда со стана на рассвете, когда Ульяна и Алексей еще спали, и возвращался в потемках. Но ожидания его были напрасными — Станислав больше не появлялся.

Лисицын приуныл. Размышляя, что ему предпринять дальше, он два дня работал вместе с Алексеем и дочерью на раскопке ямы. Усердно разрывая землю лопатой, Лисицын мысленно разговаривал с собой: «Брехун ты, Михайла. Давно ли ты бахвалился перед Краухиным: «Тут на Улуюльской земле, Алеша, я знаю каждую щелку, каждого человека». А выходит, ничего-то ты не знаешь! Старую яму под носом у тебя нашли, о которой ты ни сном ни духом не ведал, подозрительные люди по тайге шляются... Эх!» Чтобы Ульяна и Алексей не заподозрили его уныния, он принимался рассказывать всякие охотничьи побасенки или изображал птичьи голоса.

— Мне, Алеша, — обращаясь к Алексею, сказал вечером Лисицын, — на пасеку придется пойти. Правленцы туда хотели приехать. Будут выбирать место для нового дома пасечнику. Надо мне повидаться с ними. Пусть подмоги у леспромхоза просят. Одним нам не очистить плесы от карча.

Утром Лисицын ушел. Правленцев на пасеке он не застал. Они приехали утром, пробыли на пасеке два-три часа и направились обратно в Мареевку. Лисицын пожалел, что упустил возможность поговорить с председателем колхоза до возвращения из тайги, но делать было нечего. Остаток дня Лисицын провел в разговорах с пасечником... Они сидели возле избушки на старых колодках, не спеша курили, обменивались последними новостями, обсуждали дела колхоза. Помянули, конечно, Дегова: вот, дескать, везет человеку — работает едва ли больше других, а почет на всю область. Вспомнили и о молодости. Платон Иванович Золотарев был сверстником Лисицына. Они вместе служили в царской армии, вместе партизанили, вместе охотничали до той поры, когда гибкий черемуховый прут ударил Золотарева по правому глазу. Глаз заплыл, долго болел, а потом покрылся бельмом. Золотарев всю жизнь при стрельбе прицеливался правым глазом. Левый глаз у него был с косинкой, да и не просто было натренироваться в такие годы. Платон, прежде меткий, безошибочный стрелок, начал палить мимо цели. Лисицын, в бригаде которого охотился Золотарев, первый понял, что Платону надо менять занятие. Так охотник превратился в тихого пчеловода...

В трех шагах от них за верстаком, стоявшим под навесом из еловой дранки, с рубанком в руках работал Станислав. Он отстругивал плоские метровые плашки. Немой то и дело вскидывал плашки на руках, прищурив глаз, осматривал их и либо откладывал в сторону, либо вновь опускал на верстак и брался за рубанок.

Разговаривая с Платоном, Лисицын ни на одну минуту не переставал следить за немым. Ему казалось, что Станислав лишь изображает, что увлечен работой. На самом же деле он напряженно прислушивается к его разговору с Платоном. Лисицын решил провести небольшое испытание.

Когда Платон спросил у него, каковы дела у Краюхина, Станислав так и насторожился весь: он быстро отложил рубанок и начал сметать с верстака легкие кедровые стружки, неестественно вытягивая свою бронзовую мускулистую шею.

Лисицын начал говорить громко — и Станислав поспешил взяться за рубанок. Но вот Лисицын снизил голос — и Станислав в тот же миг придержал рубанок, потом поднял плашку и долго приглядывался к ней.

Подозрение так и точило душу Лисицына. «Кто же ты есть, рыжая твоя башка? — глядя на Станислава, думал он. — Если ты в самом деле контуженный инвалид Отечественной войны и пострадал за Родину, то зачем ты скрываешь свой голос? Или думаешь, что так легче и выгоднее жить тебе? А зачем ты тайно по тайге шляешься, мой стан у Тунгусского холма обходишь? Нет, Станислав, не тот ты, за кого выдаешь себя. И бумаги твои из военного госпиталя ненастоящие. И уж как ты ни хитри, Станислав, а теперь ты меня на мякине не проведешь».

— Эй, Станислав, иди отдохни, покурим вместе, — предложил Лисицын, когда их разговор с Платоном начал иссякать.

Станислав послушно подошел. Он был босой, в широких полосатых штанах, в длинной рубашке с расстегнутым воротником, без пояса.

Станислав сел рядом с Лисицыным, принял от него кисет. Лисицын похлопал немного по широкой, крепкой спине:

— Богатырь ты! Как здоровье-то? Скоро начнешь говорить?

Станислав расплылся в улыбке, замотал головой, развел руками: рад бы, мол, заговорить, да что ж делать, коли не проходит контузия.

Немой оторвал клочок газетной бумаги, насыпал на него большую щепоть табаку и принялся заворачивать цыгарку. Он делал всё это не спеша и уверенно. Лисицын наблюдал за его длинными, сильными пальцами. «Никакой контузии у него, у чорта, не было! Пальцы, как железные, ни один не вздрогнет!» — отметил про себя Лисицын.

— На охоту бегаешь, Станислав, или нет? — спросил он. Немой закивал головой, глотнув дыму, выпустил его с шумом: пуф! пуф!

— За Таежной у Тунгусского холма бывал нынче? Как там птица — гуртуется, нет? — скосив глаза на Станислава и придерживая дыхание, спросил Лисицын.

Станислав опять закачал головой: бывал, дескать, за Таежной, и птицы там видимо-невидимо, всюду кишмя кишит: фур! фур!

— А давно бывал? — спросил Лисицын, еще больше настораживаясь.

Станислав вскинул руки и, перебирая быстро-быстро пальцами, избразил падение снега.

— Ага, ранней весной был. Снег еще шел, — сказал Лисицын и, когда немой согласно затряс головой, заглянул ему в глаза. Они были такие непроницаемые и холодные, что Лисицын поспешил отвернуться, подумав: «Как в мутном озере — ничего не видно».

Что бы ни делал теперь Станислав — каждый его поступок вызывал у Лисицына сомнение. Вечером, когда стали ложиться спать, Лисицын с удивлением увидел, что Станислав забрал свою старую шинель и вышел из избы.

— Он что у тебя, Платоша, на улице спит? — спросил Лисицын Золотарева.

— На вышке он, Миша, устроился. Чистый воздух ему для излечения нужен, — участливо сказал Золотарев.

«Чистый воздух! Бойтесь, что сонный разговаривать начнет», — подумал Лисицын, вспоминая, как Станислав, ночуя у него на стану, непременно укрывался с головой.

Утром на другой день Лисицын ушел с пасеки. Он сделал вид, что направился к своему стану, но еще вечером, лежа на нарах рядом с Пла-

тоном, раздумывая над своими наблюдениями за Станиславом, решил побывать за пасекой, в осиннике, где погибла под Краюхиным от случайного выстрела лошадь. Лисицын сам бы не объяснил этого желания, он чувствовал только безотчетный зов всей души, толкавший его в осинник, и был не в силах сопротивляться этому.

Лисицын знал осинники не хуже, чем Тургайскую гриву и Кедровую грядку. Каждую осень по первому снегу он охотился здесь на зайцев. Лисицын хорошо знал и то место, где приключилось с Краюхиным несчастье. Лесом, чтобы спрямить свой путь, Лисицын дошел до кочкастого болота и отсюда по тропе направился обратно к пасеке. Шаг за шагом он следовал по той же дороге, по которой ехал Краюхин. Вот лог с тихим родниковым ручейком, вот подъем на взлобок, а вот и три толстых осины, окруженных непролазной чащей. Чуть дальше тропу пересекала полусгнившая колода. За нее в темноте и споткнулся Краюхин, когда, вообразив, что его преследуют, бросился бежать к пасеке.

«И почему я раньше сюда не пришел? Не раз же собирался сходить. Что я теперь тут увижу? Лист на деревьях да траву на земле!» — думал Лисицын.

Он долго стоял на тропе, что-то измерял быстрыми взглядами. «Нет, Алеша, ты ошибаешься: свалить твоего коня случайным выстрелом из лесу не могли, — мысленно обращаясь к Краюхину, рассуждал Лисицын, — тут такая чащоба с обеих сторон, что пуля на первом метре застрянет».

Лисицын пригнулся и, осторожно разгребая осиновые и пихтовые ветки, полез в самую чашу. В пяти шагах от тропы он наткнулся на глубокий затес, сделанный на молодой осине. На другой, еще более молодой осине он увидел обломленные сучья и сбитую топором кору. Лисицын осматривал затес долго и тщательно. «Самострел кто-то ставил», — решил он.

Самострелы приходилось не раз ставить и самому Лисицыну, но делалось это в случаях крайней необходимости. Так, однажды за Мареевкой медведи повадились ходить ночью в колхозные овсы. Мало того, что звери ели овес, — наевшись, они ложились и принимались кататься. Более двух гектаров овса потравили медведи. И тогда-то правление колхоза поручило Лисицыну обезопасить посева. Михаил Семенович на тропках, по которым ходили звери, выставил четыре самострела. Ружья при помощи сошек и гнезд, вырубленных в стволах деревьев, были закреплены приблизительно по росту медведя, к взведенным куркам Лисицын привязал шнурок; стоило тронуть шнурок — курки спускались, и зверь попадал под кинжальный огонь самострелов.

Самострелы Лисицына сработали тогда с точностью часового механизма: в одну ночь наповал были убиты два зверя. Но Лисицын помнил и другое: все жители Мареевки под личную расписку были оповещены о том, что возле овсов устанавливаются самострелы и эта местность объявляется опасной зоной. Даже в безлюдной тайге охотники окружали самострелы вешками: кол с заземленной веткой обозначал опасность. Кто же мог ставить самострел здесь, у тропы? И на какого зверя?

Лисицын еще раз подошел к осине с глубоким затесом и, взглянув в направлении тропы, заметил, что пихтовые и осиновые ветки были разведены и для пули был расчищен свободный путь. Лисицын прикинул уровень затеса к своему росту. Линия упиралась прямо в грудь. «На человека самострел ставили!» — убежденно подумал Лисицын.

Не щадя времени, Лисицын начал осматривать каждое деревцо, расположенное поблизости, каждый метр земли под ногами. Но ни щепок, ни изломанных сучьев, ни затесов он больше не обнаружил. Он

собрался уже уходить, как вдруг увидел на березе, стоявшей с другой стороны тропы, глубокий след от топора. Весной, когда береза пускала соки, рубец от удара затянуло, но не настолько, чтобы скрыть его совсем.

Лисицын подошел к березе, стал на колени, чтобы лучше рассмотреть надруб. Разрубленная кора березы была как слепок с лезвия топора. В одном месте кора была не разрублена, а вдавлена в тело дерева и прорвана. И сразу припомнился Лисицыну топор с выщербленным лезвием, который держал он на берегу Таежной. «Станислав! От его топора след», — решил Лисицын.

Он поднялся, испытывая страшное желание сейчас же броситься на пасеку, рассказать всё Платону, а потом привести сюда Станислава и заставить его сознаться, с какой целью ставил он на этой тропе самострел. Но через минуту Лисицын одумался. Надруб на березе был слабой уликой, если даже он и был сделан Станиславом. Таких случайных ударов топором сам Лисицын разбросал по тем же осинникам десятки и сотни.

«Нет, Михаила, не спешి. Конфуз случится. Возведешь хулу на человека, а тот человек, может быть, чист и прозрачен душой, как кедровая смола», — думал он.

Бесцельно побродив еще по осинникам с полчаса, он направился к Тунгусскому холму, где его с новостями ждали Алексей и Ульяна, наказавшие расспросить управленцев, что делается на белом свете.

И вновь два дня Лисицын провел с Краюхиным и дочерью на раскопках. Но это была не работа, а маята. Наблюдая за Алексеем, за его увлеченной работой на раскопках, Лисицын думал о своем: «Кто же он есть, этот Станислав? Если в самом деле самострел ставил он, то кого хотел погубить?» Лисицын припоминал всех, кто ходил и ездил по тропе, ведущей на пасеку. Таких лиц было ровным счетом пять-шесть: пасечник Золотарев, он, Лисицын, председатель колхоза Изотов, Краюхин, Ульяна и агроном Епишев, работник областной конторы пчеловодства, изредка наезжавший на пасеку из города.

Несколько раз Лисицын хотел поговорить о всех своих наблюдениях и думах с Краюхиным, но всё откладывал. Не хотелось ему омрачать Алексея, отвлекать его от работы. У Краюхина без того много было за этот год всяких неудач и печалей. «Подожду. Пусть себе поживет в радости», — приходил к одному и тому же решению Лисицын.

В один из дней Лисицын переехал Таежную и направился левым берегом вверх по течению реки. В этой части тайги было много озер и речек, в которых промыслили рыбу мареевские рыбаки. Лов обычно развертывался в середине лета, когда уровень воды в Таежной начинал снижаться и рыба устремлялась в глубокие омуты. Лисицыну хотелось осмотреть уголья, прежде чем решить вопрос о том, где и какими ловушками брать рыбу. Осмотр рыбных, как и охотничьих уголдий он производил ежегодно. По опыту Лисицын знал, что в течение весны происходят такие перемены, что диву даешься. Бывало так: курья с широким и свободным устьем, выходящим в реку, становилась озером, а иное озеро, отделенное от реки изрядным расстоянием, превращалось в курью, так как ручеек, соединявший озеро с рекой, вдруг обретал силу, разбрасывал на своем пути слежавшийся тысячелетиями грунт и раздавался вширь. Правда, было у Лисицына и еще одно заделье, толкавшее его на этот берег Таежной. «Не тут ли бродит немой? Если ему что-нибудь надо в тайге — сидеть на пасеке он не станет. Для тайных дел в лесу нет лучшей поры, чем начало лета: всякая тростинка листом одевается и в рост идет и добрый и худой след в безвестность скрывает», — думал охотник.

Было раннее утро. Над рекой и в таежных ложбинах курчавился еще не осевший туман. После прохладной ночи в тайге было свежо и тихо. Итти сейчас было куда приятнее, чем днем, когда тайга томилась под знойным солнцем.

Лисицын решил воспользоваться прохладой и без остановки дойти до староверческого скита, там попить чайку, а затем на обратном пути не спеша осмотреть курьи, озера, речки и к вечеру вернуться на стан.

Часа через три Лисицын приблизился к усадьбе скита. Прошли уже десятилетия с тех пор, как скит перестал существовать, но тайга повсюду хранила следы от долголетнего пребывания людей. В просторы, занятые вековыми деревьями, были вкраплены полоски молодого леса, родившегося на месте пашен. Дороги и тропы заросли кустарником, иванчаем, березняком. Там, где были бревенчатые дома и хозяйственные постройки скита: амбары, сторожевая башня, теперь рос густой малинник. Он поднимался непроходимой чащей и был на редкость рослым — выше человека.

Лисицын дошел до скитского озера, осмотрел его и хотел пойти назад, но решил завернуть на малинник, поглядеть, какой урожай сулит на ягоду нынешний год. От озера до малинника было не больше километра.

Еще не дойдя до малинника, Лисицын услышал стук. Стук был осторожный, глухой. Охотник сразу определил, что кто-то бьет обухом топора по дереву. Не будь этого злополучного Станислава, Лисицын не стал бы прятаться. Открыто и смело он пошел бы к человеку, оказавшемуся в тайге, предложил бы ему свой кисет, и кто б тот человек ни был, знакомый или нет, он поговорил бы с ним с душевным удовольствием. Но теперь пришлось жить по-другому.

Лисицын согнулся, рысцой перебежал чистую полянку и присел в малиннике. Редкие глухие удары доносились всё с той же стороны от реки.

Когда Лисицын с большой осторожностью, где бегом, где ползком пересек старую усадьбу и, разведя перед собой малинник, взглянул на равнину, простиравшуюся почти до реки, он увидел Станислава. Немой шел вдоль равнины однообразным, точным шагом. В руке у него был топор, подмышкой колышек, за спиной ружье. Вот он остановился возле пышного черемухового куста, вколотил в землю колышек, замаскировал его ветками и повернулся назад.

Станислав прошел мимо Лисицына в трех шагах. Лисицын почувствовал, как на висках проступил холодный пот. «Ударит он меня топором — и «ох» не успею сказать», — пронеслось у него в голове. Но Станислав даже и не взглянул в сторону охотника. Он был сосредоточенный, сердитый и бормотал под нос хриплым голосом песню: «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя». Эти слова Лисицын расслышал отчетливо.

Станислав подошел к заросшему бурьяном земляному валу, которым когда-то был обнесен стоявший несколько поодаль от других построек дом главы староверческого скита, сел на траву и, сняв фуражку, закурил, то и дело вздымая свою крупную рыжую голову к небу.

«Что ему тут надо? Что он тут бродит? — думал Лисицын. — Подкрадусь сейчас к нему, наставлю ружье в грудь и не отпущу, пока не признается...»

Станислав встал и, держа в руке топор, а подмышкой новый колышек, пошел прежним четким шагом, но теперь уже в другом направлении. «Раз, два, три, четыре...» — донеслось до Лисицына. Станислав, тщательно считал шаги.

«С ружьем не спеша, Михайла, — сказал сам себе Лисицын, —

может быть, он, Станислав-то, вроде Краюхина — богатства земли для Родины ищет». Эта мысль показалась Лисицыну убедительной, но через минуту он думал уже по-другому: «Если б для Родины искал, не таился бы. Вон Алеша Краюхин... Тот готов каждому о своих делах поведать... Не иначе, как рыжий с умыслом...»

Лисицын сидел в малиннике до полудня. Станислав ушел только после того, как измерил шагами всю прибрежную равнину вдоль и поперек. Лисицын кинулся к колышкам, но никаких пометок на них не отыскал.

## 6

Ульяна медленно брела по тропе. Слезы застилали ей глаза, спазмы перехватывали горло и душили. Ей хотелось зарыдать, но Алексей был еще совсем близко и мог услышать ее.

Под огромной листовницей Ульяна увидела ровную полянку, поросшую сизым мягким лишайником. Она бросилась с тропы под листовницу, упала на мох, обхватила голову руками и заплакала, как ребенок, — навзрыд. Находка жалобно завизжала, беспокойно обнюхивая ее и облизывая руки...

...Утром в этот день Краюхин за завтраком сказал, что ему придется на день, на два оставить работу и сходить в Мареевку: необходимо срочно сообщить специалистам в город, что на Таежной в районе Тунгусского холма обнаружена яма, и хотя это не стоянка доисторического человека, она представляет большой интерес для науки.

Ульяна знала, как дорожил Алексей каждым днем своего пребывания в тайге, и, едва он кончил говорить, она предложила:

— Я схожу, Алексей Корнеич, в Мареевку.

— Правильно, Алеша, — поддержал дочь Лисицын. Пусть идет Уля. Тебя тут никто не заменит, а сходить особой хитрости не надо.

Алексей обрадовался — берегалось для работы целых два дня. Он посмотрел на Ульяну с такой теплотой в глазах, что она без слов поняла всю глубину его благодарности.

Алексей быстро допил чай, взял свою сумку, набитую бумагами, и сел в стороне под кедром. Опираясь спиной на дерево, он раскрыл тетрадь, заполненную зарисовками кусочков железа, найденных в яме, вырвал несколько страничек и засунул в конверт.

Наблюдая за ним, Ульяна видела, как, заточив перочинным ножом карандаш, он принялся за письмо. Загоревшая сильная рука его бегала по белому листу бумаги, на лице то вспыхивала, то исчезала улыбка. В ясных карих глазах светилось какое-то особое одухотворение, придававшее его глазам мягкое, почти ласковое выражение.

Пока он готовил письмо, Ульяна перемыла посуду, осмотрела ружье и приготовила свой заплечный мешок.

— Ты уже готова, Уля? — спросил Алексей и торопливо написал на конверте адрес.

— Могу итти, Алексей Корнеич, — сказала Ульяна, приближаясь к нему. — Письмо готово?

— Отправь, Уля, пожалуйста, заказным. — Алексей протянул ей конверт, слегка разбухший от бумаг.

Еще не приняв конверта в свои руки, она поняла, что он чем-то смущен. Передавая конверт, Алексей кротко опустил глаза, как бы заранее прося у нее извинения за какую-то маленькую провинку. «Ему, кажется, что мне лень итти... Да ради тебя я понесусь, как на крыльях, хоть за тридевять земель», — подумала Ульяна.

Она взяла конверт, и первое, что увидела на нем, — слово «Софье». Это слово показалось ей единственным словом, написанным на конверте, хотя адрес занимал полных четыре строки.

На одно мгновение ей захотелось швырнуть конверт ему в лицо. Пусть не думает, что она будет почтальоном в переписке с той...

Но какое-то другое чувство остановило ее. Она быстро повернулась и сделала два шага. Только теперь, несколько секунд спустя после того порыва, она с ужасом подумала, каким низким, недостойным был бы ее поступок, если бы она в самом деле швырнула письмо. Ведь сама же она видела, что он вталкивал в конверт зарисовки с находок... Но тут ее мысли переменялись. Да, да, это так, но разве она не видела, с каким особым выражением на лице писал он письмо? Только слепой мог не угадать чувств, которые были в его душе в эти минуты...

Ульяне почудилось, что конверт жжет ей руки. Она сунула его в карман платья, взяла ружье, закинула его за плечо на ремень.

— Уля, а рублевка-то у тебя найдется на марки? Или дать тебе? — сказал Алексей скорее для того, чтобы заговорить с ней.

— Ой, батюшки мои, какой же он, Алексей Корнеич... смешной! — с раздражением в голосе воскликнула Ульяна, и он понял, что ей хотелось назвать его как-нибудь посылнее.

Ульяна молча зашагала к лодке. Находка кинулась за ней.

— Я перевезу ее, дядя Миша, — предложил Алексей, видя, что Лисицын, сидевший за разборкой перемета, откладывает работу.

Алексей нашел Ульяну возле лодки. Она уступила ему место в корме, сама села на гребли и с такой силой гребла, что лодка неслась, как под парусом.

— Я тебя провожу, Уля, немножко, — Алексей начал подниматься вслед за ней на крутой берег. Она промолчала, но видя, что он идет за ней, не оборачиваясь, сказала:

— Ну что вы, Алексей Корнеич, будто я дороги не знаю...

Он остановился, переждав, когда она отойдет подальше, крикнул:

— Ни пуху, ни пера, Уля!

Ульяна обернулась, и он увидел, как в улыбке сверкнули ее белые зубы. Он и предположить не мог, каких усилий ей стоила эта улыбка. Как только Алексей, стоявший на тропе, скрылся за деревьями, она бросилась на мох и дала волю себе...

...Ульяна поднялась через несколько минут. Слезы ее были какие-то бездумные, чувства, вызвавшие их, мимолетные, и она подумала: «И чего дуреха такая, нюни распустила? Сама же вызвалась помогать ему во всем».

— Айда, Находка! — сказала бодрым голосом Ульяна и вышла на тропу.

Пройдя с полкилометра, Ульяна вдруг вспомнила о конверте. «Уж не обронила ли я его под лиственницей», — ошупывая карман, подумала она. Но конверт был на месте. «Помяла, наверно, сильно», — забеспокоилась девушка. Она вытащила конверт, чтобы осмотреть его, и только теперь заметила, что он был не заклеен.

«Забыл, видно, Алексей Корнеич в спешке заклеить», — решила она и засунула конверт снова в карман. Но, сделав несколько шагов, Ульяна почувствовала острое желание посмотреть, что пишет Алексей той своей Софье. Желание было столь сильным, что Ульяна остановилась, намереваясь проделать это сию же минуту. Но стоило ей только прикоснуться рукой к конверту, как другое чувство, еще более сильное, остановило ее. «Что я делаю? Это же подлость — читать чужую переписку», — сказала она себе. Ульяна отдернула руку от кармана, в котором лежало письмо, и долго шла, сурово осуждая свое желание.

Потом ей стало казаться, что она излишне строга к себе. Может быть, Алексей нарочно не заклеил конверт? Чем вести ему с ней длинные разговоры о том, почему он не может полюбить ее, Ульяну, пусть, дескать, прочтет его письмо к Софье... Как всё это просто! Взять конверт, вытащить письмо — и душа сразу обретет ясность и покой.

Девушка останавливалась раз, другой, третий, чтобы прочитать письмо Алексея к Софье, но в самые последние мгновения, когда нужно было вынуть письмо из кармана, решимость покидала ее. Стыдно и страшно! Читать чужое письмо — это всё равно, что подглядывать... И потом — лучше ничего не знать, чем узнать всё сразу. Да разве успокоится она, если даже и узнает, что Алексей никогда-никогда не полюбит ее? Она будет любить его всегда, вечно, где бы он ни был и кого бы он сам ни любил.

Ульяна дошла до Мареевки, чувствуя сильную усталость. Так она редко уставала. Болели ноги, ныли руки, от раздумий как-то тяжело было в голове. Хотелось скорее лечь в постель и крепко заснуть, забыв на час-другой о всей сложности жизни.

Но как ни устала Ульяна, она помнила наказ Алексея: письмо отправить как можно скорее. Не заходя домой. Ульяна проулком вышла к отделению связи.

Заведующий отделением Тимоша — черноглазый, румянощекий паренек — испытывал к Ульяне давнюю привязанность. Увидев девушку, он поспешно крикнул в трубку телефона: «Районная! Давай отбой. Телефонogramму передам позже». Поблескивая глазами и сияя радостной улыбкой, Тимоша бросился к Ульяне, схватил за руку и долго не отпускал ее.

— Ой, как хорошо у тебя, Тимоша! Прохладно, тихо, чисто. Только вот мух многовато.

— Травлю их, проклятых, день и ночь, а всё не могу до конца вывести, — смущаясь и еще больше краснея, сказал Тимоша.

— Когда почту, Тимоша, отправлять будешь?

— Как обычно: в пять утра. У нас осечек не бывает. Недаром наше отделение передовое в области, — с гордостью в голосе произнес Тимоша.

— Тогда прими важный пакет.

— В университет посылаешь или, может, женишку какому-нибудь настрочила? — хитренько ухмыляясь, поинтересовался Тимоша.

— Ну, что ты! В университет сама поеду, а женишкам писать не надо, они все тут, в Мареевке, — засмеялась Ульяна. Тимоша бросил на девушку вопросительный взгляд и, сразу нахохлившись, серьезно сказал:

— Смеешься всё, Уля! Давай-ка пакет-то!

Она подала ему конверт Алексея и, видя, что он быстро взялся за кисточку с клеем, со вздохом сказала:

— Всяко бывает, Тимоша. Когда смеюсь, а когда и плачу.

— Заказным? — спросил Тимоша.

— Обязательно! И чтоб квитанция была.

— Это уж само собой понятно. Согласно правил.

Ульяна еще немного поговорила с Тимошей о всяких сельских новостях и пошла домой. Она спускалась уже с крыльца, когда услышала голос Тимоши:

— Уля, вернись-ка!

Ульяна вернулась, остановилась на пороге, сердито поморщилась:

— Ну, что тебе, Тимоша? Устала я.

— Этот учитель из Притаежного, Краюхин, не у вас?

— У нас, Тимоша.

— Письмо ему из Притаежного переслали. Возьмешь?

— Конечно.

Тимоша открыл стол, нашел в толстой книге письмо и подал его вместе с книгой, говоря:

— Авиа-заказное. Под расписку идет. Вот тут удостоверь получение.

Ульяна расписалась и, взяв письмо из рук Тимоши, в тот же миг выронила его. Ей показалось, что на голубом конверте под жирной линейкой, обозначающей место для написания обратного адреса отправителя, она увидела всё то же тревожившее ее слово «Софья».

— Пожалуйста, Ульяна Чеевна, держите крепче, — комично вытягиваясь на носках и поднося письмо на ладони, со смешком сказал Тимоша.

— Ах, кавалер какой! — засмеялась Ульяна, взяла письмо, сунула его в карман и вышла.

Улицей до дома Лисицыных было гораздо ближе, чем задами, но Ульяна поспешила свернуть в проулок. Ей хотелось проверить себя.

Выйдя за огороды, девушка вынула из кармана письмо и прочитала адрес отправителя: город Высокоярск (областной), улица Набережная, 18, кв. 1. Софья Захаровна Великанова.

Ульяна опустила голову. Легкий ветерок, налетавший с лугов, вырывал письмо, но Ульяна крепко держала его, стиснув пальцы.

Арина Васильевна с первых минут заметила, что дочь чем-то сильно огорчена. Ульяна старалась быть оживленной, разговорчивой, но вдруг неожиданно замолкала, с трудом вспоминая, о чем она говорила.

— Ты не заболела, дочка? — наконец спросила ее мать.

— Устала сильно, мама. Ночь не спала, комары не давали, а потом шла без отдыха, торопилась.

— Иди в горницу, отдохни.

Ульяна напилась чаю и легла в постель. Ей хотелось заснуть, она ворочалась с боку на бок, вздыхала, из головы не выходило всё то же имя: «Софья... Софья... Софья...»

Ульяна так и не уснула. Когда стало вечереть, она надела новое шелковое платье и пошла к подружкам. Вместе с ними Ульяна сидела возле клуба в садике. Пели песни, рассказывали страшные истории, шутили, но ничто не могло принести прежнего веселья и беззаботности. Мозг словно сверлило всё то же: «Софья... Софья...»

Кое-как переколотав ночь, Ульяна на рассвете поднялась и ушла в тайгу. «Ну, что я бегу? Зачем я стремлюсь к нему?» — сдерживая себя, думала Ульяна.

В полдень она вышла на берег Таежной. Лисицын и Алексей только что вернулись с раскопок. Время было обеденное. Ульяна подозвала Находку, закричала:

— Лодку! Эй, вы там, искатели, лодку!

Через минуту Ульяна увидела на другом берегу Краюхина. Он быстро бежал по тропе к лодке, размахивая руками, что-то кричал. Отросшие волосы спустились на лоб, закрывали ему глаза. «Бежит-то как! Видно, чует, что весточку от милой привезла. А может быть, спешит меня увидеть?» — думала Ульяна.

— Как сходила, Уля? Почему так быстро вернулась? — усиленно работая веслом, спрашивал Алексей, будучи еще на середине реки.

— К вам, Алексей Корнеич, спешила.

— Ну и молодец! Я уж соскучился без тебя, Уля.

— Насмешник, Алексей Корнеич!

— Честное слово, Уля!

Ульяна подтолкнула собаку в лодку, запрыгнула сама, взялась за гребли. Еще только завидев Алексея, она решила, что с письмом торо-

питья не будет. Пусть он не думает, что ее занимает и беспокоит его переписка с городской девушкой Софьей. Таежницы тоже знают себе цену, и у них тоже есть своя гордость. Пусть произойдет всё так: они придут на стан, Ульяна поговорит с отцом, сходит на реку умыться и только потом, сделав вид, что совершенно забыла еще об одном, отдаст ему письмо.

Но то ли потому, что Алексей с радостью встретил ее, или скорее потому, что любящему сердцу не прикажешь, Ульяна сказала о письме, едва вступив в лодку.

— Письмо? От кого, Уля? — удивленно спросил он.

— Чужих писем, Алексей Корнеич, не читаю, даже когда они бывают незапечатанными, — глядя в упор на Краюхина, сказала Ульяна.

— Но, во всяком случае... на конверте должен быть обратный адрес, Алексей как-то виновато посмотрел на нее.

Ульяна хотела сказать, что и адресов чужих она не читает, но лгать она не умела. Поджав губы, Ульяна замолчала.

Алексей читал письмо всё там же — под кедром. Ульяна сидела с отцом у костра, исподлобья поглядывала на Алексея. Вдруг он вскочил и, возбужденно размахивая письмом, закричал:

— Уля, дай я тебя поцелую!

Ульяна поднялась, видя, что он решительно приближается к ней. «Что он, умом рехнулся?» — подумала она, обеспокоенная его необычным видом.

Алексей подошел к девушке, нагнулся и поцеловал ее в голову. Лисицын удивленно шурился, ничего не понимая.

— За такую весть, Уля, тебя озолотить мало, — сказал с волнением Алексей и повернулся к Лисицыну. — Новость, дядя Миша, первостепенного значения: в архиве найден анализ руд, доставленных в прошлом веке из улукульского староверческого скита.

Лисицын вскочил и хлопнул себя ладонью по лбу:

— Знать, в самом деле богаты наши края!

Он опустился на землю и взял бутылку с водкой из сумки, принесенной Ульяной.

— Иди, Алеша, сюда! Иди! Добрую весть обмыть надо. А я-то думал: старуха водочки послала, за что бы выпить? А оно, вишь, обернулось как...

Охотник засуетился с бутылкой в руках, расставляя на широкой доске, заменявшей стол, граненые стаканы.

## Глава четырнадцатая

### 1

Долго Марей был между жизнью и смертью. Он часами лежал, дыша так тихо, что Арина Васильевна то и дело подходила к нему убедить-ся, не отошел ли он.

— Почему он такой смиренный-то, доктор? Ни застонет, ни заохает... Будто нет его, — говорила Арина Васильевна, когда врач, осмотрев Марей, складывал свои инструменты в чемоданчик.

— Потому он тихий, Арина Васильевна, что стар. Смерть придет к нему, как вполне закономерное явление, — поблескивая очками в золоченом ободке, отвечал врач.

— Пожалуй, за Михайлой надо посыльного отправить. Они с Улей в тайге.

— Лучше послать, — посоветовал врач.

Когда врач ушел, Арина Васильевна решила с посыльным переждать до утра. Была у нее какая-то внутренняя вера, что старик выкарабкается. И в самом деле: на другой день утром она услышала его голос, который не раздавался в стенах дома уже несколько суток.

— Ариша, подойди, голубушка, ко мне.

Арина Васильевна подошла к кровати, села на табуретку.

— Как, Марей Гордеич? Может, чайку тебе с клюквой дать?

Старик не ответил, но, повернув к ней кудлатую седую голову, заговорил о своем.

— Сон, Ариша, сейчас видел: иду будто я к Мише на стан, иду, то-роплюсь, и надо мне итти еще быстрее, а в ногах силы нету. Взшел я тут на высокий яр, посмотрел вниз и думаю: а зачем я пешком иду,, когда лететь можно. Разбежался я, что было мочи, и прыгнул с яра. И чую, как ветер подхватил меня и понес. Лечу я так быстро, что дух захватывает. Взглянешь вниз — лес приветно зеленеет. Таежная играет, посмотришь вверх, а там небо синее, облака плывут... Лечу, и вся-то улульская тайга из конца в конец мне видна. Вижу — в одном месте дымок над лесом струится: знать, думаю, Михайла Семеныч. Узнал меня Миша, шапкой размахивает, кричит: «Ты что, Марей Гордеич, давно ли летать по-птичьи научился?» Тут я, Ариша, и проснулся.

— Хороший сон, Марей Гордеич. На поправку пойдешь, — сказала Арина Васильевна и подумала: «Очкастый-то доктор угадал, кажется, пальцем в небо».

— И то правда, Ариша. Проснулся, дышать легче, головой вот свободно ворочаю, в ногах охотку на ходьбу чую.

— Блинков тебе на сметане испечь, Марей Гордеич? — спросила Арина Васильевна.

— А что ж, съем, пожалуй, Ариша, — сказал старик и проглотил слюну, вдруг испытывая острый приступ голода.

Печь у Арины Васильевны уже пылала. Она налила в глиняную чашку два стакана сливок, положила горсть белой муки, щепотку соли и всё это тщательно перемесила. Минут через пять блины были готовы.

Арина Васильевна помогла старику приподняться, положила под его голову еще две подушки.

Марей ел медленно, рука его сильно дрожала. На лбу выступили крупные капельки пота. Но все три блина, что дала ему Арина Васильевна, он съел с удовольствием, выпил большую кружку крепкого чая.

— Еще бы, Ариша, блин съел, а всё-таки не стану. Подожду. Как бы хуже не было.

— Добро, Марей Гордеич, добро. Лучше почаще кушай, чтоб желудок пообвык. Как захочешь опять — позови, я тут в кухне буду, — собирая посуду в круглый эмалированный таз, сказала Арина Васильевна.

— Спасибо, голубушка, уж так ты меня уважила, как отца родного. — Старик вытер уголок простыни вспотевшее лицо.

— А ты и есть, Марей Гордеич, отец родной. Да не одной мне, а всему нашему селу. О твоём здоровье каждый день в сельсовет и колхоз сообщают. Председатель нашего колхоза Изотов наказал: «Ухаживай, говорит, Арина Васильевна, за ним, как можно лучше. Труд, говорит, твой колхоз берет на себя. Трудодни тебе идут. И всё, что надо — муку, мед, масло, — всё, всё в кладовой колхоза бери».

— И за что только почет такой?! — сказал старик, и улыбка промелькнула по его похудевшему лицу.

— Как за что?! За то, что первую избу на нашем яру срубил...

Старик скосил на Арину Васильевну глаза и вздохнул. Она посмотрела на него и поняла, что он утомился.

— Отдыхай, Марей Гордеич, отдыхай. Я на кухне.

Она вышла. Марей лежал на спине, смотрел в потолок, шепча одни и те же слова, запомнившиеся навечно с дней его бродяжьей жизни:

— Пошли тебе господь счастье и избавление от мук мирских...

С этого часа Марей стал быстро поправляться.

Однажды Арина Васильевна, войдя в дом, застала Марея у окна. Он сидел на стуле, облокотившись на подоконник. Услышав ее шаги, он обернулся, и она увидела, что морщинистое лицо старика необыкновенно похорошело и к нему возвращается та красота долголетия, которой природа одаривает немногих по какому-то неизъяснимому выбору.

— Радшенек, Марей Гордеич, что в силуходишь? — спросила Арина Васильевна.

— Благодать-то какая! Лист шумит, а тихо, — сказал старик. — А что, Ариша, Мишу с Улей не ждешь?

— Кто-нибудь будет на днях. Хлеб у них на исходе.

— Ты подготовь харчи, Ариша, унесу.

— А не рано, Марей Гордеич, в путь собираешься?

— В тайге скорей наберу тело, Ариша.

Дней через пять Марей ушел в тайгу.

## 2

Марей шел медленно, отдыхал через каждые два-три километра. Присев на пень или на колоду, старик дышал глубоко, чувствуя, что целительный таежный воздух возвращает бодрость.

Как дитя, впервые познающее белый свет, старик радовался всему, что видел: солнцу, сверкавшему с высокого голубого неба, шуму деревьев, аромату трав, цветов, журчанью таежных речек на пенистых перекатах, звонким птичьим голосам, раздававшимся по таежным просторам.

Болезнь надолго оторвала старика от дела, ради которого он появился в Улулюье, но винить в этом он мог только себя.

Много лет тому назад Марей ушел из Улулюья, гонимый произволом и нуждой. Он жил здесь, как затравленный зверь, боясь показаться в людных местах. Он был бродяга, а бродяга считался хуже бездомной собаки. Бездомная собака могла свободно передвигаться от двора ко двору, из деревни в деревню, — у бродяги не было и этой жалкой возможности.

Правда, как ни тяжела была его жизнь, — и в ней были свои радости.

Марфуша, его невеста, пошла за ним в Сибирь. Он сбежал из-под стражи, они поженились и несколько месяцев прожили у одного купца на пасеке. Потом подошел срок Марфуше родить. После трех суток мучений Марфуша родила сына, Марей сам принимал ребенка. Позвать повитуху было неоткуда. Пасека одиноко лежала в лесах, занесенных глубокими снегами. До ближайшего села Притаежного было больше сорока верст. Ни троп, ни дорог туда в зимнее время не было. И это хорошо! Хотя зиму можно было прожить не беспокоясь, что нагрянет полиция, схватит и закует в кандалы. Но дорога в эти места потребовалась Марею самому, и раньше, чем он ожидал.

Двадцать дней спустя после родов Марфуша скончалась в горячке. В ста шагах от избушки, на бугорке, поросшем кудрявым березняком.

Марей расчистил землю от снега и запалил костер. Промерзшая земля отходила трудно. Не то что лопата — топор отскакивал от нее, как от железа, со звоном и искрами. Марей схоронил жену и заторопился в избушку.

Он запеленал сына полотенцем, привязал его к своей груди, встал на лыжи и по сугробам, через холмы, закованные льдом реки и озера, через чашобу лесных пустырей направился в Притаежное. Он сам не знал, что он сделает с сыном, как поступит.

В Притаежное Марей пришел в глухой ночной час. Село лежало в сумраке. Мела поземка. Небо было беззвездное, низкое. У первого же двора собаки бросились на Марея, с рычанием облаяли его. Их услышали псы из соседних дворов. И всё село от края и до края огласилось тревожным лаем. Марей остановился, раздумывая, что делать. Итти дальше было опасно. Лай мог поднять мужиков, а среди них были такие, которые не упустили бы случая заработать на поимке беглого человека. Но и стоять посреди улицы дальше он не мог. Ветер пронизывал его сквозь изношенную шубенку. Сын проснулся, изо всех сил сучил ногами, требуя пищи и тепла.

Вдруг в одной избе блеснул огонек. Ступая как можно легче, чтоб не скрипел под ногами снег, Марей заглянул в промерзшее окно. Мороз разрисовал стекло затейливыми узорами, но в узенькую полоску, не подернутую льдом, Марей увидел мерцавший ночничок, молодую женщину, склонившуюся над зыбкой, раскалившуюся докрасна железную печку. Марей постучал в раму окна.

Женщина испуганно подняла голову, постояла, взглядываясь в окно. А когда Марей постучал второй раз, она подошла к кровати и разбудила мужа.

— Кто там? — услышал Марей сквозь окно голос мужика. Мужик притиснул бородатое лицо к стеклу, стараясь рассмотреть, кто стоит под окном.

— Пустите ради Христа обогреться, — сказал Марей громким, протяжным голосом.

Мужик отошел от окна, поговорил с женой, набросил на плечи полушубок и вышел в сени.

Через минуту-другую Марей сидел в жарко натопленной избе. Ребенка распеленали, и, почувствовав тепло, он снова уснул.

Муж и жена выслушали Марея. По их участливым лицам, по добросердечию, таившемуся в глазах, Марей понял, что попал он к хорошим людям. Не утаил Марей и того, что он беглый каторжанин. Мужик с бабой не испугались. Еще сильнее обозначилось на их лицах сочувствие к обездоленному человеку.

— Возьмем, Тиша, ребеночка. Пусть растет вместе с нашими! — со вздохом сказала женщина, ласково беря на руки сына Марея.

— Возьмем, Палаша! А на селе скажем — подбросили нам, — промолвил мужик, помогая жене взять ребенка.

Марей зарыдал. Такое участие к горю другого, такое истинное благородство могло быть только у людей, которые сами хорошо знали цену лиха в жизни.

Марей поцеловал сына, поцеловал в последний раз, чтобы никогда больше не видеть его и не знать ничего о нем...

— Пошли вам бог здоровья и счастья! — сказал Марей и обнял незнакомого бородатого мужика, как кровного брата.

Близился рассвет. Надо было уходить, и не улицей, а огородами, как ему советовал мужик. Марей вышел к ельнику, где были спрятаны его лыжи, встал на них и, не видя от слез ни неба, ни земли, а лишь

подчиняясь движению ног, — побрел к пасеке, где поблизости от могилы жены ждало его еще горшее одиночество.

Весной, когда обнажились из-под снега дороги, на пасеку приехал из города хозяин. Он приехал с ватагой офицеров жандармского управления. Офицеры охотились на косачей, пьянствовали, заставляли Маррея прислуживать им. Маррей чувствовал, что ходит по острию ножа. Чуть провинись — и начнутся допросы: кто ты такой? откуда взялся? Не сносить ему голову, если дознаются, что он беглый каторжанин.

Маррей решил бежать с пасеки. Он запасся дробью, порохом, пистонами. Не было у него ружья. У хозяина с офицерами был целый склад оружия. Маррей выбрал себе длинноствольный капсюльный дробовик и собрался на рыбалку. В ночь подул сильный ветер, разлившаяся река покрылась белыми гребешками. Хозяин не советовал ехать Маррею: «Ничего не добудешь». Маррей объяснил: «Гости ухи желают, ваше благородие. Попробую налимов в карчах поймать». — «Ну, поезжай, да с пустыми руками не явись. Оскандалишь меня», — переменял тон хозяин.

Утром хозяин и гости поднялись, вышли на реку и увидели перевернутую вверх дном лодку, прибитую ветром к берегу. Ясно было, что работник утонул. «Ах, сукин сын, ружье загубил», — только и сказал хозяин.

А Маррей между тем уходил от пасеки всё дальше и дальше, пробираясь по лесистым берегам реки Большой к северу.

Три зимы прожил Маррей в избушке на высоком яру. Вокруг была глушь, безлюдье. Изредка его навещали охотники-тунгусы. Они помогали ему добывать ружейные припасы, хлеб, соль. Особенно сдружился Маррей с кривым тунгусом Осипом. Он был уже старик, немного объяснялся по-русски. Старый тунгус любил Маррея за его доброту и бескорыстие. Они часто охотились вместе, и никогда русский не пытался присвоить труд Осипа.

Летом на четвертый год на стан Маррея нахлынули люди. Это были российские крестьяне, бежавшие в Сибирь от нищеты и голода. Им приглянулся яр, на котором стояла избушка Маррея, и они решили поселиться здесь. Рядом с избушкой Маррея задымили трубы восьми новых изб. Маррей соскучился по людям, помогал новоселам, чем мог: показывал лучшие охотничьи угодья, учил бывших хлеборобов, как простой ловушкой поймать на пропитанье рыбу или птицу. Так в далеком Улулюле, среди неоглядных лесов возникла Мареевка.

Но самому основателю деревни не пожилось тут. На второй год надвинулись еще переселенцы. Кто и где прознал про тайну Маррея — он и сам не мог сказать, но один из первых переселенцев — Семен Лищицын предупредил его: «Уходи, Маррей, объявились злые люди».

Маррей бросил свою избушку и ушел к тунгусу Осипу в верховья Таежной. Уж тут ли была не глушь? Две-три заимки да староверческий скит — вот и всё население на округу в сотни верст. Кажется, живи себе и не беспокойся, что пострадаешь от руки худого человека.

Но в ту пору разгоралась как раз по Сибири «золотая горячка». Тысячи людей из купеческого, торгового и чиновничьего сословия были охвачены жаждой наживы. Группы и даже целые отряды таких людей ринулись в тайгу.

Улулюле влекло всех слухами о затерянном караване золота. Пришельцы безуспешно ощупывали баграми реки и озера и всю злость за свои неудачи вымешали на тунгусах. Тунгусов выбивали и в одиночку и целыми семьями. Считалось, что тунгусы знают, где захоронено золото, но молчат, не желая отдавать его в руки русских, безжалостно обиравших их.

Марей понял, что жить в такое время среди тунгусов опасно. Искатели золота могли убрать его, как своего конкурента. Марей ушел в староверческий скит.

Около восьми лет прожил Марей со староверами. Жизнь в скиту была каторгой. Однажды кто-то не вынес этой постылой жизни и подпалил староверческий поселок. Люди разбрелись, кто куда мог. Марей пошел в глубь тайги искать Осипа. Надо было где-то в безопасном месте пересидеть год-другой, пока уляжется вся эта история с поджогом скитских строений. Горячка с поисками золота в Улулюлье к этому времени пошла на спад. Многие на поисках затерянного каравана с золотом разорились, и их горький опыт удерживал других.

Марей нашел Осипа в верховьях маленькой речки, впадавшей в Синее озеро. Старик жил в полном одиночестве. Из всей многолюдной ветви древнего тунгусского рода он остался один. Остальные или разбрелись, или погибли. Старый тунгус обрадовался приходу Марей. Осип был уже дряхлым. Однажды он сильно заболел, и Марей понял, что поправиться тунгус не сможет. Марей поил его настоем брусничного листа, выпекал на кедровом масле лепешки из толченой сушеной рыбы, но здоровье старика не улучшалось.

Как-то раз на рассвете тунгус разбудил Марей. В глазах его стояли слезы, в руках он держал кисет из выделанной оленьей кожи, расшитый окрашенной оленьей жилой.

— Умираю, друг Марей, — тихо сказал тунгус.

Марей склонился над стариком, прислушался к тому, что говорил тот. Путая русские слова с тунгусскими, старик сказал:

— Возьми кисет. Это тебе от тунгусов за сердце твое. Кисет покажет тебе богатства Улулюлья.

Старый тунгус пытался что-то объяснить Марей, но голос его ослабел и оборвался на полуслове.

Оставшись опять в одиночестве, Марей подолгу просиживал над кожаным кисетом. Он видел, что на кисете воспроизведена карта Улулюльского края. Вот этот полукруг — река Большая, вот эта извилистая полоска — река Таежная. Этот кружочек — Синее озеро. Этот кружочек — Тунгусский холм. Но что обозначали разбросанные по кисету крестики — Марей догадаться не мог. Не их ли значение пытался объяснить Осип перед смертью? Не показывают ли они места, где запрятано золото ограбленного каравана? Ведь все золотоискатели утверждали, что тунгусы знали, где было запрятано золото. Больше того, многие искали не золото, а кисет, на котором якобы были показаны все потайные места последнего тунгусского рода на Таежной. Разговоры об этом Марей слышал не одни раз.

После смерти Осипа Марей прожил в Улулюльском крае полгода. Кисет с вышивкой он берег, но разгадывать его тайну не пытался. Не золото он искал, а свободы, сносного человеческого существования.

Однажды весной Марей ушел из Улулюлья на восток. Началась новая пора его жизни. Под другой фамилией он работал на золотых приисках на Лене. Там и застала его революция. Он был уже в годах, но именно теперь-то почувствовал молодость. Когда советская власть приступила к освоению Алдана, Колымы, Индигирки, Марей ходил в экспедиции с геодезистами и геологами. В эти годы он почти и не вспоминал об Улулюлье.

Однако с приближением старости мысль об Улулюлье всё чаще и чаще беспокоила его. Бессонными ночами стала вспоминаться ему молодость, жизнь с Марфушей на пасеке, ее смерть, сын... А когда наступал сон, виделись ему сны, в которых Улулюлье и Марфуша вставали как

наву. О сыне он думал особенно горячо. Что с ним? Выжил ли он? А если выжил, где он и кто он? Могло быть так, как это чаще всего было у крестьян: сын живет в доме своего отца... Хотя бы одним глазком взглянуть на сына. Пусть носит он фамилию человека, вырастившего его, и ни сном ни духом не ведает, что настоящие отец и мать его совсем другие люди. Он дорог и близок Марей, он от крови и плоти его. «Кровь моя там осталась, кровь зовет», — думал Марей.

Чаще задумывался Марей и о кисете. Может ли он умереть, не попытавшись разгадать тайну тунгусского кисета? Нет, ему такого права не дано. Осип не просто от себя дал ему кисет. Он сказал: «От тунгусов». Значит, старый тунгус передал ему дар от всего своего народа. И передал он этот дар не ему одному, а всем русским, у которых было доброе сердце в отношении к таежным людям.

И так и этак прикидывал Марей в уме — и всё выходило одно: надо итти в Улууюлье. И, как это часто бывает со стариками, Марей почувствовал, что он не обретет покоя до тех пор, пока не сделает этого, как ему казалось, последнего шага в своей многотрудной жизни.

Еще до Великой Отечественной войны Марей вышел на пенсию, но здоровье у него было крепкое, и работу он не бросал.

Весной тысяча девятьсот сорок седьмого года Марей Гордеевич Добролетов покинул ставший ему родным Крайний Север и отправился в далекий путь. Он ехал не спеша, останавливался в больших городах Дальнего Востока и Сибири — с удивлением смотрел на те великие перемены, которые происходили на русской земле.

Улууюлье оставалось прежним. Перемены пока мало коснулись этого края. Марей недоумевал. Оказавшись в Улууюлье, Марей первым делом решил отыскать могилу Марфуши. Но годы наложили свой отпечаток на Местность. Бугор, поросший березняком, не существовал вовсе. Река год за годом точила берег, отодвигала его, и русло ее извивалось теперь гораздо дальше того березового бугра, на котором он когда-то похоронил свою жену.

Не было в Притаежном и той улицы, на которой стояла изба, ставшая приютом его сына.

— Где же она, эта улица? — спросил он одного жителя в Притаежном. По возрасту тот едва ли был моложе его самого. Старик охотно вступил в разговор.

— Как после грозы разметало. Которые подались в Мареевку поближе к лесам, а больше ушли в город — заводы строить, — сказал он.

«Мареевка», — от этого слова Марей даже вздрогнул. «Неужели здесь еще помнят его?» — Он спросил, как проехать в Мареевку.

— Если рекой, то всё по течению, до соснового бора на красном высоком яру.

Ну конечно же, он помнил это место! Здесь был его стан, сюда пришли переселенцы, которых он обучал охоте и рыбалке. Он вспомнил одного молодого мужика, того самого, который спас его, предупредив, что его хотят изловить. Мужика звали Семеном. У него был сынишка. Он, Марей, терпеливо учил мальчика стрелять из своего ружья.

Марей поплыл на лодке в Мареевку, и, как ни изменился за десятки лет мальчишка, ставший уже стариком, он узнал его. Это был Михаил Семенович Лисицын.

Торопиться со своими делами Марей не хотел. Он приглядывался к людям, опытным глазом взвешивал каждого из них.

Но если люди Улууюлья с лаской и заботой встретили его, то приро-

да оказалась к нему суровой. Он простудился и выжил, наверное, только потому, что оставалось дело, которое он не сделал и сделать которое он мог лишь один во всем белом свете.

В начале болезни его мучило нытье в пояснице и ногах. Но не боли были его главным врагом. Его изводили мысли о смерти. Марей казалось, что стоит ему крепко уснуть — и он больше не проснется. И он много дней гнал от себя сон, забываясь в короткой, беспокойной дремоте.

Теперь всё это было позади. Вспоминая о пережитом в последние дни, он с одобрением думал о себе. Умирать в его возрасте было просто, а выжить стоило больших трудов. И он не пощадил усилий, вынес все боли, вынес бессонницу, встал на ноги и вот движется по земле...

## 3

Шагая по тропе, Марей думал, как ему жить дальше. Лисицын принял его, как родного отца, и совесть подсказывала ему, что он не должен иметь от Михаила Семеновича никакой тайны. Но какая-то не ясная ему самому мысль останавливала и удерживала его от того, чтобы рассказать Лисицыну всё. Так было до болезни. Он чувствовал, что и теперь эта мысль имеет над ним большую власть... Что же это была за мысль? Он хотел это понять сам для себя и думал, думал. Тайна его была действительно необыкновенной тайной. До сих пор только он да мужик с бабой, принявшие от него ребенка, знали о ней, но он понимал, что отыскать сына, отыскать своих потомков, если сын, как другие люди, жил на земле семейством, он не сможет без помощи близких ему. И он видел, что ближе Лисицына у него нет никого. Он решил при первой же встрече обо всем поведать Лисицыну. «А как же с кисетом?» — спросил он себя и, обдумав опять-таки всё не спеша, склонился, что с этим стоит повременить. Слов нет, Лисицын был близок и дорог ему, но кисет он хотел передать человеку, в котором билась его, мареевская, кровь. Это говорил в нем голос родства, голос, пробудивший в нем тоску по потомству, голос, толкнувший его на закате жизни в далекое путешествие.

Марей пришел на берег Таежной на другой день к вечеру. На стану была одна Ульяна. Она готовила ужин. Лисицын и Алексей работали еще на раскопках.

Услышав голос Маррея, Ульяна бросилась к лодке, быстро переплыла реку и радостно обняла старика:

— Дедушка, живой-здоровый, и какой худой-то! А уж мы-то что только не передумали?

Ульяна ласково заглядывала старику в лицо. Она помогла ему сесть в лодку и, ловко работая веслами, говорила, говорила. Он поднял взлохмаченную голову, слушал ее с нежной улыбкой на лице, не понимая, о чем она говорит, и лишь улавливая ее настроение и сам подчиняясь этому настроению. «Ах, как щебечет, как птаха небесная», — думал он, и что-то далекое-далекое, похожее на происходящее сейчас, всплыло в его памяти. Что же это вспомнилось?

Искоса он взглянул на Ульяну, на ее раскрасневшееся лицо, на лучащиеся глаза, и ему на мгновение представилось давно минувшее: он вернулся с охоты, Марфуша в лодке перевозит его через реку Большую. Они пробыли в разлуке целый день. Марфуша что-то говорит, говорит, словно они не виделись год, а он не слышит, о чем она говорит, он лишь чувствует теплоту ее голоса, и ему от этого хорошо, так хорошо, что не скажешь словами.

Лодка ткнулась в белый песок прибрежной косы.

— Приехали, дедушка! — сказала Ульяна, видя, что он задумался и не встает.

Марей поднялся. Выходя из лодки, он думал: «Спешить надо, спешить. Видно, смерть всё-таки не за горами — уж очень часто про молодость думается».

Марей шел за Ульяной по тропе, а навстречу им от стана торопились Лисицын и Алексей. Еще не дойдя до них, Марей почувствовал, что они торопятся ради него, что они очень ждали его, что он нужен им. Это чувство захлестнуло его, и он думал, как хорошо он поступил, приехав сюда, на улулюльскую землю.

— Здравствуй, Миша! Здравствуй, Алеша! Уж не чаял, что увижу вас, — сказал Марей, смаргивая с ресниц слезы и беря горячие, не остывшие еще от работы руки Лисицына и Алексея в свои слабые старые руки и испытывая душой счастье от этого сближения.

## 4

Расстроганный встречей, Марей решил про себя, что он расскажет о своей тайне — и о сыне, и о кисете — сегодня же. «Они как родные мне... Куда еще роднее?» — думал Марей о Лисицыных и Алексее. Но случилось так, что весь вечер говорил не он, а они. Алексей рассказывал о своем падении в яму, о раскопках в ней, об анализе улулюльской руды, произведенном когда-то в литейне завода купца Кузьмина. Едва Алексей умолк, заговорил Лисицын. Он похвалился Марею, что, как ни трудно ему одному, а всё-таки он и новые плесы для рыбалки нашел, и участки для охотников наметил и, главное, высмотрел, где, в каких местах тайги гуртуется зверь и птица. Раз-другой вставила свое словечко и Ульяна. Но Марей заметил, что девушка была необыкновенно сдержанна. Она сидела несколько поодаль от костра, на отшибе от всех. Лицо ее, освещенное огнем костра, было то задумчиво-серьезным, то тоскливым и сумрачным. Правда, стоило Ульяне встретиться взглядом с Мареем, как лицо ее менялось: настороженные глаза ее становились ласковыми, улыбка трогала губы, и приветливость к старику так и лилась из каждой черточки ее лица.

Марей нравился Ульяне, как может нравиться человек человеку. Она принимала его всей душой. Его высокий рост, длинная борода, медленная плавная речь, скупые и выразительные жесты, долгий внимательный взгляд — всё это поражало Ульяну и располагало ее к нему. Но больше всего располагало Ульяну к Марею то, что он был человек необычный, исключительный. Он был каторжанин, пострадавший от царя, перенесший муки старой, дореволюционной жизни, борец против капиталистов и помещиков. Две стороны было в ее чувстве к Марею. С одной стороны, он рисовался ей героем, и она чуть гордилась перед подругами тем, что он, основатель их села, живет именно у них, у Лисицыных. А с другой стороны, Ульяна испытывала жалость к старику. Ей жалко было его за те страдания, которые он перенес, за старость, за одиночество. И потому ей хотелось, чтоб сейчас, при новом строе, дедушке было хорошо-хорошо, чтоб он ни в чем не нуждался, чтоб всегда у него было доброе, веселое расположение духа, чтоб он хотя бы в конце пути пожил в счастье и довольстве.

Марей это отношение к себе не только чувствовал, но и видел. И прежде и в этот вечер Ульяна так и ждала повода, чтобы чем-нибудь выразить свое внимание к старику. Сейчас она подливала ему чай в

большую фарфоровую кружку, подносила то хлеб, то масло. Когда собралась спать, она сбегала, невзирая на темноту, куда-то на берег и притащила охапку свежей травы, чтобы его постель была мягче.

Марей хорошо и приятно было и от этого внимания Ульяны и от той доверчивости, с какой ему рассказывали о своих делах Алексей и Лисицын. «Родные они мне... Куда еще роднее?» — думал он, осуждая уже себя за то, что столько времени он таил от них свою тайну.

И он непременно в этот вечер рассказал бы Лисицыным и Алексею обо всем, но Михаил Семенович, заботясь о старике, неожиданно прервал беседу.

— Ну, голуби, — глядя то на Алексея, то на Ульяну и щурясь от усмешки, сказал Лисицын, — будем укладываться на отдых. Марей Гордеич, как-никак, с дороги.

— Да что ты, Миша? Я шел тихонько и совсем не устал, — Марей пытался остановить Лисицына, намереваясь рассказать сейчас же о том, что заставило его притти сюда, в Улуюлье.

Но Лисицын и слушать его не захотел. В порыве обычной для него шутливости он сложил трубочкой ладони и, изображая звуки военной трубы, начал наигрывать сигнал отбоя.

Марей понял, что сегодня ему уже не удастся высказаться, и покорно согласился:

— Ну, спать, так спать...

Укладываясь в шалаше на мягкую, пахнущую свежей травой постель, приготовленную Ульяной, Марей думал: «Завтра утром расскажу».

Однако утром его намерения переменились. Он увидел, что Ульяна, как и вечером, была грустной и задумчивой. С Алексеем она совсем не разговаривала. Отцу отвечала кратко и оживлялась лишь тогда, когда к ней обращался он, Марей. «Какие-то у них тут нелады», — думал Марей, не испытывая уже того страстного желания высказаться, какое у него было вечером. «С Мишей вначале поговорю», — решил он.

После завтрака Алексей ушел на раскопки. Ульяна вымыла посуду, взяла лопату и пошла туда же. Лисицын намеревался наступавший день провести на рыбалке и сел за починку сетей.

— Давай, Миша, помогу, — сказал Марей, присаживаясь на песок рядом с Лисицыным.

— Ну и зверюга, какие дыры пробила, — работая плицой с намотанной на нее ниткой, говорил Лисицын.

— Щука? — спросил Марей, осматривая дыру в сети.

— Пуда на два, видать, была, — по обыкновению уточняя, ответил Лисицын.

Они помолчали. Марей еще ближе подсел к Лисицыну, понизив голос, сказал:

— Что-то, Миша, молодежь наша не в миру. Уля прежде песни всё пела, а теперь и голоса ее не слышно.

— Девичье дело, Марей Гордеич! — отмахнулся Лисицын.

— Он что же, Алексей Корнеич-то, как? — не желая заканчивать этого разговора, неопределенно спросил Марей.

— Да уж парень — куда там! Я-то обеими руками голосую. Но не прикажешь ведь! Да и дела у него. Ходит, как чумной, всё одно у него на уме, работой бредит. А Уля-то, что ж, девка, Марей Гордеич. Ей бы где и повеселиться и поласкаться, а ему недосуг, всё заботы, всё хлопоты.

— Ну-ну, — задумчиво отозвался Марей, слушавший Лисицына с особенным вниманием.

Когда Лисицын починил сеть и погрузил ее в лодку, Марей решил сходить на раскопки. Лисицын горячо поддержал его намерение:

— Сходи, Марей Гордеич, сходи. Может, что и посоветуешь Алеше. Он всё поджидал тебя... Про левый берег расспросить тебя хочет...

Они встретились взглядами и несколько мгновений смотрели друг на друга с таким выражением, которое говорит: «Есть еще одно дело, и важное дело, но о нем как-нибудь потом».

И действительно, такое дело было не только у Марая. Лисицын тоже испытывал желание рассказать старику о Станиславе, о своей слежке за ним. Лисицын чувствовал, что жить рядом со Станиславом и спокойно наблюдать, как тот шарит по тайге неизвестно с какими целями, ему становится не под силу. Старик мог что-нибудь посоветовать. Несмотря на большие годы, разум у него ясный. Но в сознании Лисицына, как и в сознании Марая, не наступило еще крайней потребности высказаться. И у того и у другого в тайниках души были еще какие-то неясные, неосознанные сомнения и колебания. Они были вполне объяснимы: Лисицын не спешил, надеясь узнать про Станислава что-то большее, а Марей минутами думал: «А вдруг как-нибудь сам, без других, про сына дознаюсь».

Они расстались, оба чувствуя, что не сказали друг другу чего-то очень важного. Лисицын оттолкнул лодку от берега и всё посматривал на удалявшегося Марая. А тот будто чувствовал это и то и дело оборачивался, думая, что вдруг Лисицын вернет его, чтоб поговорить об этом очень важном теперь же.

На раскопках Марей застал одну Ульяну. Он подошел тихо, и девушка, увлеченная работой и какими-то своими мыслями, не слышала его приближения.

— Ой, дедушка! Идите сюда, отдохните! — приветливо позвала Ульяна, отбрасывая лопату и направляясь навстречу старику. Она была в ситцевом платье, в голубой косынке. От работы лицо ее покраснело и щеки пылали пунцовыми пятнами. Волосы, заплетенные в две толстых длинных косы, блестели на солнце, как посеребренные. В глазах опять стояла ласка и готовность услужить.

Заметив это ее выражение и то, как она торопится ему навстречу, Марей ощутил, что теплое, охватившее всю его душу чувство поднялось в нем. Из каких свойств состояло это чувство, он не знал, да и не задумывался над этим. Ему просто было приятно и радостно видеть ее, слышать ее голос, знать, что она живет тут же, рядом с ним. «Родные они мне... Куда еще роднее?..» — вновь думал он, подходя к Ульяне, которая стояла уже возле кучи камней и укладывала их так, чтобы ему удобно было сидеть.

— Ну, как, доченька? — спросил он, садясь на камни, уложенные ее руками.

— Копаю, дедушка. Велели мне возле этого кедра шурф пробивать, — сказала она, ее называя имени того, кто велел это сделать.

— Кто велел? Ты разве не по доброй воле?

— Сама, дедушка, сама. А велел Алексей Корнеич... — Ульяна говорила торопливо, а живое, подвижное лицо ее на мгновение будто окаменело.

— А он где, Алеша-то, Алексей Корнеич? — спросил Марей, внимательно наблюдая за Ульяной.

— Он другой шурф пробивает, дедушка. Вон там, в ельнике.

— Вместе легче шурф бить. Что ж вы вместе не работаете?

Ульяна что-то хотела сказать, но только кашлянула, вся сжалась и опустила голову. И, взглянув на ее согнутую спину, на опущенную голо-

ву. Марей понял, что живет она в большой заботе. «Ах ты, печаль какая!» — подумал Марей, испытывая желание чем-нибудь помочь девушке. Он не знал, что произошло между ними, но понимал, что ее озабоченность и молчаливость связаны с ним, с Алексеем.

— Ты бы сходила опять, доченька, домой, с мамой повидалась, с подружками. Какое тут веселье — в тайге, — ласково заговорил Марей.

— Нет, дедушка, некогда мне ходить. Слово я дала: пока Улююлье не откроют, никуда я не пойду.

Ульяна сказала это таким убежденным и твердым голосом, что можно было не сомневаться: никакая сила не заставит ее изменить это решение.

— Слово дала?! Кому же ты это слово дала?

Ульяна потупилась, и Марей понял, что она не хочет говорить этого. «Далеко у них зашло. Даже имя Алеши не называет», — отметил про себя Марей.

— Хочу я, дедушка, чтоб зашумел наш край на всю страну, — помолчав, с прежней убежденностью сказала Ульяна.

«А я-то разве против? Дивлюсь, как до сей поры не шумит он», — подумал Марей.

— Хорошее, доченька, желаешь, а старые люди раньше говорили: когда сильно желаешь, то желание сбывается, — сказал Марей, думая про Ульяну: «А папаша твой, видать, плохо тебя знает. Нет, не глупая ты и не про веселье твои думы».

Из ельничка, где работал Алексей, разносился стук топора. Марей посматривал на ельничек, думал: «Ах, какие молодцы! Между собой неполадки, а дело не бросают».

Но вид Ульяны всё-таки беспокоил старика. Она сидела тихая, молчаливая, как пришибленная. Его сознание не принимало ее такую. Ульяну он узнал веселую, бойкую, песенницу. Такой он и представлял ее. И оттого, что она оказалась иной, не похожей на себя, он чувствовал в душе тревогу и острое желание вернуть ее в то состояние, в котором она была сама собой.

— Ну, что же, доченька, иди. Сидеть со мной — веселья мало, — ворчливо сказал Марей, сердясь на себя за то, что он ничем не может помочь девушке.

— Пойду, дедушка. — Ульяна не торопясь пошла к месту, где лежали кучи земли, набросанные ее лопатой.

Марей проводил ее взглядом и тоже пошел к стану. По дороге он рассуждал, иногда произнося целые фразы вслух: «Расспросить бы ее — как и что. Да ведь не скажет. А если и скажет, что толку? Можно навредить только. Пусть само собой уладится. Сами поссорились, сами и помирятся...»

Марей не знал, да и знать не мог, что никакой ссоры между Алексеем и Ульяной не было. Доставив письмо Алексею от Софьи, Ульяна поняла то, о чем раньше лишь догадывалась: у Алексея есть девушка, которая любит его и преданно помогает ему. Ульяне стало совестно за себя, за свое чувство к Алексею, за свои мысли о себе, как об единственной помощнице в его работе. Проведя в слезах две бессонных ночи, Ульяна пришла к той мысли, что на чувство к Алексею у нее нет никаких прав, а помогать ему она обязана потому, что их работа связана с будущим всего родного ей края, и это одно выше всех личных переживаний.

Однажды, когда они утром подошли к месту раскопок, чтобы продолжать работу, она сказала, напрягая всю свою храбрость и волю:

— Теперь, Алексей Корнейч, я одна буду работать.

— Как это — одна? — не понял он.

— Как? А вот так: вы в одном месте, а я в другом.

— Почему же, Уля? — добродушно спросил он, осматривая яр и думая, невидимому, совсем о другом.

— Почему? Уж вам про то лучше знать, — сказала она, чувствуя, как что-то перехватывает горло.

Только теперь он по-настоящему понял, о чем она говорит. Он вдруг выпрямился и незнакомо жестким голосом сказал:

— Хорошо, Уля, работай как хочешь.

Он встряхнул лопату, оказавшуюся в его руке, и пошел прочь.

Ульяна не знала, что делать. В первый момент ей захотелось броситься ему вдогонку и просить у него прощения. Совсем некстати сунулась она с этим разговором. Ведь она же видела, что он живет только работой. Она знала, что ни о чем другом, кроме раскопок, он в последнее время не говорил. Дело так захватило его, что он забывал о своих самых крайних потребностях. Он оброс бородой, ходил в пропотевшей рубашке, набил на ладонях кровавые мозоли. Ежедневно он столько перекапывал земли, сколько было бы не под силу и трем землекопам. По ночам он сидел у костра, то вчитываясь в геологические справочники, то всматриваясь в карту Улулюля. Он нес на своих плечах столько тяжести, сколько порой не выпадет на целый коллектив людей. И в такую пору она рискнула говорить с ним о своих чувствах.

Но это был лишь первый порыв. Когда Алексей скрылся в лесу, Ульяна решила, что она поступила правильно, удержав себя от желания броситься за ним. Она напустила на себя равнодушие и несколько дней прожила под этим покровом. Но равнодушие быстро иссякло. Так легко и незримо исчезает от лучей солнца утренняя роса, рассыпанная мелкими блестками на лепестках цветов и трав.

## 5

Как-то раз утром Ульяна проснулась от надсадного кашля Алексея. Она приподняла уголок одеяла. Он стоял у костра с книгой, и лицо его было серо-зеленого цвета. «Как бы не заболел он», — подумала она с тревогой. Целый день она работала с ощущением этой тревоги.

Как и прежде, она старалась быть подальше от него, чтобы меньше видеть его и меньше разговаривать с ним. Ей хотелось приучить себя к мысли, что Алексей Краюхин как человек обычен для нее, обычен, как сотни других людей ее и его возраста, которых она знала. Но приучить себя к этой мысли она не могла и с мучительным смятением на душе чувствовала, что стал он в эти дни еще ближе и дороже ей.

Марей, конечно, всего этого не знал. Но, тревожась за Ульяну, он на второй же день после встречи с девушкой возле раскопок вновь заговорил о ней с Лисицыным.

— Пройдет, Марей Гордейч, пройдет! Не без того, где и потоскует. Знаем! Сами молодыми были! — торопливо выпалил Лисицын.

Марей недовольно замахал головой, но Лисицын, как и в первый раз, слушать его не стал. Он взял ружье и, думая о чем-то своем, пошел к лодке. Через несколько минут он скрылся в лесу, росшем на другом берегу Таежной. Озадаченный его поспешностью, Марей сидел у костра и думал: «Что с ними? Миша всё куда-то бежит, Ульяну как подменили, Алеша изработался — один нос да глаза остались». Оттого, что он

встретил их другими, у него было такое чувство, будто всё окружающее как-то переместилось, как перемещается порой предмет при обмане зрения.

День-два Марей испытывал острое одиночество. Лисицын не приходил даже ночевать. Чем он был занят в тайге, — Марей и предположить не мог. Алексей и Ульяна с утра и до сумерек работали на раскопках и приходили молчаливые и уставшие.

«А что же я-то бездельничаю?» — как-то спросил себя Марей, чувствуя, что жить дальше он так не может. Быть просто сторожем стана он не желал, да в этом и не было никакой нужды. «Буду помогать Уле. За молодыми, может быть, и не угонюсь, а делу польза», — решил он.

Ульяна попыталась отговорить старика от работы, но Марей пришел с лопатой и с горячностью принялся помогать ей.

Работали они молча. Трудно было совместить разговор с работой. Лопаты звякали о камни, хрустели старые, но крепкие еще корневища росших когда-то здесь деревьев. Яма с каждым часом становилась глубже.

Отдыхали не в яме, а наверху. Марей видел, что Ульяна сама здесь, а мыслями там, с Алексеем. Она настороженно ловила каждый звук, доносившийся из ельника. Когда на минуту Алексей вышел из леса, чтобы срубить березовый шест, она смотрела на него то с восторгом, то с тоской, то с мукой. «Ах ты, бедняжка! Ну чего бы им вместе-то не работать?» — думал он, наблюдая за Ульяной.

— А что, доченька, не обидел ли он тебя? — осторожно спросил Марей, не рискуя начать этот разговор прямо.

— Что вы, дедушка! Разве Алексей Корнейч может обидеть?! — воскликнула она, и Марей увидел, что глаза ее увлажнились.

Именно в эти минуты Марей и решил открыть Ульяне тайну кисета и сам кисет отдать ей. «Куда же дальше таить? И так чуть не унес с собой в могилу», — размышлял он. Марей надеялся, что кисет вновь сблизит Ульяну с Алексеем, вернет их в прежнее состояние. Когда они поднялись из ямы наверх для очередного отдыха, Марей поближе подсел к Ульяне и рассказал историю того, как тунгусский кисет попал в его руки.

Ульяна слушала Марея, неотрывно глядя на расшитый кисет. Ей верилось и не верилось, что эта вещичка имеет такую романтическую историю.

— Дедушка, неужели это правда, что столько тунгусов было перебито из-за золота? Ведь об этом страшно подумать, — сказала Ульяна каким-то не своим голосом.

Ульяна выросла в советское время и, как все люди нашей эпохи, относилась к человеку с уважением, независимо от того, какой он был национальности. И сейчас, представляя судьбу таежных людей, она испытывала ужас.

— Уж это так. Кривой Осип и был последним из их рода. — Марей помолчал и добавил: — Много, Уля, в этих лесах разбросано человеческих костей. Не одни тунгусы тут пострадали. Наши русские из беглых тоже гибли, как мухи. Когда я пришел в староверческий скит, там сказывали, что года за три до того, как мне притти, великий был мор на людей: опустели избы и зимовья.

Они долго молчали. Марей отдался воспоминаниям, а Ульяна всё еще не могла охватить своим разумом — как это можно убивать ни в чем не повинных людей?

Потом они заговорили о вышивке на кисете, о тайных сокровищах, которые были обозначены крестиком, о том, сказка это или правда.

Ульяна при этом посматривала в ту сторону, где работал Алексей, и Марей понял, что мысленно она разговаривала с ним.

— Ты вот что, Уля, спрячь пока кисет подальше, — посоветовал Марей. — Мне он больше не нужен, а тебе, гляди, и пригодится. Кто его знает, может, тунгусы в самом деле что-нибудь знали. Люди они лесные и жили тут многие годы.

Разгладив спокойными движениями ладони бороду, Марей продолжал:

— Л насчет того, кому сказать, а кому нет, тоже подумай. Народ какой? Пойдет слух, ну и бросятся в тайгу, а там, может, тлен один.

— Не бойся, дедушка. Уж если скажу, то скажу верным людям.

— Вот это ладно. Это хорошо, — одобрил Марей, вставая и берясь за лопату.

Вечером, когда ужин был закончен, Ульяна ушла на берег и над тайгой разнесся ее звонкий голос. Она пела так хорошо, так задушевно, что ни Алексей, ни Лисицын, ни сам Марей не проронили ни одного слова. Марей сидел с приподнятой головой и думал: «Опять запел наш соловей. Уж не я ли своим подарком разбередил ее душу?»

Марей не ошибся. Его рассказы о прошлом Улулюльях, о лесных людях, истребленных искателями золота, его дар, овеянный романтикой, — всё это взволновало Ульяну, настроило ее на раздумье. Но пела она не только поэтому. К раздумью ее примешивалась радость. Загадочный кисет лежал уже в кармане, и он сулил новые тихие беседы с Алексеем и новые встречи с ним с глазу на глаз. Это предчувствие будто подменило Ульяну и придавало ее голосу особенную силу.

## Глава пятнадцатая

### 1

Получив приказ о назначении ее начальником Улулюльский комплексной экспедиции, Марина отложила все дела и заспешила к брату. Максима еще не было дома, но Анастасия Федоровна уже вернулась с работы и, как обычно, очень обрадовалась Марине.

— Ну, как, Марина, твои дела? Едешь или передумали твои начальники отпускать тебя?

Анастасия Федоровна одновременно говорила, закрывала дверь, здоровалась за руку с Мариной.

— Еду, Настенька, еду! Сама еще плохо верю. Но теперь всё: приказ на руках, — проходя через коридорчик в комнату, говорила Марина.

— Уезжай скорее, чтобы с глаз начальства долой.

— Дел еще много, Настенька, раньше чем через неделю не выберусь.

Они вошли в столовую, и Марина увидела, что широкий стол, стоящий посередине комнаты, беспорядочно завален раскрытыми журналами мод, лоскутками и пуговицами, шелковыми цветными материями, свисавшими со стола до самого пола.

— Вот как? Ты опять наряжаешься? Ну и модница же ты, Настенька! — лукаво сказала Марина, присматриваясь к беспорядку, царившему на столе.

— Иди, иди, Мариша, посоветуй. Если этот фасон, а? Как смотришь? Ничего? — подавая Марине раскрытый журнал, говорила Анастасия Федоровна.

Марина взглянула на фотографию полной высокой женщины в лег-

ком шелковом платье, воспроизведенную на меловой бумаге, окинула взглядом Анастасию Федоровну и перевела взгляд на стол.

— А из какой материи думаешь делать? — спросила она, беря в одну руку крепжоржет стального цвета, весь расписанный бело-розовыми цветками, а другой рукой сжимая густокоричневый крепдешин с желтыми пятнами наподобие сентябрьских березовых листьев.

— Ну, конечно, из этой, — сказала Анастасия Федоровна, указывая на крепжоржет.

— А это тоже для платья? — откладывая крепжоржет и рассматривая коричневый крепдешин, спросила Марина.

— Ой, не говори, Мариша! Так мне попало от Максима! — воскликнула Анастасия Федоровна и сжала плечи, будто ей и в самом деле было страшно от проборки мужа.

— Ты что же, купила на свой вкус?

— Разумеется. С неделю тому назад захожу в магазин тканей, — опускаясь на стул и жестом приглашая сесть и Марину, начала рассказывать Анастасия Федоровна. — Вижу, на прилавке лежит кусок материала. Спрашиваю продавца: «Что это?» Отвечает: «Крепдешин «Осень», для женщин сорока лет и более». «Ну, вот, думаю, и отлично, как раз для меня». Прошу продавца отмерить три с половиной метра, плачу деньги, забираю и, довольная, ухожу.

Дома перед зеркалом раскинула материал, стою, люблюсь, думаю: «Ах, какая прелесть, как раз по мне. Ничего кричащего, скромно, прилично». Стою и не вижу, что в комнату вошел Максим и тоже смотрит и на меня и на материю.

«Где, говорит, ты такую материю нашла?» — «Известно, отвечаю, где, в магазине тканей». — «Это что же, говорит, за пестрота такая?» — «Называется, отвечаю, «Осень». Продавец сказал, что товар для женщин сорока лет и выше». Тут уж Максим разошелся. «Сама, говорит, на себя старость нагоняешь! От одного, говорит, чувства, что на тебе платье из такой материи, постареть можно». И как начал, как начал... Я стою и слова вымолвить не могу.

— Ну-ну, интересно! Что же он говорил? — оживленно и со смехом спросила Марина.

— Про нас. Впрочем, ты еще молода, это для таких, как я, — заливаясь смехом и всплескивая полными руками, говорила Анастасия Федоровна.

— Почему же? Правильно: про нас! Намного ли я моложе тебя? — сказала Марина, чувствуя, что ей всё-таки приятно оттого, что она моложе Анастасии Федоровны.

Став серьезной, Анастасия Федоровна продолжала:

— Вот послушай, что думает Максим. Он говорит, что женщины часто стареют не от физического нездоровья, а от ущербного сознания. По его мнению, полоса сорокалетия может длиться шесть-семь и даже десять лет, а многие заканчивают ее в два-три года и сами себя обрекают на старость. Иная женщина, говорит Максим, так рассуждает: «Муж есть, дети подросли, дела по службе идут сносно. Чего же еще надо?» И не замечает, что, лишившись больших стремлений, она сама себя добровольно приговорила к ранней старости. Вот и опускается понемногу, и чаще всего это начинается с внешнего облика. Смотришь — на бывшей моднице, появляется платье некрасивого фасона и мрачной расцветки. Потом встречаешь такую женщину и видишь, что она и вовсе опустилась: волосы не чесаны, чулки висят гармошкой, платье не глажено. Да и на душе у нее так же хаотично. Проходят год-два — и совсем невозможно узнать женщину: ходит она сгорбившись, одета кое-как. В общем,

почти старуха. А ей сорок пять лет, и впереди у нее еще двадцать-тридцать лет жизни, и каких лет — зрелости! А зрелость — это же пора человеческих свершений. В юности мы лишь мечтаем об этих свершениях, а исполняем их в зрелые годы. Как же, говорит Максим, не ценить и не беречь это золотое время?

— Да ведь это же правда, Настенька! Истинная правда! — воскликнула Марина, слушавшая Анастасию Федоровну с волнением.

— И вот, высказав всё это, — продолжала Анастасия Федоровна, — Максим говорит: «Унеси ты свою «Осень» в комиссионку или куда еще — твое дело. Материю на платье я тебе куплю сам». Вчера он приходит, расстегивает портфель и подает мне вот этот отрез крепжоржета. «Это, говорит, тебе будет хороша». И в самом деле, Мариша, хорошо! Какое, а? Посмотри. Я боялась, не крикливо ли? Просто не переносу, когда немолодые женщины молодятся во что бы то ни стало: украшают волосы бантиками, шьют платья из ярких материй, ходят без чулок...

Анастасия Федоровна набросила на себя материю, купленную Максимом, и отошла на несколько шагов в угол комнаты. Марина вместе со стулом отодвинулась от стола и с минуту присматривалась к Анастасии Федоровне, то прищуривая глаза, то наклоняя голову влево-вправо.

— Одно могу сказать, Настенька: вкус у Максима хороший. Ты знаешь, эта материя не то что молодит тебя, — это при твоей комплекции ни к чему, у тебя возраст, рост, полнота в соответствии, — просто стальной тон и цветочки как-то очень освежают. — Марина помолчала, подумала: «Ты когда-нибудь, Настенька, обращала внимание на свежeweмые лица людей? После воды и полотенца все лица становятся розовыми, свежими, привлекательными. Вот и ты в этом платье будешь, как только что умытая».

— Правда? — радостно и недоверчиво спросила Анастасия Федоровна и, как бы желая проверить слова Марины, повернулась к трюмо.

— Очень хорошо будет, Настенька, — еще раз подтвердила Марина, любящая ее полной величественной фигурой.

В прихожей раздался звонок.

— Максим пришел, — Анастасия Федоровна сняла с себя материю, положила ее на стол и легкими шагами заспешила к двери.

## 2

— А-а, да у нас гостя! — протяжно сказал Максим, входя в комнату и подавая руку сестре.

Марина встала и ласково, любящими глазами улыбнулась Максиму. Осматривая светлосерый костюм на брате, голубую рубашку с полосатым галстуком, начищенные коричневые ботинки, она как-то невольно подумала о Бенедиктине: «У того опрятность, как пижонство, только раздражает».

— Ну, когда отплываешь, Мариша? — спросил Максим, присаживаясь к столу.

— Осталось упаковать и отправить имущество и окончательно утрясти дело со штатами. Спасибо твоей статье, а то еще пять лет не собрались бы послать экспедицию. — Марина придвинулась ближе к брату. — Большая трудность, Максим, с рабочей силой. Остаются вакантные места. А где я возьму людей в Улулюлье? Заранее программа экспедиции ставится под удар. Ходила я к Водомерову, просила кое-кого из обслу-

живающего персонала института. Отказал. «Что же, говорит, прикажете свернуть институт?» И, по-своему, он прав.

— А по-моему, Мариша, это хорошо. Пусть в штатах будут вакансии. Найдутся люди на месте. Я советовал бы тебе кое-кого, из местных товарищей специально пригласить в экспедицию...

Марина вытянула шею, будто боялась, что не расслышит брата.

— Артем посоветует кого-нибудь. Всё-таки секретарю райкома виднее, — сказала она.

— Конечно, людей он знает, — согласился Максим и, подумав, добавил: — А некоторых товарищей я порекомендую. Присмотрись.

Марина вопросительно взглянула на него, явно недоумевая, откуда Максим знает людей, живущих в далеком Улулюлье.

— Я же ездил туда по заданию обкома, встречался со многими. Разве забыла? — сказал тот, заметив удивление сестры.

— Да, да! — оживилась Марина. — Из головы вон.

— Первым делом, Мариша, познакомься с лесообъездчиком Чернышевым. Помнишь, я тебе о нем рассказывал?

— Это который «Трактат о кедре» написал?

— Вот-вот! Если он с экспедицией поехать не сможет, ты всё-таки повидай его. Мысли и наблюдения у него интересные.

— Знаю. По кедру он выдвигает ряд верных положений.

— Потом в Мареевке, — продолжал Максим, но Марина его перебила.

— Подожди, я запишу. — Она расстегнула свою большую белую сумку, вынула записную книжку и ручку с золоченым пером.

— В Мареевке живут несколько самобытных людей. Попробуй вовлечь в свою экспедицию Лисицыных: отца и дочь.

— Ты знаешь, Мариша, у этого охотника Лисицына есть дочь Уля. Ах, какая яркая девушка! — вступила в разговор Анастасия Федоровна.

— Хорошая девушка! Она нам с Настенькой пела народные песни, и так просто, задушевно — за сердце берет, — глядя на жену, сказал Максим.

— Она талантливо поет. Я обязательно привезу ее в город, — откликнулась Анастасия Федоровна.

— Этих людей ты непременно найди. Сам Лисицын большой знаток Улулюлья. Потом там, в Мареевке, есть колхозник Дегов Мирон Степанович. Знатный льновод района. Старик понимает в сельском хозяйстве и имеет ценные наблюдения по климату.

— Это всё очень для меня важно, Максим, — заметила Марина, не переставая писать.

— Не забудь также учителя Краюхина.

— Уж его вернее назвать сотрудником нашего института в отставке, — чуть улыбнулась Марина и, помолчав, добавила: — На Краюхина я во многом рассчитываю. Правда, в экспедицию его не возмешь. Во-первых, потому, что для Алексея Корнеевича нет вакансии, и, во-вторых, этого не перенес бы профессор Великанов.

— Последнее не столь существенно. Если делу на пользу, то самолюбие можно не щадить. Как же иначе?

Пока Марина и Максим разговаривали, Анастасия Федоровна освободила стол, на котором только что кроила платье.

— Вы разговаривайте, а я пойду обед подогрею, — сказала она.

— Может быть, тебе помочь, Настенька? — поднялась Марина.

— Сиди, Мариша, сиди, пожалуйста, я всё сделаю сама, — удержала ее Анастасия Федоровна и ушла на кухню.

Максим проводил жену глазами и, понизив голос, сказал:

— Мариша, в заговор хочу с тобой вступить. — Он посмотрел на нее спокойными серыми глазами серьезно, и она поняла, что брат не шутит.

— В заговор? — На лице ее появилось выражение растерянности.

Максим уловил это движение ее души и улыбнулся:

— Ничего, Мариша, страшного. Я хочу предложить в твою экспедицию еще одного сотрудника.

— Кого, Максим? — с облегчением спросила Марина.

— Настю мою.

Марина знала, что Максим любит жену, что живут они дружно, но эта фраза: «Настю мою», сказанная тихим голосом, передала ей его большую тревогу. «Ну, продолжай, продолжай, я всё, всё пойму», — мысленно торопила она брата.

— Настя мечется, Мариша, — сказал Максим.

— Она же веселая.

— На перевале она, Мариша. — Он помолчал, подбирая слова. — Знаешь, как бывает, когда поднимаешься в гору и ты на полдороге. Всё время идешь и думаешь: а что, не вернуться ли? Откроется ли с вершины что-нибудь новое? Стоит ли итти? И вдруг кто-то крикнет: «А ну, живее! Скоро вершина!» Откуда и силы возьмутся: идешь, идешь — и усталости нет.

— Я не заметила у нее усталости, — возразила Марина.

— Усталости нет, но дружеская поддержка всё-таки нужна. Ты же знаешь, какая она. Ей только семьи и работы мало. Вспомни, сколько у нее всегда было дополнительных интересов: танцы, путешествия по краю... Весной она вернулась из поездки по Улуюлюю — и я не узнал ее: кончились разговоры о возрасте, она жила мыслями об открытии курорта на Синем озере. Я чувствовал: Настенька нашла в этом для себя большую цель. Но, видишь ли, там, в облздраве, расценили ее поездку в тайгу как самовольную отлучку, чуть ли не как нежелание работать. Объявили ей выговор. Ее это очень задело, она не то, что оставила свои стремления, а как-то затоила их в своей душе.

— Да разве это единственный случай?! Сколько еще у нас формалистов! Надо в душу человека глядеть, а им бумага взор загоразивает, — сказала Марина, думая о Краюхине.

— Ты возьми ее, Мариша, с собой, возьми сверх всяких штатов. Уговори, если она начнет вспоминать обиду на облздрав.

— А они отпустят ее?

— Тут одно новое обстоятельство может помочь: обкому профсоюзам ассигнованы центром средства на строительство дома отдыха для рабочих лесной промышленности. Профсоюз просит при выборе площадки учесть перспективы развития лесной промышленности, чтобы не везить людей в дом отдыха за тридевять земель. Облсполком поручил облздравотделу срочно внести свои соображения о месте строительства.

— Да, но могут послать кого-нибудь другого, — обеспокоенно сказала Марина.

— Могут, конечно. Но если она сама захочет, — пошлют ее. Она знает Улуюлюе, прежде ей приходилось вести такую работу.

— Я-то рада, Максим. Мне с ней легче будет. Боюсь я за себя. Какой из меня организатор?

— Дело нелегкое, но ведь ты не одна. Побольше опирайся на людей. И не пренебрегай советами простого народа, практиков. У них иногда недостает знаний, зато есть верное понимание смысла дела, чего часто нехватает нам, людям с учеными степенями,

— Учту, Максим, твои советы, спасибо. Ну, а у тебя-то что слышно?

— Собираюсь в Москву. Назрело немало мыслей, сомнений, предложений и претензий к министерствам и главкам. Для меня Москва, знаешь, что? Ах, Марина, я всегда возвращаюсь оттуда с такой зарядкой энергии, что мне ничто не страшно... никакие трудности не пугают.

Максим вскинул свою крупную голову и замолчал.

— А ребятишки в лагере? — спросила Марина.

— На два месяца. Если Настенька уедет, одной Петровне домовничать придется.

Вошла с тарелками, сложенными стопкой одна на другую, Анастасия Федоровна.

— Как твои сердечные дела, Мариша? — меняя разговор, лукаво спросил Максим.

— Всё попрежнему, — тихо, со смущением ответила Марина.

— С Бенедиктиным окончательно разошлись? — Максим говорил уже по-другому — серьезно и участливо.

— Я — бесповоротно! — Марина вздохнула, грустно усмехнулась: — Многому я научилась, Максим, на этой истории. И больше у меня нет желания экспериментировать в области любви. Хватит!

— Ну-ну, Мариша, не надо так, — расставляя тарелки на столе, сказала Анастасия Федоровна.

— А что не надо-то? Наоборот, надо. У меня столько дел, что и без любви жизни нехватит. Раз не повезло, значит, не повезло. — Марина безнадежно махнула рукой.

— А возьмет да и повезет! — задорно возразила Анастасия Федоровна.

— Нет, нет, закую сердце в броню, — невесело пошутила Марина.

— Наше бабье сердце отходчиво, Маришенька. Задумаешь одно, а сделаешь другое.

— Не до того мне, Настенька. Одно у меня теперь: работа, Улуюлье, экспедиция... Поедем со мной, Настенька! Как бы мне с тобой было спокойно, хорошо. — Марина подняла руки и сомкнула их, как бы изображая то самое спокойствие, о котором она говорила.

— Я бы на крыльях с тобой полетела, — мечтательно проговорила Анастасия Федоровна.

— Ну и что же — лети! — воскликнула Марина.

— Да разве мне разрешат? Бумажки подшивать заставят, а к живому делу не допустят.

— Да! Я забыл тебе сказать, Настенька, одну важную новость, — вмешался Максим. — Сегодня облисполком рассматривал вопрос о строительстве дома отдыха для рабочих лесной промышленности. Поручили облздравотделу внести свои предложения. Некоторые товарищи авансом высказались за Улуюлье.

Анастасия Федоровна посмотрела на Максима с недоверием.

— Я не шучу, — сказал он.

Анастасия Федоровна перевела взгляд на Марину, потом еще раз на мужа и, оттолкнув тарелку, захлопала в ладоши:

— Ура-а! Браво!

— Что с тобой, Настя? — спросил Максим и, глядя на улыбающуюся сестру, засмеялся.

— Правда на моей стороне — вот что! Давно ли мне заведующий выговор объявил? А теперь что? Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!

Анастасия Федоровна, чуть пританцовывая, выбежала из столовой

на кухню. И трудно было поверить в этот момент, что этой высокой, полной женщине за сорок лет и что временами ее неотступно преследуют невеселые, тревожные мысли о женской доле во вторую половину жизни.

— Поедет! — довольно сказала Марина.

Максим, улыбаясь, утвердительно кивнул головой.

## Глава шестнадцатая

### 1

Жизнь Софьи осложнялась с каждым днем. Бенедиктин с утра до ночи пропадал теперь на половине отца. Его звонкий раскатистый смех становился всё более громким и вызывающим. Смелее входил он и к Софье. При каждом его появлении она как-то вся внутренне сжималась, словно он мог чем-то оскорбить или даже ударить ее. К счастью, он подолгу не задерживался и, рассыпая тысячи извинений, удалялся. Но по его пристальным взглядам, по тем ласково-нежным ноткам, которые иногда прорывались в его голосе, Софья угадывала, что он исподволь готовится к чему-то более значительному, чем все эти мимолетные разговоры. «Господи, неужели он вздумает опять объясняться мне в любви?» — обеспокоенно думала она.

В ее душе всё сильнее и сильнее нарастало чувство протеста против него. Но вместе с тем ее ни на минуту не покидало сознание своего бессилия перед ним. Всякий раз, когда он входил к Софье, она переживала мучительное состояние скованности. Его изысканная наглость парализовывала ее волю. Она чувствовала, что то же самое может произойти и в тот решающий и значительный момент, который неотвратимо приближался к ней. Она боялась этой минуты, но, боясь, готовила все свои силы для отпора.

Однажды вечером к ней зашел отец. Было уже близ полночи. В большом доме стояла тишина. В широкое окно софьиной комнаты тянуло свежестью реки. Изредка в комнату врывались отголоски той хлопотливой трудовой жизни, которой жила многоводная река и днем и ночью. Свистки пароходов, то низкие и густые, то пронзительно звонкие, хруст цепей на ковшах землечерпалок, шум пара, вырывавшегося в пароотводные клапаны, слышались иногда то отчетливо, будто всё это происходило за стеной, то проносились ослабевшие, едва слышимые, словно перед этим они прошли неисчислимые расстояния. Это в ночи совершалась вместе с людской работой незримая и вечная работа природы: капризные потоки воздуха то гасили силу звука, то отступали, как бы расчищая им путь.

Софья сидела за столом, обложившись книгами и журналами. Возле чернильного прибора лежали карандашные зарисовки Улулюльских находок Алексея. Вот уже несколько дней Софья старалась разгадать эти находки, не только напрягая свою память и вспоминая всё виденное в музеях материальной культуры, но и прибегая к помощи книг. Но дать находкам Алексея точное определение ей не удавалось. Ни рисунки, ни описания находок не совпадали ни с одним известным Софье типом древних человеческих культур. «Взглянуть бы на всё своими глазами!» — вздыхала Софья и еще пристальнее листала академические вестники и альбомы истории материальной культуры.

За этим занятием ее застал Захар Николаевич.

— Ты еще не спишь, Соня? — спросил он, входя в комнату Софьи.

Захар Николаевич был в длинном халате без пояса. Халат висел на его острых плечах, подчеркивая худобу тела.

— Проходи, папа. Мы с тобой теперь так редко встречаемся, что я не помню, когда ты был у меня, — сказала Софья, отодвигая книги и присматриваясь к отцу.

— И ты меня тоже не жалуешь частыми посещениями, Соня, — он невесело усмехнулся, сняв пенсне, посмотрел на нее слепыми, но родными и милыми глазами. Захар Николаевич тяжело опустился на стул.

— Живем по всем правилам коммунальной квартиры: меньше встреч — меньше неприятностей и скандалов, — сказал он тихо.

— У тебя всегда люди. К тебе не войдешь, — Софья проговорила это несколько обиженно.

— Да, Соня, у всего есть свои сроки. Есть они и у одиночества. Сколько лет высидел я, как затворник! Теперь мне нужно внимание окружающих. Это не прихоть, а потребность души.

Захар Николаевич говорил унылым тоном, и мрачные тени, легшие от лампы на его худощавое лицо, двигались по щекам к подбородку, как живые пауки.

— Окружающие — это Бенедиктин? — спросила Софья с иронией.

Захар Николаевич резко вскинул голову, глаза его сверкнули, и Софья решила, что он сейчас вспылит. Но, к ее удивлению, он сдержался и сказал всё так же спокойно и неторопливо:

— Чужая беда всегда кажется простой, Соня.

— Какая же беда у Бенедиктина? Стыдно от людей за неблагоприятный поступок?

— О, нет! Бенедиктин откровенен со мной, как ни с кем. Всё обстоит, Соня, гораздо сложнее. Марина Матвеевна — прекрасный научный работник, но, право же, для семейной жизни одного этого качества мало. В женщине должно быть врожденное свойство к уюту и дому. Как птица вьет гнездо, исходя из инстинкта, данного ей природой, так и люди должны вносить в свою парную общность те свойства, которые делают их семейством. И тут за женщиной главная роль...

— Бенедиктин бессовестно наговаривает на Марину Матвеевну. Ему ничего не остается, как лгать и вывертываться, — перебила Софья отца.

Захар Николаевич, обычно вспыльчивый и нетерпеливый к возражениям, будто не замечал возбуждения дочери.

— Видишь ли, Соня, я думаю, что ты теперь стала взрослой и с тобой можно говорить серьезно на такие темы, — подбирая слова и волнуясь, сказал Захар Николаевич. Софья поняла, что ей предстоит услышать что-то особенное, и насторожилась.

— Григорий Владимирович признался мне в большом чувстве к тебе, Соня, — с некоторым усилием продолжал Захар Николаевич. — Это было одной из причин его ухода от Марины Матвеевны, — пояснил он, видя, как лицо Софьи становится злым.

— Гадко и гнусно! — сказала Софья и поднялась, с силой отодвинув кресло. Она отошла в угол комнаты и, протянув руки к отцу, блестя глазами, с жаром спросила: — Ну скажи мне, скажи, почему ты сблизился с ним? Что вас роднит? Что есть у вас общего? Скажи! Только правду! Правду!

Захар Николаевич повел плечами, водрузил пенсне на переносье и с полминуты молчал.

— Ну вот, ты молчишь. А я знаю почему.

— Нет, я скажу. Ты знаешь, Соня, мою особенность. Я всегда вставал на защиту слабого. Люди бывают безмерны в своей жестокости. Если б я не оградил Бенедиктина, его могли бы заклевать в порядке,

так сказать, «развертывания критики и самокритики». А ведь он не пропащий человек, у него есть способности и ряд таких качеств, которые мне весьма импонируют...

— Нет, папа, ты говоришь наивные слова, которым сам не веришь. — Софья вышла на середину комнаты, а Захар Николаевич еще больше втянул голову в худые, костистые плечи. Софье на мгновение стало жалко его, худого и уже стареющего, но остановиться она не могла. Ей было ясно, что Бенедиктин настолько вошел в доверие к отцу, что между ними стал возможен разговор на самые тайные интимные темы. И это подогревало гнев Софьи и делало ее прямодушной и жесткой до крайности.

— Раз ты сам не можешь, я тебе скажу правду. Слушай! Имей силы выслушать! — говорила Софья, то приближаясь к отцу, то пятясь к окну. — Не слабость Бенедиктина привлекла тебя, а его безликость. Свойства, которые тебе в нем весьма импонируют, таковы: угодничество и ограниченность. Слушай, пожалуйста, дальше! Ты не любишь приближать к себе людей, отмеченных дарованием. С одаренными хлопотно, они имеют свои точки зрения и могут подвергать твои слова и поступки критике. Так было с Краухиным. Скажи, ну скажи, за что ты его не взлюбил? Бенедиктин куда удобнее! Каждое твое слово, каждый твой поступок для него — святость.

Софья собиралась сказать, что отец не имел никакого права вести с Бенедиктиным разговор о ней — это равносильно заговору, но, увидев на глазах Захара Николаевича слезы, замолчала.

— Ты что, папа, обиделся?! — растерянно глядя на отца и приближаясь к нему, спросила Софья.

Захар Николаевич опустил голову, и Софье показалось, что он сейчас разрыдается. Софья подошла к нему и обняла его за плечи. «Он может оттолкнуть меня — так я с ним говорила», — мелькнуло у нее в голове.

Но отец не только не оттолкнул ее, он прижал голову Софьи к своей груди и с минуту сидел молча, погруженный в какие-то свои, неизвестные Софье переживания.

— Соня, ты так напомнила мне сейчас маму, — тихо, с большими паузами после каждого слова, сказал Захар Николаевич. — В любом деле она горела, как факел: ярко и всегда своим светом.

Софье были дороги эти слова. Рано умершая мать вставала в сознании Софьи в романтическом ореоле, каким-то почти неземным существом. Она воспринимала мать такой, какой та изображена на одной из фотографий: молодая, красивая женщина с большими глазами стоит на скале. Ветер парусит складками платья, подчеркивая изящество линий ее тела. Это не просто красивая женщина, это женщина-факел, как назвал ее отец. Приятно, очень приятно хоть чем-нибудь походить на эту женщину, жизненный путь которой был, как падение звездного тела: короткая вспышка и необоримое движение в вечность.

Но, пережив волнующий и желанный толчок в душе от сравнения с матерью, Софья поднялась встревоженная и озадаченная. Отец ни единым словом не отозвался на ее слова, в которые она вложила многодневный запас своих раздумий и чувствований. Вполне возможно, что он, увлеченный каким-то своим видением, воспринимал ее в эти минуты лишь внешне, не вслушиваясь и не вдумываясь в то, что она говорила. А может быть, именно сегодня, в этот миг в его душе, полной непримиримого борения, произошел тот перелом, о котором она не переставала думать, как о желанном рубеже, пройдя который, ее светлые и мятежные чувства к Алексею сольются в одни берега с трудной и сильной любовью к отцу.

Ей казалось, что отец сейчас встанет и энергично произнесет: «Да, Соня, я не хочу углублять своих ошибок. Я был неправ трижды: первый раз, поставив твою самостоятельность в любви под сомнение, второй раз, лишив Краюхина своего расположения, и, наконец, увидев в Бенедиктине поводыря своей старости». Но проходили секунды, минуты, а Захар Николаевич сидел, опершись лбом на ладонь. Вдруг он откинул руку и встал. Софья замерла в ожидании. Если только он скажет то, что она ждет, что ей так хочется услышать от него, — она бросится к нему и крепко-крепко обнимет его. Пусть он почувствует, какую тяжесть ее души унесли в небытие его долгожданные слова. Но Захар Николаевич сказал совсем о другом, словно и не было между ними никакого разговора:

— Соня, приближается день твоего рождения. Ты не забыла?

Захар Николаевич опять снял пенсне, будто знал, что это как-то преобразает его, делает более домашним и близким Софье.

Никакой другой праздник не чтил так Захар Николаевич, как день рождения дочери. Прежде они вместе с Софьей садились за стол и составляли перечень покупок, а также список лиц, которых они намерялись пригласить на свое семейное торжество. Захар Николаевич и теперь собирался проделать это. Вместе со стулом он придвинулся к уголку стола. Софья наблюдала за ним, и, видя, как он спокойно передвигается к столу и берет бумагу, она поняла, что он ни в чем, совершенно ни в чем не уступил ей сегодня. Она живо представила, кто соберется на ее именины, и вдруг самодовольное, гладкое лицо Бенедиктина заслонило всех. Он, конечно, не упустит такого случая, если даже она и не позовет его. Зато не будет того, кто особенно близок и дорог ей. Какая-то опустошающая душу горечь сжала ей сердце, и она почувствовала, что ей надо вырваться из того окружения, в котором она оказалась.

— С именинами, папа, нынче у меня ничего не получится, — сказала Софья, стараясь быть спокойной.

— Почему? — Отец торопливо надел пенсне, и близорукие глаза его стали опять строгими и чужими.

— Я собираюсь на той неделе уехать. Поеду, папа, в Улулюлье. Представь себе, что до сих пор я не могу объяснить характер находок Краюхина. Мне надо самой побывать на раскопках.

Это было для Захара Николаевича так неожиданно, что он даже встал.

— И надолго? — голос отца дрогнул.

— Пробуду, сколько потребуется для дела.

— Следовательно, меня оставляешь на печение того самого Бенедиктина, которого ты только что поносила?

Захар Николаевич смотрел дочери прямо в глаза. Софья заметила, как зрачки отца расширились, и глаза его стали совсем холодными. Она растерялась и не смогла промолвить ни одного слова.

— Вот, Соня, цена твоих поучений: ни чувства, ни логики. — Захар Николаевич говорил, отчеканивая каждое слово, и Софья видела, что он сдерживался, чтобы не закричать. «Ни чувства, ни логики! — мысленно повторила она. — Что он говорит?! Уж я ли не приносила в жертву свои желания ради чувства к нему?!» — думала Софья. Ей вспомнилось, как он методично уничтожал в доме всё, что могло напоминать об Алексее. И она покорно, почти молча переносила это, чуть не лишившись самого дорогого: любви Алексея.

— Думай всё, что угодно, папа. На этот раз я поступлю так, как мне это нужно, — сказала Софья твердо.

— Я не держу тебя, Соня, поезжай хоть сегодня. — Захар Николаевич старался придать своему голосу безразличие. Но, выходя из комнаты, он сильно хлопнул дверью, и Софья поняла, что ее решение крайне ожесточило его.

## 2

Сказав отцу, что она едет в Улуюлье, Софья выдала желаемое за действительное. Пока она ничего не сделала, чтобы совершить такую поездку. Правда, с тех пор, как экспедиция Марины выехала к месту работы, Софья не один раз с тоской думала: хорошо было бы побывать ей сейчас в Улуюлье. О многом хотелось ей поговорить с Алексеем. Столько дней и событий пронеслось с момента их разлуки! Он писал ей, но письма были редкими и короткими. По отдельным фразам, иногда прорывавшимся в его деловых записках к ней, она чувствовала, что ему трудно, очень трудно. Сознание того, что она помогает ему отсюда, из города, успокаивало ее. Но это успокоение держалось до поры до времени. За последнее время всё чаще и чаще ее стала охватывать какая-то безотчетная тревога за Алексея, за будущее их отношений. «Разве так по-настоящему любят? Любовь должна быть слепой. Надо бросить всё к чорту на рога и бежать, бежать к нему, чтобы только быть вместе с ним всегда, до конца жизни», — рассуждала она сама с собой. Но бросить «всё к чорту на рога» ей не позволяли другие чувства, не менее сильные: чувство ответственности за работу, чувство привязанности к отцу, чувство оседлости и уюта.

Но, как накапливающаяся вода в пруду в конце концов подымается над уровнем берегов и неудержимо прорывается через плотину, устремляясь вперед, так и душа Софьи после всех раздумий и треволений вышла из того обычного равновесия, которое удерживало ее в городе, в доме отца, вдали от Алексея. «Ехать, немедленно ехать в Улуюлье!» — Этот зов души не покидал ее в последнее время. Днем она слышала его всюду, чем бы ни была занята, а ночью ей снились бесконечные хлопоты, связанные со сборами в дорогу.

Высказав отцу горячо и запальчиво свое желание, она сделала первый шаг на пути к исполнению этого желания.

Теперь, когда отец ушел и она осталась одна, ей, несмотря на горький осадок от разговора, было радостно. Вот и случилось самое трудное: шар, лежавший неподвижно на одном месте, от толчка со стороны тронулся и покатился. Она была убеждена, что ей уже не остановиться теперь на полдороге.

Софья прошлась по комнате от стола к окну, от окна к двери. «Что же дальше?» — спросила она себя. Она подошла к своей кровати, сняла бело-розовое покрывало и легла, закинув руки за голову.

«Надо всё не спеша обдумать... С папой ничего не случится. Поживет один!.. Бенедиктин... что я о нем думаю? Для меня он безразличен, а на всё остальное наплевать. Алексей... Как он обрадуется, что я приеду, приеду сама... Да, но с чего всё-таки начать?» — проносилось в мыслях Софьи.

Если б была в городе Марина, Софья поспешила бы к ней. Но Марина уже вторую неделю в Улуюльском крае. Может быть, пойти к директору архива? Человек он просвещенный и добрый и относится к ней с искренним уважением, но не имеет права отпустить ее с работы и тем более на длительный срок. А не лучше ли поговорить с директором института Водомеровым? Ведь она может помочь в работе комплексной экспедиции. Помнится, что в ее составе нет никого из историков. Пораз-

мыслив, она решила, что так и поступит. Но не прошло и пяти минут, как новые сомнения стали беспокоить ее. «Конечно, Водомеров мог бы решить этот вопрос, — думала она, — но он наверняка будет советоваться с отцом, тот расскажет обо всем Бенедиктину и, чего доброго, ее начнут отговаривать от поездки». И Софья решила, что она к Водомерову не пойдет.

Она задумалась, перебирая в памяти всех тех лиц, к которым может обратиться за помощью. «А что если пойти в обком к Максиму Матвеевичу Строгову?» — мелькнуло у нее в голове. Она вспомнила, что однажды Максим Строгов ей уже помог. Это произошло в тот момент, когда Алексей обратился к ней с просьбой переслать копию анализа руд, произведенных инженером фон Клейстом. По установленному порядку для этого требовалось специальное разрешение. Софья рассказала о своих затруднениях Марине, и та пообещала поговорить с братом. Вскоре директору архива было дано указание всячески содействовать А. К. Краюхину в проведении работы по изучению истории, экономики и геологии Улуюльского края.

Вспомнив всё это, Софья успокоилась. Она поднялась с кровати, разделась, погасила лампу и быстро уснула.

Утром Софья позвонила Максиму. Он изъявил готовность принять ее немедленно.

От Марины Софья слышала о Максиме немало всяких домашних подробностей, но, увидев его в строгой, просторной комнате, она почувствовала волнение. Навстречу ей от большого стола, на котором, кроме чернильного прибора и папки с бумагами, ничего не лежало (Софью это удивило, она привыкла к столам ученых, всегда забитых бумагами, книгами, микроскопами, рукописями), шел высокий светлорусый человек, одетый в свежестюженный костюм. Несколько мгновений он смотрел на Софью прямым, спокойным, необычно серьезным взглядом. Подавая ей руку, улыбнулся, и лицо его стало приветливым и похожим на лицо сестры.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Максим, указывая Софье на глубокое кожаное кресло, придвинутое к столу. Софья села.

Максим обошел вокруг стола и опустился на свой деревянный жесткий стул. «С чего же я начну? Ему с первой минуты станет ясно, что я хочу ехать в Улуюлье ради Алексея», — обеспокоенно подумала Софья.

Максим уловил ее состояние и, давая ей возможность подготовиться к беседе, заговорил совершенно о другом.

— Ну, как вы пережили утреннюю грозу? — спросил Максим. — Ну, гро-за! С детства я не помню такой грозы, — добавил он.

— А вы знаете, я самое страшное проспала. Когда проснулась — сияло уже солнышко, и гром погромыхивал где-то далеко-далеко, — с улыбкой сказала Софья.

— Крепкий у вас сон. Завидую! — засмеялся Максим, продолжая присматриваться к Софье и думая: «Правду Марина про нее говорила: необыкновенная она».

- На сон не жалуясь! — усмехнулась Софья. — Но бывает и так: не спится, хоть глаз коли, и будит не то, что гром, а шелест листы под окошком.

— О! Это плохо. В таких случаях убегайте скорее от бессонницы в природу. По личному опыту знаю...

— Это не всегда возможно.

— Представляю.

То, что Максим начал разговор с Софьей с постороннего, угадав ее

затаенное волнение, тронуло Софью. «Умница он! Другой бы сразу с ножом к горлу: докладывайте», — отметила она про себя.

— Вы, вероятно, удивлены моим визитом к вам? — спросила Софья, чувствуя, что ей самой надо заговорить о главном.

— Как вам сказать? — замялся Максим. — Пожалуй, что нет. Я ведь о вас многое знаю от сестры.

— Ну, тем лучше, — сказала Софья. — Это меня избавляет от некоторых излишних пояснений.

Она вдруг почувствовала такое доверие к Максиму, что ее несколько не испугало б, если б пришлось заговорить и о своей любви к Алексею.

— Я пришла просить у вас помощи. Может быть, я должна была пойти к кому-нибудь другому, тогда извините меня.

Она опустила свои мягкие бархатистые глаза, и подбородок ее судорожно дернулся. Максим понял, что ее приход к нему потребовал от нее усилий над собой и этому, вероятно, предшествовали какие-то долгие и нелегкие размышления.

— Я слушаю вас, — переждав несколько секунд, сказал Максим. Эти секунды молчания Софья оценила. Ей было тяжело начать сразу.

— Вы торопитесь? — Она обеспокоенно взглянула на Максима.

— Нет, нет, пожалуйста.

— Тогда я поподробнее. — И она опять посмотрела на Максима, желая убедиться, в самом ли деле он готов слушать ее.

Максим сидел, опершись щекой на руку. В позе и особенно во взгляде его серых глаз было такое спокойствие, что она невольно подумала о себе: «волнуюсь, порю горячку, будто произошло что-то неслыханное».

— Вы, вероятно, знаете, что я по образованию историк, — сказала Софья.

— Мне рассказывала сестра.

Максим чувствовал, что Софье трудно говорить, но ему хотелось основательно понять ее, как человека, и он ничем не старался облегчить ее затруднений. Не так уж мало знал он о ней. По рассказам Марины у него составилось о Софье определенное представление, и вот теперь она сама, своим живым обликом могла внести в это представление коррективы.

Софья, наконец, успокоилась. Не спеша, не нервничая, она рассказала Максиму о поисках уваровского акта, о разборке церковного архива, о загадочном анализе улуюльских руд в литейне купца Кузьмина, о староверческом скинте в Улуюлье, не отмеченном ни одним историком, о находках Краюхина, которые пока не поддались разгадке, и, наконец, о своем желании поехать в Улуюлье немедленно.

Максим выслушал ее, не перебивая вопросами. Всё, что она рассказывала, он знал, но Софья все эти события окрашивала своим заинтересованным отношением. И это-то было особенно дорого Максиму!

— Кажется, ваш отец не очень верит в возможности Улуюльского края? — осторожно спросил Максим, когда Софья умолкла.

Глаза Софьи выразили страдание.

— Теперь он отмалчивается. Его озадачили мои и краюхинские находки, — сказала Софья торопливо, и Максим понял, что ей не хочется задерживаться на этом пункте.

— А в Краюхина вы верите? Не думаете, что он может остаться не при чем? — всё так же осторожно спросил Максим, внимательно наблюдая за Софьей.

Ее щеки зарделись, из глаз брызнули сияющие лучики, и он почувствовал, что душа ее встрепенулась, как лист на дереве при порыве ветра.

— Вы знаете, Максим Матвеевич, — Софья впервые назвала его по имени и отчеству, — когда Краюхин опирался на одну лишь карту своего отца и показания краеведов, я очень, очень боялась за него. Мне временами казалось — он рискует, не имея оснований на успех. Но теперь у меня никаких колебаний не существует. Загадки мы разгадаем, и это принесет нам новые подтверждения. Как-никак — лук спущен, стрела в полете.

Последние слова Софья произнесла энергичным тоном, пристукнув крепко сжатым кулачком по столу.

Сам для себя Максим делил всех людей, с которыми встречался, на две категории: «борец» и «не борец». Это деление выражало его внутреннее отношение к человеку — не более. Но в то же время, как компас помогает следопыту держаться верного направления в самых глухих таежных дебрях, так это чувство помогало Максиму чутко разведывать свойства людские, познавать, каков в человеке запас его творческих сил, угадывать степень устойчивости против встречных потоков жизни.

Столкнувшись с глазу на глаз с Софьей, выслушав ее сбивчивый рассказ о себе, Максим понял, что в своих представлениях о ней он был во многом далек от истины. Софья рисовалась ему безвольной профессорской дочкой, вялой, кроткой, неспособной на самостоятельные решения.

Он быстро понял, откуда произошло такое смещение в его понятиях. Он слишком доверял Марине, упуская из виду особенность ее восприятий. Сестра умела до удивления точно передавать со всеми оттенками ту или иную сцену, или разговор, или реакцию, но она никогда не пыталась взять всё это в истоках и связях, понять происходящее в неразрывном единстве. И потому до Максима доходило лишь то, что трогало незащищенное сердце Марины, что западало в ее открытую душу по первому впечатлению: «Соня плачет от непримиримости отца», «Соня в страшной тоске по Краюхину», «Соня до самозабвения ищет уваровский акт», «Соня страдает за мои личные неудачи» и т. д.

Теперь же Максим понял, что все эти якобы далекие друг от друга события выражали одно: Софья вырабатывала свою линию жизни, и хотя это рождалось в трудной борьбе, она не приняла бы ничего, что могло бы быть подготовлено для нее другими.

Охватив состояние Софьи умом, Максим, как это всегда с ним происходило в подобных случаях, испытал лихорадочный позыв к действию.

— Вы хорошо сделали, что пришли в обком. Мы поможем вам и поможем незамедлительно, — сказал Максим и встал. — Я на некоторое время оставляю вас и попрошу подождать моего возвращения.

— Пожалуйста, — Софья благодарно взглянула на Максима.

Максим вышел. Ему надо было переговорить относительно поездки Софьи в Улулюлье с директором архива и руководителями краеведческого музея. Сделать всё это, разумеется, было удобнее без Софьи, почему он и не воспользовался своим телефоном.

«Улулюльская проблема», как он сам для себя называл задачу разворота производительных сил северных районов области, начинала обретать живой и действенный характер. Эта проблема уже входила в быт определенного круга людей, создавая драматические изломы в их биографиях и порождая почву для острой борьбы. По понятиям Максима это означало, что в недрах жизни созревало новое явление. Не стараясь предугадать точный ход развития этого явления, Максим предчувствовал великость его масштабов и, будучи коммунистом по сути своей, делал всё, чтобы содействовать пробуждению всех сил, способных оказывать

воздействие на движение «улулюльской проблемы» от начальных форм к высшим формам.

Максиму не пришлось уговаривать ни директора архива, ни директора музея. Тому и другому было известно, что в улулюльской тайге инженером Краюхиным обнаружены ценные находки, требующие специального изучения историками и археологами. Директор архива согласился предоставить Софье двухмесячную научную командировку, а директор краеведческого музея принял за счет своего учреждения часть расходов по этой поездке.

— Ну вот, всё согласовано и увязано, — входя в кабинет и встретив напряженный взгляд Софьи, с усмешкой сказал Максим.

Софье еще не верилось, что вопрос, о котором она так долго и мучительно думала, решен.

Она порывисто поднялась.

— Значит, осложнений не будет? — В голосе ее звучало сомнение.

— Можете ехать хоть завтра.

— Я вам очень благодарна, — подавая руку Максиму, горячо сказала Софья.

— Счастливого полета! Встретите мою жену и сестру — поклон им.

— Непременно! — сияя счастливой улыбкой, воскликнула Софья.

## Глава семнадцатая

### 1

Есть в Москве площади и улицы, которые с особенной силой выражают непревзойденное величие этого города. Остановись, соотечественник, на широком асфальтированном тротуаре у южного крыла музея Ленина, где Красная и Манежная площади разделяются узкой горловиной, образованной массивным зданием Исторического музея.

Слева от себя ты увидишь влекущий простор Красной площади, седые от вековых ветров и дождей маковки Василия Блаженного, стремительные, зовущие в высь негаснущим ало-красным светом своих звезд башни древнего Кремля, заветный, согретый теплом любящих сердец мрамор Ленинского мавзолея и победный стяг, вознесшийся к синеве неба с крыши Правительственного дворца, напоминающего гигантский корабль в плавании.

Справа тебе откроется обширная Манежная площадь, исчерченная извилистыми линиями мчащихся автомобилей, и бушующее людскими волнами широкое устье улицы Горького с великолепными великанами домами которые раздвинули своими могучими плечами беспорядочное скопление кирпичных двух-трехэтажных домишек, украшавших когда-то купеческую Москву.

Вглядываясь в окружающий тебя неповторимый архитектурный ансамбль, запечатлевший в камне силу русского духа, отважно пробившегося к своему раскрепощению через все преграды жестоких времен, присмотришься к непрерывному кипению жизни, которое в этот обыкновенный, ничем особым не примечательный час, простирается перед твоим взором.

В потоке плавно скользящих машин, в живом колыханье бесконечных человеческих толп твой взор приметит такое, что наполнит высокой радостью твою душу.

Ты почувствуешь, что люди — кто б они ни были: школьник, прибывший из вологодских лесов на экскурсию, начальник заполярного

строительства, директор передового совхоза с Украины, ленинградский новатор, нашедший способы удешевления производительности труда, боевой генерал — ветеран Великой Отечественной войны, водивший полки на штурм неподступных крепостей врага, скромная сельская учительница, полвека своей жизни отдавшая воспитанию детей, деятель братской коммунистической партии, приехавший из-за рубежа учиться опыту у советского народа, иностранный писатель, поднявший голос протеста против лживой пропаганды буржуазной печати, — все, все, кого бы ты ни встретил здесь, в близости от Кремля и Мавзолея, озарены той излучающей энергией силой, которую содержит в себе в неисчислимых размерах Москва — знаменосец социалистической эпохи.

## 2

До глубокой ночи в кабинете Сталина горели лампы. Перед уходом на отдых Иосиф Виссарионович вызвал секретаря и попросил принести папку с письмами трудящихся. Сталину писали тысячи людей: рабочие, колхозники, интеллигенты, ученые, товарищи и друзья по долготелней подпольной работе. В письмах народ вел со своим вождем доверительный большой разговор о жизни, о нуждах и потребностях своих, о будущем Родины.

Иосиф Виссарионович не спеша раскрыл папку и поднес к глазам прошитые ниткой листочки, вырванные из ученической тетради.

«Здравствуйте, дорогой Иосиф Виссарионович! Шлет Вам сердечный привет из улулюльской тайги охотник Михаил Лисицын с дочкой Улей и женой Ариной Васильевной».

Иосиф Виссарионович поднял седеющую голову, посмотрел поверх листков, стараясь представить себе облик сибирского охотника, и продолжал читать дальше.

«Пишет Вам письмо под мою диктовку моя дочка Уля, так как сам я в грамоте не силен, особенно же плох у меня почерк».

Дорогой товарищ Сталин! Знаю я, что дел у Вас и без меня хватает, а всё-таки выпадет минута свободная от другой работы — прочитайте мое письмо, потому что порешили в области извести синеозерскую тайгу на поруб, и тогда конец нашему охотничьему занятию...

...Край наш, дорогой товарищ Сталин, лежит вдали от железной дороги, и богатств в нем несчетно. Если б с умом эти богатства в дело пустить, большая б была подмога нашей державе. Да только нет тому настоящих радетелей. Хлопочет изо всех сил, бьется, как рыба об лед, наш житель из Притаежного инженер Краюхин Алексей Корнеич. Да ведь один на таком просторе много ли сделаешь? И, видать, его затея кому-то не по нутру. Нынче весной стреляли в него в осинника<sup>^</sup>. Слава богу, в него не попали, конь же погиб...

...В районе у нас только об одном льне думают. Конечно, земля у нас подходящая, хорошо рождает, и лен прибыль немалую государству приносит, но и охотники у советской власти не в накладе, почету же им никакого. Мой кум Дегов Мирон Степанович второй орден получил. Против него ничего не имею. По льну он другому профессору не уступит, а только и охотников надо бы маленько обласкать, в казну от этого только прибудет. А то малость обидно, товарищ Сталин, да и поздно теперь ружье бросать. А слышим мы иной раз одно насмехательство: «Вы, говорят, охотники, у советской власти вроде частников». Ну, разве не обидно такое?..»

Иосиф Виссарионович дочитал письмо Лисицына до конца, постоял

с полминуты в раздумье, бережно держа исписанные листки на ладони, потом осторожно положил их на стол и подошел к маленькому столику, стоявшему напротив, у стены.

Здесь, на этом столике, лежал огромный, в несколько томов атлас Советского Союза. Иосиф Виссарионович достал том «Сибирь» и принялся не спеша листать его. И вспомнился ему тысяча девятьсот двадцать восьмой год.

## 3

Этот ГОД начался в Сибири сильными холодами. Над землей стоял неподвижный туман. Дым из труб подымался прямыми белесыми столбами. Деревянный приземистый вокзал в Новосибирске утопал в сугробах снега. После трехсуточного бурана снег подгребли к бревенчатым стенам и оставили: снег защищал здание от промерзания и ветра.

Гулко перекликались зычными свистками маневровые паровозы. Они сновали по путям, окутанные пушистой изморозью, и были не черными, а серебристо-белыми.

Стоял полдень. Сквозь туман чуть-чуть проглядывало желтоватое пятно солнца. Оно было неярким и негреющим и походило на прожектор, тускло мерцавший в тумане на паровозе подошедшего к вокзалу правительственного поезда.

Поезд встречала группа работников Сибирского краевого комитета партии и партийного актива. Все были в валенках, в шубах с поднятыми воротниками, в меховых шапках, в вязаных шерстяных рукавицах.

Как только поезд остановился, в тамбуре вагона показался плотный невысокий человек в серой красноармейской шинели и в суконной, серо-зеленого цвета фуражке с прямым широким козырьком. Он держал в зубах черную изогнутую трубку. Все узнали Сталина.

Не спеша, поглядывая то на занесенный снегом вокзал, то на солнце, затерявшееся где-то в тумане, Сталин спустился по ступенькам на обледеневшую платформу, подошел к встречавшим его представителям краевой партийной организации и поздоровался с ними.

— Скорее в машину, товарищ Сталин! Обморозитесь! — сказал секретарь крайкома, срывая со своих усов намерзшие сосульки.

Сталин с хитринкой в глазах посмотрел на него, усмехнулся, шутиливо сказал:

— Не пугайте, я старый сибиряк. В Курейке один рыбак учил меня согреться дымом...

Сталин сделал глубокую затяжку и неторопливо пошел к автомобилю, выпуская дым круто себе на лицо.

Вечером Сталин выехал в Барнаул. Мороз стал еще сильнее. Когда поезд вышел на берег Оби, послышались оглушительные взрывы, напоминающие артиллерийскую стрельбу. Сотрудники Центрального Комитета партии, сопровождавшие Сталина в поездке, обеспокоенно переглянулись и бросились к окнам салон-вагона. Вновь послышались удары, один сильнее другого.

Сталин сидел за столом. Перед ним лежали листы бумаги, испещренные колонками цифр. Это были сводные данные о ходе хлебозаготовок по районам Сибири. Сталин оторвался от бумаг и спокойно сказал: — Лед на Оби лопается.

Сотрудники вопросительно посмотрели на Сталина: не шутит ли он? Им, не жившим в Сибири, не верилось, чтоб мороз сотрясал воздух и землю с такой силой. А в мыслях Сталина пронеслись беспросветные ночи Заполярья, вьюги над Курейкой, грохот льда на Енисее.

Один из сотрудников сказал:

— Мне вспомнился, товарищ Сталин, восемнадцатый год, Царицын, артобстрелы... Ведь и тогда хлеб для рабочего класса добывали...

— И мне кое-что вспомнилось, — озабоченно потирая ладонью лоб, задумчиво и тихо произнес Сталин.

Он снова склонился над бумагами и, хотя вагон сильно вздрагивал и покачивался на стыках рельс, принялся что-то сосредоточенно писать.

В Барнаул поезд пришел утром. Температура воздуха упала до пятидесяти градусов. Ночью в кабинете физики железнодорожной школы взорвались приборы. Оголодавший воробушек выпорхнул из-под крыши, где он согревался возле дымоходной трубы, но не пролетел и ста метров — камнем упал в снег.

Стоял такой непроглядный туман, что в трех шагах не было видно впереди идущего человека. На улицах города то там, то здесь пылали костры. Люди собирались возле них, грелись, делились последними новостями. Подводы двигались по улицам медленно, лошади угадывали дорогу чутьем.

В вагоне Сталин принял членов бюро окружкома партии. После краткой беседы с ними он пожелал выехать в деревню. Секретарь окружкома попытался отговорить его от поездки ссылками на мороз. Сталин порывисто встал со стула, сказал:

— Пока вы ждете оттепель, кулаки прячут хлеб. Сегодня же необходимо разослать актив по селам и взять хлеб во что бы то ни стало.

— Актив давно на местах, товарищ Сталин. Неделю тому назад мы направили в районы большую группу работников судебно-следственных органов для проведения карательных мер против кулаков, — сказал секретарь окружкома.

— Почему же, в таком случае, вы заготовили за последнюю неделю хлеба меньше, чем за все предыдущие недели? — строго спросил Сталин, в упор глядя на секретаря окружкома.

— Ожидаем перелома, товарищ Сталин, — помедлив, ответил секретарь окружкома.

— Кулаки благодарны вам за ваши ожидания перелома, — сказал Сталин и, помолчав, громко добавил: — Но учтите, рабочий класс и партия спасибо вам не скажут за пособничество кулакам.

Секретарь окружкома вытащил платок из кармана полувоенного френча, вытер виски и пожал плечами:

— Принимали все меры, товарищ Сталин. Не идет хлеб.

— Вы забыли, что в ваших руках власть. — И вдруг Сталин спросил совсем о другом: — Тулупы у вас найдутся?

— В окружкоме имеются и тулупы и дохи.

— Распорядитесь прислать через час лошадей и тулупы. Поблизости есть хлебные села? — спросил он, обращаясь ко всем сразу.

— Базаиха, например...

— Самое крупное село района...

— И кулацкое к тому же, — послышались голоса.

— Хорошо, поеду в Базаиху, — сказал Сталин.

Секретарь окружкома помялся, скосив глаза на членов окружкома, сидевших слева от него, осторожно предупредил:

Не безопасно, товарищ Сталин. В Базаихе были убийства селькора и уполномоченного окружкома.

Вы всё пугаете меня: то морозом, то кулаками. А волки у вас на полях водятся? — засмеялся Сталин.

Секретарь окружкома обескураженно развел руками, смущенно сказал:

— Обязан предупредить вас. Есть шифровка ЦК. Мы за вас в ответе.

— Вы учитесь выполнять указания ЦК, но не делайте из них пугала, — складывая бумаги в кожаную папку, сказал Сталин.

Через час за стеной вагона раздался скрип снега под полозьями и пофыркивание лошадей. Сталин выехал в Базаиху с сотрудниками и двух подводах. Лошади были запряжены по-сибирски, в постромки гусем: одна впереди, другая ей в хвост. Широкие, обшитые коврами кошевки были набиты сеном.

Как только выехали за город, открылась безбрежная алтайская степь. Туману здесь не за что было цепляться, и он дымился над заснеженными балками, перерезавшими степь и вдоль и поперек.

Сталин сидел в передней кошевке, одетый в мохнатую собачью доху, в беличью шапку-ушанку, надвинутую до бровей. Он непрерывно курил, не выпуская ни на минуту трубку из зубов.

Окидывая взором степь, он без слов, но увлеченно напевал песню «Степь да степь кругом, путь далек лежит».

Бойкий ямщик, сидевший в полушубке влоботорота к нему и то и дело покрикивавший на лошадей, напомнил Сталину давно минувшее. В памяти встали Восточная Сибирь, январь 1904 года, Новая Уда, прикорнувшая, как измученный арестант в кандалах, у подножья лесистой Киткай-горы. Тогда стояла такая же свирепая сибирская зима, бушевали метели. Он двинулся в путь ночью. Ветер вздымал снег в небо, раскачивал могучие деревья, с воем бился в стены крестьянских изб и домов. Жигаловский тракт пустовал. Стражники и жандармские ищейки забились в свои конуры, пережидали, когда стихнет погода. Лучшего времени для побега не могло быть.

На середине пути Сталин свернул с тракта на проселочную дорогу. Жандармы ждали его в Иркутске, а он пересек балаганские степи и направился к станции Зима. Тут Сталин сел в первый же поезд, и след его для жандармов окончательно затерялся.

На степном просторе, среди сугробов снега, под бесконечный скрип полозьев хорошо думалось...

В маленькой деревне Мазаловке остановились погреться. Сталин попросил ямщика подвернуть к старой покосившейся избе, занесенной снегом чуть не до крыши.

Изба внутри оказалась более просторной, чем можно было подумать, глядя на нее снаружи. Жарко топилась железная печка. Посредине избы на изогнутом гибком шесте висела зыбка. В ней, сладко посапывая, спал раскрасневшийся ребенок. У окна на низкой табуретке сидел бородастый, большеглазый мужик. Перед ним на лавке, а также в раскрытом деревянном ящике, стоявшем на полу, лежали сапожный инструмент и баночки, заполненные деревянными шпильками, гвоздиками, концами сученой дратвы. Почти по всей избе то там, то здесь валялись лоскутки кожи, головки от сапог, задники и передки для женских ботинок. Густо пахло сыростью и варом.

Сапожник обернулся навстречу вошедшим, поднялся с табуретки, пригласил пройти от порога. Потом он подбросил дров в печку и отодвинул шест с зыбкой в сторону, к стене, чтоб она не помешала людям.

— Мастеровой? — спросил Сталин, сбрасывая с себя доху.

— А у нас тут каждый так: летом батрак, зимой мастеровой. На базаихинских хозяев работаем, — сказал сапожник.

— Богато живут? — спросил Сталин.

— Богаче их в нашей местности не найдешь. Сидят на земле, как пауки. Чего-чего у них нет: мельницы, крупорушки, пимокатки, шерсте-

чесалки, — разговорился сапожник. — А хлебов у них в страду глазом не охватишь. За деревней у нас видели клады? Базаихинские! С позапрошлого года стоят. А нынче и больше того. Урожай был високосный, зерно выдалось крупное, наливное...

— Да много ли хозяев-то? — спросил Сталин.

— Четыре брата да пятый отец. Сейчас, сказывают, из города уполномоченные понаехали, требуют, чтоб хлеб государству везли, а они ни в какую. Цена, мол, низкая. Уполномоченные грозятся будто судом...

— Как думаете, правильно делают уполномоченные? — нетерпеливо, с интересом спросил Сталин.

Сапожник окинул Сталина изучающим взглядом, простодушно сказал:

— Ну, слышь, мужик, до чего ты на Сталина похож! Бывает же такое!

Сталин опустил глаза, скрыл улыбку в усах. Сапожник зачмокал губами, разжег самокрутку.

— Не я уполномоченный, я бы нашел на этих живоглотов управу... — горячо заговорил он.

— А что бы вы с ними сделали? — ввернул вопрос Сталин, исподлобья наблюдая за сапожником.

— Власть робеет! — взмахнул тяжелой рукой сапожник. — На мой резон так: не продают кулаки хлеб по установленной цене — взять его силой. А то ведь выходит: власть наша, а свобода ихняя. Что хотят, то и делают. Теперь они, слышь, задумали еще одно — прибрать рыболовные угодья к своим рукам. И приберут! Моя хозяйка с бабами вторую неделю вяжет им дель на стрежевый невод. Должок за нами был. Ну, а память у них на должников — как на камне высечена. Ох, живоглоты, вздохнуть бедному человеку не дают, ни души, ни совести у них нету!

Сапожник от злости так и клокотал. Он кружился по избе, не зная, как смирить свой гнев.

— А что, могла бы деревня прожить без кулаков? — спросил Сталин, когда сапожник немного успокоился.

— А почему не прожить?! Кулак нашим горбом держится.

— А кто хлеб государству даст, если кулаков уберем? — понизив голос и не переставая наблюдать за сапожником, продолжал спрашивать Сталин.

— Но артельную жизнь народ зазывать надо, — убежденно ответил сапожник. — Наши мужики были в Рубцовском округе. Там кое-где с двадцатого года артельно живут. И живут лучше нашего, не унижаются перед хозяевами.

— А пойдут крестьяне в артели?

— Пойдут! Мужик понял — старой дорогой, в одиночку, ему из нужды не выбиться.

— Многие так настроены?

— А прикинь на поверку — больше половины. Наш брат — беднота первая гуртом пойдет. За ней и средний хозяин потянется, — с уверенностью в голосе, как давно обдуманное, сказал сапожник.

— А с богатыми как быть? — шурясь от струйки табачного дыма, спросил Сталин.

— А ты знаешь, мужик, что с богатыми сделали в семнадцатом году? — в свою очередь спросил сапожник, взглянув на Сталина.

Сталин наклонил голову, чуть приметно улыбнулся, тихо сказал:

— Знаю немножко.

— Вот то-то и оно! Бедного с богатым могила помирят.

Помолчав, он заговорил задушевым тоном, как бы размышляя вслух:

— Мы тут с мужиками ночей не спим, всё о жизни толкуем. Конец пришел старой деревне. Если б вот власти, что повыше, взяли это в соображение да на первых порах подмогли мужикам, — артели, как грибы после дождя, пошли бы. Гляди, тогда и над деревней рассвет наступил бы.

Эта мечта мазаловского бедняка особенно тронула Сталина. Он дружески положил крестьянину руку на плечо, доверительно сказал:

— А вы знаете, товарищ... как ваша фамилия?

— Перегудов Ефим Иванович.

— А вы знаете, товарищ Перегудов, власти, что повыше, наверняка желая бедноты в соображение взяли. Советская власть поможет деревне изо всех сил. Это мне точно известно.

— Ну, тогда не сдобровать кулакам! — воскликнул сапожник.

— И в деревне жить новой жизнью, — в тон сапожнику сказал Сталин.

Он надел доху, вслед за ямщиками вышел на улицу. Сапожник набросил на плечи полушубок, надвинул на голову шапку и тоже поспешил выйти. Он долго стоял у ворот своего двора и просветлевшим взором смотрел на удаляющиеся подводы. Сапожник не знал почему, но уверенность человека с трубкой, сказавшего о новой жизни в деревне, передалась и ему, охватила всю его душу, и он ощущал от всего этого успокоение, какое бывает у человека, долго и тревожно искавшего истину и наконец нашедшего ее.

Приближаясь к Базаихе, Сталин вспомнил слова сапожника: «Чего-чего у них нет!» Село лежало по косогору, полого спадающему к реке. По улицам, протянувшимся двумя линиями, среди приземистых изб и покосившихся пятистенков виднелись двухэтажные, рубленные из лиственничных бревен многооконные дома. Дворы этих домов были обнесены высокими заборами. Ворота стояли под крышами и были украшены узорной резьбой. Поодаль от села, по берегу реки, высились прочные строения мельницы и маслобойки.

Село дымилось сотнями труб. Дым подымался в холодное небо и медленно растекался, смешиваясь с изморозью, висевшей в воздухе.

Подъехали к сельсовету. Дом бывшей волостной управы покосился, врос в землю. К дому со стороны двора примыкали пали, сделанные из лиственничных бревен. Бревна были глубоко врыты в землю, верхние концы их остро заточены наподобие карандашей. Пали местами уже подгнили и обрушились. В образовавшиеся проемы виднелись рухнувшие от времени стены еще какого-то строения. Сталин остановился на минуту, внимательно осмотрел двор. Это была старая волостная каталажка. И опять вспомнилась ему Новая Уда. Прибыв из Иркутска в ноябре 1903 года в Новую Уду, он провел первую ночь за палями в холодной и сырой каталажке.

В сельсовете Сталина встретил председатель райисполкома, назначенный в Базаиху уполномоченным по хлебозаготовкам.

— Не везут кулаки хлеб, товарищ Сталин, требуют повышения цен, — жаловался он.

— А НЕ требуют кулаки от вас ремонта царской каталажки, чтоб засадить туда нашего брата, коммунистов? — прохаживаясь по большой неприбранной комнате, спросил Сталин.

— До этого еще не дошло, товарищ Сталин.

— Если будете сидеть сложа руки, — уверяю вас, дойдет!

Сталин распорядился пригласить в сельсовет народного судью и следователя, прибывших из Барнаула неделю тому назад.

Нарсудья явился немедленно, следователь пришел позже.

— Почему не судите кулаков за саботаж и спекуляцию хлебом? — спросил Сталин нарсудью.

— Судить без следственного материала не имею права, а следствие до сих пор не кончено, — объяснил нарсудья.

— Долго ли будет продолжаться следствие? — взглянул на следователя Сталин.

— Не менее недели, — сказал следователь.

Сталин вскинул глаза на следователя и, заметив одутловатость на его небритом помятом лице, спросил:

— У кого квартируете?

Следователь замаялся, хотел промолчать, но Сталин повторил свой вопрос более настойчивым тоном. Следователь назвал фамилию одного из базаихинских богатеев.

— Почему не живете у бедняков? — спросил Сталин.

— Клопы, тараканы. Для интеллигентного человека, знаете, грязновато, — проговорил следователь.

— Вы до революции были эсером?

Следователь слегка отшатнулся, ошарашенно посмотрел на Сталина, заикаясь, проговорил:

— Па-пазвольте, я был только сочувствующим...

— Вот что, господин сочувствующий, немедленно возвращайтесь в Барнаул, иначе вас выпроводят отсюда под конвоем, — сказал Сталин.

Бормоча что-то себе под нос, следователь с пугливыми ужимками бросился в дверь.

Сталин повернулся к нарсудье:

— Необходимо судить кулаков сегодня же. Какого же следственного материала вы ждете? Разве вам недостаточно материалов сельского Совета и райисполкома? Разве вам мало санкции прокурора на арест саботажников?

— Я выдвигенец, товарищ Сталин. Судьей работаю второй месяц. Следователь меня сбивал: «По букве закона не имеете, говорит, права судить, пока я не закончу следствие».

— Такая буква закона может погубить революцию, товарищ народный судья. Кстати, я рекомендую в качестве одного из заседателей мазаловского бедняка Перегудова Ефима Ивановича. Он, на мой взгляд, прекрасно понимает букву советских законов.

Когда нарсудья ушел, Сталин попросил пригласить к нему секретаря базаихинской партийной ячейки.

Не прошло и десяти минут, как дверь прокуренной комнаты в сельсовете, в которой работал Сталин, широко распахнулась, и на пороге показался высокий человек в дубленом полушубке, белых валенках и буденновке, сдвинутой на затылок. Буденновка уже отслужила свой век, давно отцвела, но зато ярко пылала на ней пятиконечная звезда, вырезанная из красного ситцевого лоскутка и совсем недавно пришитая на шапку.

Здравствуйте, товарищ Сталин, — громко, по-военному чеканя каждое слово и пристукивая пятками, сказал секретарь партячейки. Худощавое, задорное, в легких веснушках лицо его светилось такой радостью, что, казалось, еще миг — и человек запоет от избытка чувств, которые сдерживать дальше было свыше его сил. Сталин поднялся со стула, вышел на середину комнаты.

— Мы, должно быть, где-то встречались с вами раньше, — приветливо И просто сказал Сталин, пожимая руку секретарю партячейки.

— Точно встречались, товарищ Сталин. На Восточном фронте, под Пермью. Собирали вы тогда нас, коммунистов, перед посылкой в полки.

— Правильно, было, — подтвердил Сталин и жестом указал секретарю партячейки на табуретку, стоявшую возле стола.

Они сели друг против друга: с одной стороны стола Генеральный Секретарь Центрального Комитета партии, с другой — руководитель сельской партийной ячейки, каких были в стране многие тысячи.

— Давно из армии, товарищ Терехин? — спросил Сталин.

— Три года.

— На каком фронте были ранены? — увидев искаленную руку Терехина, заинтересовался Сталин.

— Первый раз был ранен на Восточном фронте, под Омском. Второй раз был в боях с японцами в двадцать втором году на Дальнем Востоке. А руку покалечили здесь, в Базаихе, в прошлое лето.

— Стреляли?

— Шел с собрания вечером — меня и «угостили» из-за угла, — сдержанно улыбнулся секретарь партячейки.

— Кулаки?

— Больше некому.

— Виновные найдены?

— Как в воду канули.

— Почему?

— Следователя купили.

— Следователь был этот же, из Барнаула?

— Он самый, товарищ Сталин.

— Всё понятно, товарищ Терехин.

Сталин поднялся со стула, прошелся около стола. Старые разошедшие половицы закрипели под тяжестью его шагов.

— Я думаю, товарищ Терехин, что этот следователь, как и его хозяева, не уйдет от ответа. Как жизнь в деревне? — спросил он и сел на прежнее мест

— Пока кулаки есть, товарищ Сталин, колхозам не подняться. Стоят кулаки поперек нашего пути.

— Что, по-вашему, надо сделать?

— Кулаков из деревни убрать.

— А как, по-вашему, середняк поддержит нас с колхозами?

— У него другой дороги нету.

— Но надо убедить его, что эта дорога правильная. Насильно в колхозы загонять нельзя. Такие колхозы рассыплются при первой неудаче, — сказал Сталин.

— Убедим! Сил только прибавьте в деревню, товарищ Сталин.

— Рабочий класс не оставит деревню без помощи, товарищ Терехин. Лучших людей пошлем на помощь деревне.

— Спасибо рабочему классу за это.

— И тракторы, и автомобили город даст, и электричество город даст. Мы собираемся строить колхозы не на один день.

— Спасибо вам, товарищ Сталин.

— За это скажем спасибо товарищу Ленину. Он велел так сделать.

— Скорее бы, товарищ Сталин, деревню к свету поднять! — привстав с табуретки, голосом, в который были вложены все силы души, сказал секретарь партячейки.

— Ради этого не пощажу, товарищ Терехин, ни времени, ни здо-

ровья, — по-обычному спокойно, но с большой внутренней силой произнес Сталин.

Они замолчали. Сталин с лаской в глазах всматривался в простое, но бесконечно энергичное, жизнелюбивое лицо секретаря партиячейки, думал: «Наше дело бессмертно потому, что есть такие люди».

— Я думаю, товарищ Сталин, — приподнято заговорил секретарь партиячейки, — через десять лет много перемен в нашей жизни будет. Не станет кулацкой деревни...

— И город будет другой, — поддержал Сталин, — уберем нэпачей, раздуем индустриализацию. Построим фабрики, заводы, электростанции. Без этого капиталистов и кулаков не победить. Правда, кое-кто нас страшит: «Провалитесь!» А мы пойдем своей дорогой.

Секретарь партиячейки понял, что Сталин намекает на оппозиционеров. Веселые веснушки на задорном лице секретаря партиячейки задвигались, в глазах бойкими искорками заблестела умная смешинка. Он взглянул в лицо Сталину, с лукавой ноткой в голосе сказал:

— Чорт страшал мужика, да сам от страха окачурился...

Сталин громко засмеялся, усы его шевелились, трубка, стиснутая в зубах, подпрыгивала вверх-вниз.

— Вы этих самых, которые влево-вправо шарахаются, покрепче держите, товарищ Сталин, — уже без смеха сказал секретарь партиячейки.

Лицо Сталина приняло строгое выражение. На лбу резко обозначились и переломились по надбровным дугам глубокие морщинки.

— Благодарю за совет, товарищ Терехин, — сказал без улыбки Сталин и поднялся. Встал и секретарь партиячейки. Их руки сплелись в крепком братском рукопожатии.

Вечером Сталин выехал обратно в Барнаул, а ночью его поезд отбыл в Рубцовку.

Мороз заметно сдал. Да и был он тут, в приалейских степях, куда слабее, чем в заснеженной, суровой Обской пойме. Сказывалась близость Казахстана с его теплыми ветрами и оттепелями.

К Рубцовке поезд подходил утром. Зимнее солнце поднялось над горизонтом, и белоснежная степь, сомкнувшаяся с чистым голубым небом, играла розовато-багряными переливами.

Сталин сидел у окна, наблюдая, как причудливо бегали по степи солнечные лучики. С каждой минутой всё шире и шире открывалась перед ним необъятная Сибирь. Он и раньше знал ее на огромных пространствах: от Урала до Иркутска, от Иркутска до Новой Уды, от Красноярска до Курейки, от Томска до Нарыма. То была Сибирь лесная, болотистая, гористая. Теперь перед его взором вставала Сибирь степная, равнинная. Сколько в недрах этих бескрайних просторов таилось сокровищ?! Какие неслыханные возможности для расцвета жизни и счастья людей были сокрыты здесь?!

Сталин временами отрывался от окна, бросал взгляд на карту Сибири, разостланную на столе и прикрытую листом стекла. Мысленно он передвигался от одной параллели к другой, пересекал хребты и реки, леса и степи. И поднималась в его думах Сибирь другая, разбуженная и переделанная человеком от края и до края...

В Рубцовке в окружке партии оказался секретарь райкома крупнейшего зернового района округа. Сталин пожелал встретиться с ним.

— Курите, пожалуйста, — раскрывая пачку папирос и подвигая ее секретарю райкома, предложил Сталин. Когда секретарь райкома, никак не ожидавший, что с ним будет беседовать секретарь Центрального Комитета, успокоился, Сталин попросил рассказать ему о жизни района.

— Наш район охватывает территорию в шестьдесят пять тысяч

квадратных километров. Район объединяет двадцать семь сельских Советов, в которые входят шестьдесят два населенных пункта. Краткая экономическая характеристика района такова: посевной план состоит из двадцати шести тысяч гектаров, из них под пшеницей пятьдесят процентов, или, в абсолютных цифрах, тринадцать тысяч двадцать гектаров, технические культуры занимают двадцать три процента, или, в абсолютных цифрах...

— С характеристикой вашего района я уже познакомился по справке окружкома, — остановил его Сталин.

— В таком случае я перейду к анализу политической обстановки в районе, — прежним заученным тоном продолжал секретарь райкома.

— Прошу вас. — Сталин чуть откинулся на спинку стула.

— Расстановка социальных сил в районе такова: из общего числа семи тысяч крестьянских дворов бедняков три тысячи шесть дворов, или в процентах...

Секретарь райкома снова с большим увлечением начал называть цифры. Сообщив, сколько в районе живет бедняков, середняков, кулаков, он привел данные о числе членов профсоюза, членов и кандидатов партии, комсомольцев и пионеров.

Сталин терпеливо ждал, когда же секретарь райкома исполнит свое обещание и проанализирует политическую обстановку в районе, но тот, едва покончив с одними цифрами, приступил к другим. Он начал перечислять количество изб-читален, красных уголков, школ, ячеек МОПРа и Осоавиахима.

Сталин прервал его:

— Скажите, пожалуйста, по какой цене продавалась вчера на рынке районного центра пшеничная мука?

Секретарь райкома словно утратил дар слова — он долго молчал.

— Лично я, товарищ Сталин, вчера муку не приобретал, — смущенно сказал секретарь райкома.

— Вероятно, пользуетесь столовой, — иронически заметил Сталин. Он мимолетно усмехнулся, но в тот же миг сильно нахмурился.

— Какое количество хлеба вы считаете возможным выкачать из кулацких хозяйств?

Секретарь райкома ожесточенно почесал щеку, неуверенно сказал:

— По нашим подсчетам, еще не меньше одной четверти задания приходится в кулацких хозяйствах.

— Ваш подсчет с потолка. Он, по крайней мере, в два раза преуменьшен и потому наруку кулакам.

— Мы подсчитывали, — уныло проронил секретарь райкома.

— Вполне возможно, что вы подсчитывали. Но арифметика может быть пролетарская и кулацкая. Вы ближе к последней, — резко сказал Сталин.

— Я из батраков, товарищ Сталин.

— Тем более вам не пристало сбиваться на кулацкую арифметику.

Сталин взял из коробки папиросу, переломил ее возле мундштука, разорвал гильзу и большим пальцем впрессовал табак в трубку. Потом он раскрыл папку и вынул из нее несколько скрепленных булавочкой листков, исписанных цифрами.

— Восемьдесят кулацких хозяйств вашего района имели под пшеницей три тысячи двести гектаров, — глядя на листки, заговорил Сталин. — При условии, что урожай истекшего года был исключительным и дал в среднем не меньше ста пудов с гектара, валовой сбор зерна в этих хозяйствах превышает триста тысяч пудов. Допустим, что из этого количества хлеба половина пойдет на текущие нужды и семена. Ос-

тальные сто пятьдесят тысяч пудов — товарные запасы. К тому же учтите, все кулацкие хозяйства располагают хлебом из урожаев прошлых лет. Вот каковы ваши фактические резервы. Как же вы их подсчитывали? Из чего вы исходили?

— Сознаюсь, товарищ Сталин, подсчитывали неправильно, — сказал секретарь райкома.

— Вы смягчаете. Вы подсчитывали не по-большевистски. По вашему докладу я заметил, что вы любите цифры. Но обращаетесь с цифрами не как политик, а как захудалый статистик. Познакомьте меня с положением ваших колхозов: сколько в них середняков? Какие посевные площади способны колхозы поднять в предстоящую весну?

Секретарь райкома с минуту молчал, суетливо отыскивая в своем портфеле какую-то необходимую бумажку.

— Извините, товарищ Сталин, последнюю сводку оставил в райкоме, — наконец сказал он.

— Данные такого характера секретарь райкома должен держать в уме, — заметил Сталин.

— Я полагал, что до весны еще далеко и я успею изучить положение дела, — попытался оправдать себя секретарь райкома.

— Дело строительства колхозов нельзя откладывать даже на одну неделю. Мы не можем позволить себе, чтоб страна в отношении хлеба зависела от капризов кулаков. Как вы смотрите, если правительство развернет в вашем районе два зерновых совхоза: один в северной части района, в треугольнике деревень Алейка—Поломощное—Чудновка, второй за районным центром, по берегам речки Таловки?

— Мы будем горячо приветствовать это начинание, товарищ Сталин, — с торжественностью в голосе сказал секретарь райкома.

— Приветствовать — это лишь часть дела, причем самая легкая. Главное — поддержать начинание правительства работой, сделать строительство совхозов кровным делом всей районной партийной организации.

— Сделаем и это, товарищ Сталин.

— Но есть одно опасение. — Сталин чуть склонился к секретарю райкома. — Хватит ли воды на участке Алейка—Поломощное—Чудновка для большого совхоза? На какой глубине находятся в этой местности грунтовые воды? Сколько километров от Поломощного до ближайшего изгиба реки? И, наконец, есть ли в районе глина и пески для строительных нужд?

Секретарь райкома опустил голову. Ни на один из вопросов Сталина он ответить не мог.

— Вам трудно быть на посту политического руководителя. Партия взяла курс на разворот производительных сил страны. В этих условиях ей нужны кадры знающие, образованные, имеющие вкус к экономике, к технике. Поучитесь!

Сталин встал и проводил секретаря райкома до дверей комнаты, расположенной на втором этаже здания Рубцовского окружкома партии.

Вечером Сталину доложили, что в Рубцовке проходит окружная комсомольская конференция и группа делегатов просит его принять их. Сталин был занят с секретарем окружкома изучением руководящих кадров района, но комсомольцы настаивали на своем. Сталин попросил пригласить комсомольцев в кабинет секретаря окружкома.

Делегатов было пятеро: две девушки в красных косынках и трое юношей. Лица у всех открытые, ясные, на груди комсомольские значки, в руках делегатские записные книжки в твердых бордовых корках.

Один из юношей, волнуясь, сказал о цели их прихода: конференции

важно знать, какие задачи ставит товарищ Сталин перед комсомолом и молодежью Сибири.

Сталин приветливо пригласил комсомольцев сесть за стол. Сам он поднялся, не спеша прошелся по кабинету. Взгляд его внимательных глаз стал по-особенному спокойным и глубоким.

— Партия Ленина и советская власть приступают в Сибири к великой строительной работе. Все эти огромные пространства, Сталин обвел рукой широкий круг, как бы раздвигая стены здания, — мы преобразуем на социалистический лад.

На стене кабинета висела карта Сибири. За дни, проведенные в пути, в думах о будущем Сибири, Сталин подолгу засиживался над картой. И теперь его потянуло к карте. Он взял со стола карандаш и подошел к стене.

— Вот здесь, в верховьях Томи, будет воздвигнут крупнейший в мире металлургический завод. — Сталин тупым концом карандаша обвел на карте кружок. Потом карандаш стремительно заскользил, очертив круг, границами которого с востока был хребет Кузнецкий Алатау, а с запада — Салаирский кряж.

— Здесь будет создано царство угля — Кузнецкий каменноугольный бассейн. Отсюда уголь по железным дорогам потечет на Урал, а оттуда и Сибирь таким же потоком пойдет железная руда.

— А тут, на Алтае, — продолжал Сталин, и карандаш заскользил по треугольнику Новосибирск—Рубцовка—Славгород, — уже с этого года начнется строительство фабрик хлеба — совхозов. Чтобы поддержать колхозы, государство создаст сеть машинно-тракторных станций.

Сталин отступил от карты на один шаг, помолчал и снова приблизился к ней.

— На юг и на север Сибири будут проложены железные дороги. В степи, в горах, в лесу возникнут новые города. А когда мы накопим силы, — Сталин повысил голос, — мы запрежем и заставим работать на нас могучие сибирские реки: Ангару, Енисей, Обь, Иртыш.

Сталин спокойно подошел к столу, положил на чернильный прибор карандаш, сомкнул пальцы рук и долго стоял без слов.

— Скажите, разве есть для комсомольцев удел более прекрасный, чем тот, который выпал на вашу долю? Партия верит, что вы отдадите все силы на строительство социализма на этой необъятной и богатой земле.

Сталин сказал всё это тихим, ровным голосом, но с глубокой верой. Комсомольцы встали один за другим. Могучая сила его убежденности передалась их сердцам. Они молчали — не было слов, равных их счастью. Они неотрывно и с любовью смотрели на Сталина. Пора было уже уходить, но они медлили, стояли не двигаясь. Сталин не торопил их, чуть наклонив голову, он смотрел на комсомольцев с нежной затаенной улыбкой.

— До свидания, товарищ Сталин! Будем работать, как сказали, — наконец проговорил всё тот же юноша, который объяснил Сталину цель прихода делегатов.

Юноша был высокий. Его длинные сильные руки были немного откинута назад, грудь выдвинута, а голова слегка приподнята. Сейчас он напомнил Сталину молодого орлика, готового взмыть в небо.

- А кто вы? Где работаете? — спросил Сталин, взглянув на юношу.

негромко, но отчетливо ответил юноша.

— Надеюсь на вас, товарищ Строгов, — сказал Сталин, подошел к юноше и крепко пожал ему руку. Потом Сталин попрощался с другими комсомольцами. Когда он дошел до белобрысенькой, с косичками

девушки-батрачки из далекой деревеньки степного района, она вся так и потянулась к нему, но всхлипнула и еще больше растерялась, не зная, как скрыть свой порыв. Сталин понял, что происходило в душе девушки; он склонился к ней и по-отцовски бережно и нежно обнял ее.

На другой день Сталин возвратился в Новосибирск. На заседании Сибирского краевого комитета партии он выступил с речью. Сталин поделился своими впечатлениями от поездки по районам Сибири и развернул программу социалистического переустройства края, простиравшуюся на несколько десятилетий вперед.

#### 4

Найдя необходимый лист в атласе, Иосиф Виссарионович в нижнем крайнем квадрате карты отыскал Маревку. Деревня была обозначена точкой величиною с игольное ушко. Точку со всех сторон окружали извилистые синие черточки — реки и зеленые пятна — леса. «Так вот где живет приветливый и беспокойный охотник Михаил Лисицын!» — подумал Иосиф Виссарионович и снова начал листать том «Сибири».

Потом он вернулся к большому столу и пригласил в кабинет помощника.

— Прошу вас связаться с Академией наук и Высокоярским обкомом и выяснить, что им известно относительно богатств Улулюльского края. Спросите также у обкома, знают ли они автора этого письма, — сказал Иосиф Виссарионович, подавая помощнику листки, сшитые ниткой.

На другой день помощник передал Иосифу Виссарионовичу запись двух бесед, состоявшихся по его поручению.

«Беседа с членом совета по изучению производительных сил Академии наук СССР профессором М. С. Синюхиным.

Вопрос: Что известно ученым о природных богатствах так называемого Улулюльского края Высокоярской области в Сибири?

Ответ: Проблемам Улулюльского края посвящены несколько работ известного сибирского профессора З. Н. Великанова. Ученый пришел к выводу, что группа районов Высокоярской области в геологическом отношении не представляет практического интереса, поскольку древние породы палеозойской эры здесь не прослеживаются, а складчатая постель палеозоя находится под мощным покровом позднейших рыхлых горизонтально залегающих формаций третичного и четвертичного периодов.

Будущее экономики Улулюльского края профессор Великанов видит в развитии лесозаготовительной промышленности, сельского хозяйства и речного транспорта.

Следует, однако, подчеркнуть, что Улулюльский край изучен недостаточно и в этом направлении должна вестись дополнительная работа».

«Беседа с заведующим отделом Высокоярского обкома партии М. М. Строговым.

Москва: Кто у телефона?

Высокоярск: Заведующий отделом промышленности обкома Строгое.

Москва: Где первый секретарь обкома?

Высокоярск: Товарищ Ефремов, а также остальные секретари обкома выехали вчера в районы в связи с подготовкой к уборке и хлебозаготовкам.

Москва: Товарищ Строгов, вы можете ответить на некоторые вопросы, касающиеся Улулюльского края?

В ы с о к о я р с к: Пожалуйста.

Москва: Что известно обкому о природных богатствах Улулюльского края?

В ы с о к о я р с к: Представления о природных богатствах так называемого Улулюльского края до сих пор опираются на труды профессора Великанова. Еще тридцать лет тому назад профессор Великанов пришел к заключению, что геология Улулюля для народного хозяйства бесперспективна и что экономические возможности края заключены только в развитии лесной промышленности, сельского хозяйства и речного транспорта.

Длительное время точка зрения профессора Великанова никем не оспаривалась и постепенно приобрела силу догмы, на которую никто покушаться не рисковал. За последнее время среди ученых, особенно молодых, пока еще не признанных, появились иные взгляды, совершенно противоположные взглядам Великанова.

Слабость позиции Великанова в этом вопросе состоит в том, что свой вывод он сделал на основании теоретических заключений, опиравшихся на длительное изучение не самого Улулюля, а соседних с ним районов.

В настоящее время в Улулюле работает недавно выехавшая туда комплексная экспедиция научно-исследовательского института.

Москва: Существует ли у обкома сформулированная позиция в вопросах развития Улулюльского края?

В ы с о к о я р с к: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не являюсь членом бюро обкома и в аппарате работаю недавно. Могу высказать свою личную точку зрения: то, что Улулюле до сих пор не изучено, то, что его развитие идет медленно и однобоко, то, что его огромные богатства не включены по-настоящему в сферу экономических интересов области, — всё это говорит за то, что ни обком, ни облисполком вплотную не подошли к проблеме этого края.

Москва: Что вам известно о Михаиле Семеновиче Лисицыне?

В ы с о к о я р с к: Лисицына я знаю лично. Это охотник из деревни Мареевка Притаежного района. Богатый практический опыт Лисицына и его знания природных богатств Улулюля представляют несомненный интерес».

Прочитав записи бесед, Иосиф Виссарионович взял телефонную трубку и набрал номер одного из руководителей крупного государственного учреждения.

— Вам перешлют письмо охотника Лисицына из Сибири, — сказал Иосиф Виссарионович. — Обратите на это письмо пристальное внимание. Район, о котором пишет охотник, лежит в зоне будущих больших работ. Нам важно нащупать в этом направлении экономические узлы, чтобы зо-время развязать их в интересах всей страны.

Иосиф Виссарионович положил трубку на аппарат, поднялся и несколько минут, глубоко задумавшись, ходил из конца в конец по кабинету.

## Глава восемнадцатая

### 1

Случилось то, чего больше всего опасался Водомеров. На пленуме райкома, членом которого он был избран, обсуждался вопрос об улучшении идеологической работы. Ни докладчик, ни выступающие в прениях ни слова не сказали о научно-исследовательском институте. «Нас пока

не задевают!» — не без удовольствия отметил про себя Водомеров. Как большинство руководителей учреждений и предприятий, он ревниво относился ко всему, что говорилось об институте и институтской парт-организации. Очевидно, это качество, которое он никогда не скрывал, позволяло людям, стоящим в общественном и должностном отношениях выше него, говорить о нем: «Болеет Водомеров за дело».

Но когда список желающих выступить на пленуме был, как говорят, «исчерпан», слово попросил Петрунчиков. Услышав эту фамилию, Водомеров настороженно поднял голову. Петрунчиков был примечательной личностью в городе. Он имел звание доцента и вел курс политической экономии в медицинском институте. Очень маленького роста, щуплый и верткий, как подросток, он носил большие роговые очки и завивал в парикмахерской густые светлые волосы. Петрунчиков отличался тем, что он всегда всё знал. Он мог рассказать анекдот о международной встрече дипломатов, воспроизвести острый разговор, якобы состоявшийся в Центральном Комитете с руководителями области, сообщить непременно в тоне «между нами» о тех или иных ожидающихся перестановках в руководящих органах города и области. Его любопытство простиралось, так сказать, и в сферу личной жизни и поведения окружающих его лиц. Он знал, кому и сколько платит алиментов директор филармонии, за кого собирается выйти замуж певица из оперного театра, так и не достигшая после шестикратных попыток устойчивости в своем семейном счастье, на сколько лет уменьшает свой возраст местная поэтесса, каким лекарством пользуется для повышения своей жизнеспособности престарелый профессор, женившийся на молоденькой аспирантке. Петрунчиков обо всем говорил с юмором, с улыбкой, и многие воспринимали это как признак жизнелюбия, оптимизма, как выражение того, о чем еще великий Маркс сказал: «Ничто человеческое мне не чуждо».

Но Водомеров, многие годы общавшийся с самыми разнообразными людьми, был стреляный воробей, и кажущийся оптимизм Петрунчикова не мог обмануть его. К тому же не раз он слышал от других, что Петрунчиков не чист душой. В городе поговаривали, что доцент пописывает в обком и ЦК то за студентов, то за уборщиц анонимные письма с клеветами, поддерживает и разносит сплетни, остороженько ссылаясь на какого-то мифического «одного научного работника», ловит всякого рода «сенсации» и порой, выказывая свою бдительность и используя то, что называется «ситуацией», выступает с обличительными речами.

Чутье не обмануло Водомерова. С первых же фраз речи Петрунчикова он понял, что «всезнающий доцент» будет говорить о научно-исследовательском институте.

— Уважаемые товарищи! — несколько патетически начал Петрунчиков. — Мы живем в пору, когда коммунизм, его зримые черты всё больше и больше обретают вещественное и материальное выражение. Прошло лишь два-три года с тех пор, как отшумела война, а взгляните вокруг, сколько чудес натворил в мирной обстановке советский народ. Но было бы непростительной ошибкой упрощать сложный процесс коммунистического строительства. Ведь мы должны строить не только новые города, заводы и села, мы должны строить новые души, а это самое сложное.

Петрунчиков поднял худощавое бледное лицо подростка и остановил свой бегающий взгляд на Водомерове. «Сейчас начнет говорить о Бенедиктине», — ощущая сильное сердцебиение, подумал Водомеров.

— В свете этого положения, — понизив голос и с угрожающей ноткой продолжал Петрунчиков, — мне странным кажется то, что ни до-

кладчик, ни выступающие в прениях совершенно не коснулись таких вопросов, как морально-этические вопросы. А всё ли у нас на этом участке в порядке? Нет, не всё! Весь город сейчас говорит о тех событиях, которые недавно произошли в научно-исследовательском институте. Почему же товарищ Водомеров отмалчивается здесь? Или не хочет выносить сор из избы?

— В чем дело? Говорите яснее! Что вы загадками занимаетесь? — послышались из зала нетерпеливые голоса.

— Я прошу минуту внимания! — возвысил голос Петрунчиков. — Я доложу пленуму всё, что было здесь недосказано.

Зал мгновенно затих, и Петрунчиков при всеобщем повышенном интересе собравшихся с увлечением опытного оратора рассказал о статье Бенедиктина в «Научных записках», о протесте Марины Строговой и, наконец, о ее разводе с мужем.

Петрунчиков пока ничего не преувеличивал и не перевирал, и Водомеров, слушая его, с удивлением думал: «Откуда всё это ему известно? Неужели в аппарате у меня завелись сплетники?»

В конце своей речи Петрунчиков поставил в патетической форме ряд вопросов перед райкомом, чем особенно взвинтил Водомерова. Наблюдая за лицами слушающих, Водомеров видел, что если он сейчас же не выступит и какими-то решительными доводами не опровергнет Петрунчикова, бенедиктинская история войдет в доклады партийных комитетов на конференциях и тогда поневоле придется выступать и каяться. От Водомерова не ускользнуло то, что другие, может быть, и не заметили: инструктор обкома Пашкова, сидевшая в уголке зала, когда заговорил Петрунчиков, поспешно вытащила из портфеля блокнот и, пока он выступал, непрерывно писала. «Для доклада секретарю обкома записывает», — отметил про себя Водомеров.

Выждав, когда в зале стихнут хлопки, вызванные эффектной речью Петрунчикова, Водомеров поднял руку и громко сказал:

— Николай Михайлович, прошу три минуты для справки.

Секретарь райкома, глядя в зал, спросил:

— Есть ли желающие выступить в прениях? Нет? В таком случае предоставляю слово товарищу Водомерову для справки.

Водомеров поднялся и, преодолевая волнение и негодование к Петрунчикову и в то же время какую-то робость перед таким широким и авторитетным собранием, спокойными, уверенными шагами зашел на трибуну.

— Товарищи! Выступление Петрунчикова могло бы принести пользу, если бы оно опиралось на действительные факты. Но товарищ Петрунчиков думал не о фактах, а о том, как похлеще предподнести пленуму сплетни... Да, сплетни... — Водомеров говорил, тяжело дыша, понимая, что если он не удержится на этом тоне и начнет нервничать, цель его не будет достигнута. Ему важно было всем своим видом подчеркнуть то, о чем он говорил: Петрунчиков раздувал здесь из мухи слона, он старался придать мелкому бытовому случаю, каким является рядовая размолвка между мужем и женой, чрезвычайное значение.

После первой же минуты Водомеров понял, что он близок к цели. В зале стало шумно: участники пленума переговаривались, переглядывались, многие, не скрывая своего нерасположения, поглядывали на Петрунчикова, сидевшего на стуле и сучившего своими коротенькими ножками по паркету. «Ага! Ты из этой табакерки не нюхаешь!» — с возторженным ожесточением подумал Водомеров, поглядывая на Петрунчикова.

— Я должен совершенно официально сообщить пленуму следующее.

научный работник Строгова возглавляет комплексную экспедицию в Улу-юлье. Завтра-послезавтра туда же выезжает ее муж, младший научный сотрудник Бенедиктин, — твердо заключил Водомеров.

Теперь в зале стало совсем шумно. Водомеров взглянул на Петрунчикова и не увидел его: тот стал таким маленьким, что вихрастая голова его скрывалась за спинкой впереди стоящего стула.

Но, проходя мимо Петрунчикова, Водомеров поймал обращенный на него доцентский взгляд: он был холодный, ненавидящий. «Ну, нажил еще одного смертельного врага», — подумал Водомеров, слегка морщась от острого покалывания в области сердца.

## 2

Григорий Владимирович Бенедиктин жил у матери. Конечно, квартира матери не имела тех удобств, к которым привык он, но всё-таки жить здесь было можно. Из большого дома, бывшего когда-то собственностью матери, ей принадлежала теперь одна четвертая часть.

Григорий был единственным сыном у матери, и она не чаяла в нем души. В ту же ночь, когда он пришел с чемоданом в руках и горькой grimасой на лице, мать уступила ему свою маленькую уютную комнату, а сама устроилась на диване в кухонке.

«Поселяюсь у тебя, мама, временно», — сказал Григорий и, помолчав, добавил, что он будет благодарен ей, если она не станет допытываться, что именно произошло между ним и Мариной.

Мать обещала. И вот уже несколько недель, втайне терзаясь за сына, она продолжала хранить свой обет.

Григорий лежал в кровати с книжкой в руках, когда в окно ударил ослепляющий свет фар и за стеной дома послышался хруст гальки под колесами автомобиля. Через минуту в дверь раздался стук. Бенедиктин быстро вскочил с кровати, торопливо надел пижаму и, стараясь опередить проснувшуюся мать, подошел к двери.

— Товарищ Бенедиктин, это я — Мартынов, шофер директора. Мне велено привезти вас в институт, — услышал Бенедиктин в ответ на свой вопрос: «Кто там?»

— Что стряслось, товарищ Мартынов? — обеспокоенно спросил Бенедиктин, открыв дверь.

— Не могу знать, — сказал шофер и продолжал стоять за порогом.

— Проходите.

— Спасибо. Я жду вас в машине. — И шофер исчез в темноте, ступившейся перед наступлением рассвета.

«Что же могло произойти? Уж не умер ли Захар Николаевич? Старик в последнее время часто жаловался на нездоровье. А может быть, что-нибудь произошло с экспедицией Марины?.. Но к чему такая срочность?» — раздумывал Бенедиктин, сидя в машине рядом с шофером.

Длинный массивный корпус института был погружен в темноту и выглядел так таинственно и загадочно, что у Бенедиктина засосало под ложечкой. Предъявив вахтеру пропуск, Бенедиктин беспокойно запетлял по темным коридорам. «Идиоты! Копейки экономят на электричестве, а того понять не хотят, что от этой экономии неудобство на душе», — про себя ругался Бенедиктин, прислушиваясь к протяжному гулу, который исходил от его ног.

Возле директорского кабинета Бенедиктин остановился и, вытирая платком вспотевший лоб, заглянул в полуоткрытую дверь. Водомеров си-

дел за столом, уставший и озабоченный. По обыкновению в кабинете стоял сумрак — горела только настольная лампа.

Бенедиктин потоптался возле двери и, сказав себе для ободрения: «Чему быть, того не миновать», вошел в кабинет. Водомеров сидел, откинувшись на спинку кресла, и, устремив взгляд куда-то в угол, сосредоточенно думал. Он так был увлечен своими мыслями, что на Бенедиктина даже не смотрел. Бенедиктин расценил это по-своему: «Пропал я! Видно, вспомнил меня кто-то из старых недругов», — подумал он и с полминуты постоял молча.

— Я прибыл по вашему вызову, Илья Петрович, — сказал, наконец, Бенедиктин, чувствуя, что он не в силах дальше переносить этого молчания. Водомеров дернулся всем своим полным, тяжелым телом и поднял заспанные глаза.

— Хорошо, Григорий Владимирович, хорошо, — усиленно растирая короткопалой рукой мясистое лицо и теребя седой ежик волос, сказал Водомеров.

То, что директор назвал его по имени и отчеству, и то, что в его голосе не послышалось никакой угрозы, приободрило Бенедиктина.

— Утомились, Илья Петрович, — выразил сочувствие Бенедиктин, видя, что директору немного не по себе от того, что его застали, так сказать, спящим на посту.

— Ужасно, ужасно. Никакой личной жизни. Скоро жена даст отставку, — позевывая, пробубнил Водомеров.

— На юг бы вам, Илья Петрович, в санаторий, — с еще большим сочувствием в голосе сказал Бенедиктин, присматриваясь к директору я стараюсь догадаться, что заставило Водомерова вызвать его в глубокий ночной час.

— Какой там юг! — безнадежно махнул рукой Водомеров и опять на минуту как бы впал в забытие. «Что же он тянет, почему ничего не говорит?» — думал Бенедиктин, томясь каждой секундой директорского молчания.

— Эх, Григорий Владимирович, нелегкая это штука — строить новый, социалистический мир, — глубоко вздохнув, сказал Водомеров.

— Устали вы, Илья Петрович, устали, отдохнуть вам надо. — Бенедиктин говорил только затем, чтобы как-нибудь заполнить паузы и облегчить свое изнеможение.

— Нет, братец мой, Григорий Владимирович, отдыхать не придется. Не то время. Ты знаешь доцента Петрунчикова? — не замечая своего перехода на «ты», спросил Водомеров, прежде называвший Бенедиктина только на «вы».

— Слышал. Из медицинского института.

— Правильно. Так вот этот Петрунчиков пошел на нас в наступление.

Как ни утомлен был Водомеров, он рассказал о выступлении Петрунчикова на пленуме райкома со всеми подробностями. Не умолчал и о своей краткой речи. Когда директор заговорил об этом, в его голосе послышались виноватые нотки: «Как, мол, хочешь, суди меня, Григорий Владимирович, а иного выхода не было».

Бенедиктин словно переродился. Всего лишь несколько минут тому назад он сидел напротив Водомерова в страшном смятении, придавленный тревогой и страхом, и самые мрачные мысли теснились в его голове. Ему казалось, что директор скажет что-то непоправимо ужасное. «Вот оно что: Петрунчиков! Ну, это еще терпимо, как-нибудь перенесем!» — приободрил себя Бенедиктин.

— Мудрый вы человек, Илья Петрович! — смело придвигаясь к сто-

лу и беря Водомерова за руку, воскликнул Бенедиктин. — Будь на вашем месте другой, менее опытный товарищ, плохо бы нам всем пришлось. Ох, как плохо!

Водомеров выпрямился в кресле и закашлял в кулак. Бенедиктин знал эту привычку директора — кашель был деланным, глуховато-добродушным. Директор заменил им слова: «А, что там считаться! Не первый год с людьми работаю, знаю, где и что сказать надо!»

Они помолчали, думая каждый о своем. «Зря я опасался, что не поймет он моего дальновидного хода. Видать, и он бывал не раз в сложных переделках», — думал Водомеров о Бенедиктине. А тот сидел, и мысли его уносились далеко вперед: «Как всё складывается! Сама судьба сводит меня с ней. Глупец я буду, если не воспользуюсь этим случаем. Там, в лесной глуши, она лучше поймет меня». В эти мгновения мысли Бенедиктина так высоко воспарили, что он видел себя в доме Великановых на правах полновластного хозяина. «А как Марина? — спросил он сам себя и тут же ответил: — А что Марина? Пусть себе живет, я мешать ей не стану...»

— Не знаю вот, как посмотрит на ваш отъезд Захар Николаевич, — прервав затянувшееся молчание, сказал Водомеров.

Бенедиктин словно очнулся. Он встряхнул головой и посмотрел на Водомерова с благодарностью. В самом деле, а как отнесется к этой затее профессор? Он загрузил Бенедиктина срочной работой, установил ему жесткие сроки по подготовке диссертации. Менять же своих решений старик не любит. Это давно и всем известно.

— Да, да, Илья Петрович, это вопрос законный, и вы хорошо сделали, что его поставили, я совершенно упустил из виду Захара Николаевича, — торопясь, проговорил Бенедиктин.

Водомеров промолчал, но по тому, как он забарабанил толстыми, короткими пальцами по стеклу, прикрывавшему стол, Бенедиктин понял, что директор испытывает затруднение.

— Я думаю, Илья Петрович, профессор не враг института, — говорил Бенедиктин с жаром, — он заинтересован в его расцвете и добром имени не меньше вас. Объясним ему: так, мол, и так. Партийные органы считают, что в Улуюльской экспедиции необходимо усилить партийный глаз, посоветовали сверх комплекта командировать члена партбюро...

Бенедиктин говорил, не глядя на Водомерова, но, сказав последние слова, он бросил на директора мимолетный взгляд и замер. Водомеров нахмурился, и даже при тусклом освещении было заметно, что лицо его стало багровым.

— Нет, нет, ваш проект не подходит, — сердито забубнил Водомеров. — Мы не можем обманывать Великанова. Хотя он беспартийный, у нас нет от него никаких секретов. Полное до-ве-рие!

— Ну как же, зачем же, я всё абсолютно понимаю, я лишь говорю, что это тоже истина, такие голоса раздавались на партбюро, и это могло быть очень убедительным для Захара Николаевича, — выкручиваясь из неловкого положения, сказал Бенедиктин.

— Нет, нет. Об этом не может быть и речи, — решительным тоном отрезал Водомеров. — Мы должны доложить Захару Николаевичу правду, — всё, как есть.

Говорить всю правду Великанову Бенедиктин не хотел. «Это не остроумный шаг, но деваться некуда, ничего другого здесь не придумаешь», — думал он с унынием в душе.

— Я полагаю, что Захар Николаевич противиться вашему отъезду не будет. Он любит дочь и беспокоится за нее ежечасно. А вы всё-таки,

где надо, и присмотрите за девушкой и поможете в трудную минуту.

Водомеров говорил все это мучительно долго. Он ворочал челюстями с усилием. Но всё-таки это было уже отступлением от его первоначального замысла, и Бенедиктин приосанился, его мысли вновь воспарились.

— Ну, конечно же, само собой разумеется, Илья Петрович! — всё больше и больше оживляясь, восклицал Бенедиктин. — Я ежедневно имею честь наблюдать, как страдает, как изводится в тоске учитель. Я прошу вас, Илья Петрович, в своей беседе с ним, так сказать, специально подчеркнуть эту сторону дела. Пусть для старика это будет утешением...

— А как же, скажу! Все мы люди, все человеки и живем не одной службой, — как бы в поучение и потому несколько живее сказал Водомеров.

— Совершенно верно! Более того: отмеченные вами свойства несколько не унижают даже великих мира сего. Они очеловечивают их, делают земными, как всех смертных...

Водомеров не дослушал Бенедиктина и громко зевнул, прикрывая рот толстой ладонью.

— Домой пора, Григорий Владимирович! Добрые люди вставать скоро будут, — Водомеров поднялся.

— Такова уж нелегкая доля руководителей, — испутив протяжный вздох, посочувствовал Бенедиктин.

— Да... — неопределенно протянул Водомеров и, замыкая стол и погромыхая связкой ключей на серебряной цепочке, сказал: — А только никто с этим считаться не станет. Чуть чего, тебе же в вину и поставят: дескать, сидел по ночам, себя замотал и людям не давал жизни.

— Ну, что вы, Илья Петрович! У кого же повернется язык сказать такое? Право же, это было бы высшей несправедливостью...

— Так вот что, Григорий Владимирович, — второй раз переходя на «ты» и не замечая этого, сказал Водомеров, — извини, но вначале доставь домой меня, а потом поезжай сам. Тут хоть разница в пятнадцать минут, а я просто уж обессилел.

— Пожалуйста, Илья Петрович, поступайте как удобнее. Я, если сказать честно, всё еще не утратил фронтовой привычки: два-три часа сна в сутки для меня вполне достаточно.

— Молодость. Кровь сильнее кипит...

— И это правда, Илья Петрович, — поспешил согласиться Бенедиктин.

Они вышли из института и сели в автомобиль.

Через полчаса Бенедиктина встретила в дверях обеспокоенная мать.

— Что-нибудь случилось, Гриша?

— Всё идет нормально, мама, — сбрасывая с себя шуршащий макинтош, сказал Бенедиктин. Мать вопросительно смотрела на сына.

— Собери мне, мама, завтра чемоданчик с самыми необходимыми вещичками. В командировку отправляют, к Марине в Улюлюльскую партию.

— Вот как! Значит, все ваши дела уладятся сами собой?

Посмотрим, мама, посмотрим. Ты знаешь меня, я не люблю преждевременно делиться своими замыслами, — сказал Бенедиктин, проходя в свою комнату.

— Ну иди, иди, отдыхай, не сердись, — мелко и суетливо крестя сына в спину, прощентала мать.

## Глава девятнадцатая

## 1

В Москве в одном из переулков Арбата, в старом каменном доме жил профессор, доктор экономических наук Андрей Каллистратович Зотов.

«Андрюша», как обычно называл его Максим, был самым близким, самым дорогим, самым доверенным человеком из всех мужчин, с которыми Максим Строгов когда-либо водил дружбу.

Объяснялось это общностью судеб этих людей и сходством взглядов и отношений к различным сторонам человеческого бытия. Первые двадцать лет жизни Максим Строгов и Андрей Зотов прошли плечом к плечу.

Они родились в один год, в одной и той же деревне. В гражданскую войну, совсем еще мальчишками, они были призваны в колчаковскую армию. Совершив оттуда побег, они примкнули к партизанам, воевали за освобождение своего края, а когда война окончилась, вступили в комсомол, работали инструкторами уездного комитета РКСМ, оба закончили рабфак.

После рабфака пути их разошлись. Максим, тяготевший к философии и естественным наукам, поступил на физико-математический факультет, а Андрей на геолого-разведочный. Потом партия направила их в институт Красной профессуры: Андрея на экономическое отделение, а Максима на философское.

По окончании учения Андрей Зотов остался в Москве на ответственных постах в центральных органах, Максим Строгов уехал в Сибирь, где работал то на партийной работе, то директором политехнического института.

В годы Великой Отечественной войны с немецким фашизмом Андрей попрежнему жил в Москве, совмещая работу в Госплане с ведением курса в одном из экономических вузов столицы. Максим добился мобилизации его на фронт и командовал вначале артиллерийским дивизионом, а потом артиллерийским полком РГК (резерва главного командования).

По-разному сложилась у друзей и семейная жизнь: Максим рано женился, Андрей после неудачной любви к Марине Строговой затянул свою холостяцкую жизнь на долгие годы.

Чем старше становился он, тем сложнее ему было выбрать подругу жизни. Наконец, незадолго до войны, когда Андрею Зотову перевалило за тридцать пять лет, он женился на пианистке из Московского Гастробюро.

Жена часто разъезжала с концертами, исчезая из Москвы то на неделю, то на две, то на месяц. Всю нежность и ласку, которые оставались нерастраченными в душе Андрея, он обратил теперь на жену, считая себя человеком редкого и завидного счастья. Правда, частые разъезды жены несколько омрачали существование Андрея, но они же и создавали состояние постоянного волнения и беспокойства, которые всегда сопутствуют настоящей глубокой любви.

Но счастье Андрея Зотова было недолгим. В начале июня жена уехала на гастроли в Минск. В день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз она попала под бомбежку. Сильная, сокрушающая всё на своем пути волна горячего воздуха оторвала хрупкое тело молодой женщины от земли и со страшной силой ударила его об каменный угол уже рухнувшего здания.

Тяжкими были муки Андрея, сразу утратившего счастье и приобретенного горе. И будь это горе одиночным, оно могло бы надломить его, но война тем и отвратительна, что она плодит человеческое горе ежечасно и ежеминутно.

Андрей увидел горе других, он проникся сознанием великого бедствия, обрушившегося на плечи народные, и в душе его, как в горне, выплавилась та особая сила, которую люди называли стойкостью.

...Последние двадцать лет Максим и Андрей, живя в разных местах, встречались не часто, с промежутками в несколько лет, но это не уменьшало их тяготения друг к другу, которое горело в их сердцах всегда и везде, как негасимое пламя.

## 2

Зотов ходил по комнате из угла в угол. Временами он останавливался возле своего письменного стола, брал из портсигара папиросу и продолжал ходить.

Час тому назад профессор Зотов вернулся из Центрального Комитета партии. Беседа, состоявшаяся там с одним ответственным работником, до крайности взволновала его. Профессору Зотову поручалось выехать в Сибирь, в Высокоярскую область, и на месте ознакомиться с возможностями развития Улуюльского края. Ответственный работник ЦК сказал Зотову, что миссия его будет нелегкой: материалы по Улуюльскому краю более чем скудные, а вопросом интересуется товарищ Сталин.

Высокоярск! Высокоярская область! Один звук этих слов поднимал в душе Зотова такие чувства, которые невозможно было даже приблизительно, самому для себя обозначить каким-нибудь одним словом. В этих чувствах соединялось в сложном конгломерате несоединимое: тоска с радостью, раздумье с веселостью, спокойствие с порывом.

Зотов прожил в Москве многие годы и считал себя кадровым москвичом. Правда, о родной области, в которой он родился и вырос, он вспоминал часто, но с той внутренней невозмутимостью, с какой вспоминают люди о событиях или годах, давно прожитых и невозвратных.

Он никогда не подозревал, что в его душе до сих пор сохранилось столько живых и трепетных ощущений, которые могут вспыхивать и гореть таким мятежным огнем, какой он чувствовал в себе сейчас, после разговора в Центральном Комитете.

Зотов ходил, ходил без устали. Это доставляло удовольствие. Мысли текли плавно и широко, как течет река в половодье. В памяти всплывали отдельные сценки, пережитые в детстве и юности, лица родных и близких людей, обрывки только что состоявшегося разговора в Центральном Комитете. Всё это было окрашено одним общим чувством светлого и радостного волнения, которое как бы окрыляло душу и придавало собственному существованию особое значение.

Летний день близился к концу. На синеватые стекла продолговатых окон легли оранжевые пятна заката. Зотов не замечал, что время движется, что пора ехать в институт на заседание ученого совета.

— Андрей Каллистратович, шофер у подъезда, — послышался из-за двери голос женщины, приходившей к Зотову убирать в квартире и готовить пищу.

Зотов остановился посередине комнаты, взглянул на ручные часы и вдруг почувствовал, что он не может сейчас покинуть свой дом и переменить строй мыслей и чувств. Всё, всё, что происходило в его душе в эти минуты, было дорого ему, и он берег это состояние, зная, что оно исчезнет, стоит только столкнуться с делами института.

«Нет, братцы, сегодня вы меня на заседание калачами не замани-те», — сам себе сказал Зотов и направился к столу, чтобы позвонить секретарше и предупредить ее, что он на заседание не приедет. Но когда до стола оставался один шаг, телефон запел протяжным, настойчивым звонком. Зотов заколебался: брать трубку или нет? Мог звонить директор института, любивший перед заседаниями предварительно «советоваться» с Зотовым по вопросам, поставленным на повестку дня ученого совета. Обычно Зотов охотно разговаривал с ним, но сейчас у него не было ни малейшего желания вступать в беседу, которая могла затянуться на четверть часа, а то и больше. «Не возьму трубку», — решил Зотов. Телефон прозвенел еще раза два-три и смолк. Теперь надо было отпустить шофера. Зотов приоткрыл дверь кабинета и попросил домработницу сказать шоферу, что поездка не состоится.

Захлопнув дверь, Зотов прошел в угол кабинета, где стояла поблескивавшая черным лаком качалка, сел в нее и, попыхивая папиросным дымком, закрыл глаза.

У чувства тоже есть своя инерция. Эта сила инерции в тот же миг подхватила помыслы Зотова и вернула его в прежнее состояние. Он положил ногу на ногу и, слегка покачиваясь, думал, наслаждаясь одиночеством, которое, несмотря на обстоятельства его личной жизни, редко выпадало ему. С утра до ночи он жил в напряжении, с трудом вырывая редкие часы для своих научных занятий. Ему приходилось общаться с сотнями, если не тысячами людей, начиная с руководителей союзных хозяйственных и научно-исследовательских учреждений и кончая аспирантами и студентами экономического вуза.

Телефон вновь огласил комнату несколькими протяжными звонками. Зотов посмотрел на аппарат невидящими глазами и продолжал сидеть покачиваясь. В эту минуту мысленно он представлял себя в охотничьей лодке, между крутых лесистых берегов реки Таежной. Досконально зная, как переменилась всюду жизнь, как даже в самых далеких углах страны сложился новый уклад, Зотов не мог вообразить себя летящим в самолете над улулюльской тайгой. В этом тоже сказывалась инерция чувства, которое могло перемениться лишь родившись заново от столкновения с действительностью.

Минут через пять телефон зазвонил вновь. Звонки были протяжные, до ожесточения громкие и какие-то даже повелительные. Кто-то хотел разговаривать с Зотовым во что бы то ни стало.

— А, чорт вас возьми! — выругался Зотов, вскакивая с качалки и беря трубку.

— Слушаю вас! — сердито сказал он. Но голос его осекся, и на рассерженном лице на мгновение изобразился конфуз, а потом улыбка.

— Да ты где? Откуда говоришь? Ну, иди скорее, жду тебя, иди! — с горячностью прокричал в трубку Зотов.

Оказывается, настойчиво звонил к Зотову не кто-нибудь, а Максим Строгов! Час тому назад он приехал с Внуковского аэродрома и, выйдя из машины на Арбатской площади, направился к другу на квартиру, позванивая к нему из будочек телефонов-автоматов, зная, что вот-вот он должен вернуться с работы домой.

Еще минуту тому назад медлительный и сосредоточенный, Зотов носился теперь по кабинету, освобождая диван и стулья от залежей газет, журналов, книг и папок с рукописями.

«Как он во-время приехал! Ни раньше и ни позже, а в тот час, когда он особенно мне нужен!» — думал Зотов, испытывая новый прилив радости, которая в этот памятный день так щедро омывала его душу.

## 3

Друзья сидели в столовой друг против друга. Будучи одногодками, они не походили на ровесников. Максим был ширококостный, крупноголовый, с сильными, толстыми в кисти руками, спокойным, довольно упитанным и моложавым лицом. На Максиме был светлосерый костюм, шелковая нежносиреневая сорочка без галстука. Рядом с Максимом Андрей казался старше. Он был худощавым, тонким, с бледным и усталым лицом. Андрей носил длинные, зачесанные назад волосы, стриженные чуть ли не под кружок. Часто по прическе его принимали то за художника, то за поэта. Цвет волос у Зотова был необычный: золотисто-ржаной. Многие думали, что он красит волосы оригинальности ради. Зотов носил очки типа «патент» (стекла без ободков, а дужки металлические, позолоченные).

Очки придавали его неулыбчивому лицу и неторопливому взгляду светлокариых глаз жестковатое, сосредоточенное выражение. Зотов ростом был выше Максима, но сидя он сутулился и казался меньше своего товарища.

Зотов любил коричневый цвет. И сейчас всё на нем было светлошоколадное, однотонное: широкий костюм, рубашка с тугим высоким воротником, галстук, туфли.

На круглом столе, возле которого они сидели, стояла бутылка виноградного вина и тарелки с закусками. Максим мог пить всё, начиная с пива и кончая спиртом. «Двести грамм любого зелья выпью без вреда для здоровья», — в шутку о себе говорил Максим. Особой пользы от выпивки Максим не ощущал, вкуса питья не испытывал, чаще всего совершенно не хмелел и признавал право выпить лишь в том случае, когда видел, что вино рождает в людях доверчивость и расположена к задушевной беседе.

Зотов пить вино избегал. Временами у него случались приступы боли в почках, и он берег себя. Только в исключительных случаях Зотов выпивал две-три рюмки. Сегодня как раз был такой исключительный случай, когда невозможно было не выпить. Друзья не виделись четыре года, с тех пор, как Максим, пройдя в 1943 году краткосрочные курсы при одной из военных академий, получил назначение командовать артиллерийским полком и уехал снова на фронт.

— Ну, ты расскажи, пожалуйста, расскажи, как живешь, какие у вас там у всех новости? И не торопись, а подробно, — разливая вино в рюмки и улыбаясь помолодевшим и как-то сразу пополневшим лицом, сказал Зотов.

— А может быть, с тебя, Андрюша, начнем, а?

— Нет, нет, обо мне разговор в последнюю очередь. Самое главное, что произошло сегодня, я тебе сказал, а остальное несущественно. Давай уж ты! Пойми! Не терпится!

— Ну, с кого же начать? — задумался Максим.

— Начиная с самых близких!

— Что ж, с Настеньки придется. Ближе никого нет.

— Ну, как она, милая Настасьюшка, жива-здоровая? — Зотов посмотрел на Максима. Глаза их встретились. И Максим и Зотов вспомнили какие-то сценки из прошлого, связанные с этим протяжным, ласковым именем «Настасьюшка», и заулыбались. Так, согретья свои сердца воспоминаниями о юности, с улыбками на губах, они сидели молча, не в силах начать свою беседу.

— Ну вот, значит, приехал я домой, — наконец заговорил Максим, преодолевая какое-то внутреннее затруднение и потому тяжело дыша. —

Настенька встретила меня и с радостью и с настороженностью. Как-никак — не виделись мы с ней больше четырех лет! Я чувствовал, что она пристально и придирчиво изучает меня. «Ну-ну, покажись, каков ты теперь?» Этот вопрос так и стоял в ее глазах. И представь себе: я испытывал то же самое! Мы как бы заново сближались, отмечая про себя все перемены, происшедшие в нас.

Я уехал на войну, когда Настеньке шел тридцать шестой год. Она жила тогда с поколением тридцатилетних. А теперь я встретил ее сорокалетней. И возраст и трудная жизнь военного времени оставили на ней свой след.

Постарела ли? Нет. Я ждал, что она внешне больше изменилась. А вот в характере появились новые свойства. То вдруг ходит веселая, разговорчивая, дурит с ребяташками, то замолчит, задумается, станет равнодушной к своим привычкам и вкусам. Ведь знаю я ее, как себя.

Недавно проводил ее в экспедицию в Улулюье. Задалась она большой целью — открыть в Улулюье курорт. Летел я сейчас и всё о ней думал: «Как она там? Какой вернется? Увлечет ли ее эта работа дальше?» Счастлив я с ней, Андрюша. Долгая разлука, жизнь в тревоге друг за друга так нас опять соединили, что мне страшна становится от одной мысли: а вдруг это может когда-то исчезнуть, утратиться...

Они снова замолчали, не спеша подняли рюмки, чокнулись.

— За ваше с Настенькой счастье, Максим, — сказал Зотов. — Ну, а детишки как? Олюшка теперь большая, почти девушка, — продолжал спрашивать он.

— Время идет, Андрюша. Выросли и ребяташки. Первые встречи у меня с ними были довольно сдержанные. Был я для них фигурой и желанной и загадочной. Приглядывались они ко мне. «Ну-ну, дескать, посмотрим, что это такое — папа! Не вздумает ли он как-нибудь перетряхивать всю нашу жизнь? Не занесет ли руку на наши порядки, введенные мамой?» Но все эти тревоги и опасения, конечно, быстро рассеялись.

Потом ребяташки принялись за боевое прошлое своего отца. Ордена, медали, орденские книжки, фотографии, типографские листовки с приказами Верховного Главнокомандующего, — всё это было подвергнуто самому тщательному просмотру. Чаше всего я слышал от них один и тот же вопрос: «Папа, а ты сам сколько убил врагов?» Иной раз казалось мне, что это спрашивают с меня отчет не только дети мои, а новое поколение людей, перед которыми мы в ответе. И ты знаешь, Андрюша, в такие минуты мое чисто личное чувство умиления собственными детьми смешивалось с большим и гордым чувством за наше поколение. Какие только испытания не выпали нам на долю, и нигде и ни в чем не уронили мы своей чести!

За годы войны поотвык я от оседлой жизни в семье. И в первые недели были моменты, когда я против воли раздражался какими-то житейскими мелочисками. Там, вне семьи, в своих личных поступках я целиком зависел от себя, от своих побуждений и желаний, а тут, под крышей родного очага, я был с женой и детьми, и мне пришлось снова привыкать к этому.

По-хорошему нынче я должен был бы отправиться с ребяташками в какое-нибудь маленькое путешествие. Тянутся они ко мне, и чувствую, что это влечение мне необходимо поддержать. Мечтаю повозить их по местам своего детства и юности. Но нынче вряд ли это удастся. Загадываю на будущий год...

Максим долго молчал. Он взял папироску и осторожно разминал ее в пальцах. Зотов терпеливо ждал, когда Максим продолжит свой рас-

сказ. Лицо у Зотова было спокойным и серьезным и только одни глаза сверкали из-под очков горячим, ненасытным интересом к Максиму. «Теперь ему надо о Марине рассказать. Ждет, наверное. Может быть, не всё еще перегорело в его душе», — подумал Максим.

Любовь Зотова к Марине ни для кого из людей, окружающих их, не была секретом. Зотов полюбил Марину, когда та была еще угловатым подростком. Когда Марина стала студенткой, Зотов предложил ей стать женой. Марина затягивала с ответом, а Зотов всё ждал, ждал. Переехав из Сибири в Москву, он не перестал зазывать ее к себе.

Максим знал, что, вступая в брак с артисткой, Зотов не скрыл перед нею своего долголетнего чувства к другой женщине. Он честно сказал ей, что на земле живет женщина, которую он любит так, как полюбить уже больше никого не сможет. Но та женщина далеко-далеко, она вся в прошлом, и, самое главное, — она не разделяет его чувства. Артистка всё поняла, как может понять умная, добрая женщина, уже пережившая молодость и вступившая в тридцатый год своей жизни

Правда, письма Марины были собраны и уничтожены, но ее давняя фотография, на которой она изображена худенькой и невидной девушкой в обнимку с мордастой собакой, так и осталась висеть в кабинете Зотова над его большим столом.

Максим взглянул сейчас на эту фотографию сестры и опять невольно подумал: «Да, да, видно, не всё еще перегорело в его душе».

— Ну, кто там у меня дальше, Андрюша? Артем, Марина, сам я... Пожалуй, расскажу кое-что о Марине, — раздумывая вслух, сказал Максим. Он взглянул на Зотова, на его плотно сомкнутые губы, на глаза, устремленные куда-то в синевшее предвечернее небо. Ничто не переменилось в лице Зотова при имени Марины. Он сидел, как каменный. «Столько лет, время сделало свое. Переболел Андрюша, переболел», — подумал Максим.

— Марина, — с напряжением в голосе начал Максим и вдруг, помолчав, весело засмеялся. — Вот теперь мы оба с ней уже в годах, а я часто воспринимаю ее такой, какой она была в детстве: в длинном платьишке, с косичками, которые торчат, как овечьи хвосты, босая от снега до снега и всегда с мальчишками. Недавно был такой случай: она пришла к нам, начала что-то говорить о серьезном. Я слушал-слушал ее и расхохотался. Марина даже опешила, спрашивает: «Что так тебя рассмешило?» А мне вдруг представилась она той, с косичками, и так это не вязалось с тем, что она говорила...

Сам знаешь, Андрюша, как любит она свое дело. Давно уже подготовила докторскую диссертацию, но защищать не спешит, выжидает, что-то ее удерживает. Может быть, излишняя требовательность к себе. Недавно проводили ее в экспедицию. Хорошо, что Настенька вместе с ней, Мариша не привыкла управлять людьми, да и экспедиция досталась ей нелегкая...

Максим прервал свой рассказ и взглянул на Зотова. Тот сидел в той же позе, с окаменевшим лицом.

— Говори, пожалуйста, говори, — глухо сказал Зотов и, чтоб Максим не увидел его потемневших и увлажнившихся глаз, отвернулся. Максим понял, что он ошибся со своим поспешным выводом: «Переболел, Андрюша, переболел».

А в душе Зотова словно всколыхнулось что-то. Вспомнилась юность, студенческие годы в Сибири, как живая, вся в белом, с сияющими коричневыми глазами предстала перед мысленным взором Марина.

Марина... О ней можно было забыть на время, но вытеснить ее образ из души навсегда Зотов не мог. Это чувство было подобно незаживаю-

щей ране на теле: хочешь, не хочешь, а она напоминает о себе. И пока к ней не прикасаешься, ее можно терпеть, но стоит только чуть-чуть тронуть ее, — подымается такая боль, что хоть кричи на весь белый свет.

Максим на мгновение заколебался: «А надо ли беречь его душу? Не лучше ли скорее заговорить об Артеме?» Но Зотов почувствовал колебания Максима и нетерпеливо взглянул на него, как бы говоря: «Ну, что же ты замолчал?»

— Ну, что тебе еще о ней сказать? — продолжал Максим, подбирая слова, чтобы рассказать о личных неудачах Марины, но слова эти как нарочно на память не приходили.

— Личная жизнь, Андрюша, у Марины не клеится, — сказал, наконец, Максим, не найдя других более гибких и менее определенных слов, — муж ее оказался, должно быть, птицей невысокого полета, хотя, как говорится, по анкетным данным, у него всё есть: фронтовик, орденосец, член партии, научный работник. Недавно он опубликовал статью в «Ученых записках». Подпись его, а факты маришины, из ее докторской диссертации. Думаю, что это и переполнило чашу ее терпения. Разъехались.

Зотов порывисто поднял рюмку и, стараясь быть спокойным, сурово сказал:

— Давай выпьем за Марину. Чтоб переборола ее душа подлость людскую и чтоб не согнулась она от всех невзгод. — Зотов поднял глаза и посмотрел на фотографию Марины, словно хотел, чтоб она сама услышала его слова.

— Давай выпьем, Андрюша, с верой в ее звезду, — поддержал Максим.

Они дружно выпили и закусили кусочками колбасы.

— Ну, про Артема много говорить нечего, — возобновил свой рассказ Максим. — У него все без особенных перемен. Седьмой год секретарствует в Притажном. Был я недавно у него в гостях. Постарел Артем и, кажется, засиделся на одном месте. Хорошо, что Мариша с Настенькой поживут у него в районе.

— Да уж Настасьюшка расшевелит хоть кого! Помнишь, как она заставила нас танцам учиться? Я-то какой тогда увалень был, а поди ж ты — обучила наперекор всему, — засмеялся Зотов, повеселевшими глазами поглядывая на Максима.

— Ну, а ты, Максим, как? Вошел в курс мирного дела? — снова переходя на серьезный тон, спросил Зотов.

Максим откинулся на спинку стула, приподнял голову в задумчивости. Зотов задал ему трудный вопрос, над которым он и сам много размышлял за последнее время.

— Ну, как тебе сказать, Андрюша? Если считать вхождением в курс дела знание того, что и где делается в области, то, пожалуй, я уже на высоте. Но не в этом дело...

— Руководитель должен знать положение вещей. Это первое и элементарное требование, — заметил Зотов.

— Согласен. Но, чтобы руководить правильно, руководитель обязан выработать общий взгляд на обстановку. Это определит его принципиальную линию в работе, вооружит перспективой...

— Ты прав.

— Я еще не выработал этого общего взгляда...

— Но ведь это и не такая простая штука. Умозрительно общего взгляда не выработаешь, он, вероятно, должен сложиться в ходе жизни.

— Конечно же, Андрюша, ты прав. Качества, о которых я говорю, складываются в борьбе.

— А ты еще слишком мало времени сидишь в обкоме, Максим

— И это верно, Андрюша. Пока я изучил лишь тенденции, которые таит в себе жизнь, и мало, очень мало сделал, чтобы воздействовать на развитие их в нужном направлении.

— Я вижу, что ты недоволен собой.

— Я рад, Андрюша, что судьба вновь сводит нас на одно общее дело.

— Ну, давай выпьем за наши будущие успехи, Максим, — энергично сказал Зотов, со звоном ударив своей рюмкой об рюмку Максима

— Ты забыл сегодня, Андрюша, о своих почках, — улыбнулся Максим.

— А, черт с ними, с почками! Живем на свете один раз! — И Зотов выпил свою рюмку с такой лихостью, что Максим не утерпел и весело рассмеялся.

Они просидели за столом до позднего вечера. Зотов второй раз со всеми подробностями рассказал Максиму о своей сегодняшней беседе в Центральном Комитете, а Максим долго и обстоятельно говорил о поездке в тайгу, о дискуссии в научно-исследовательском институте, о людях, которых он встретил на просторах Уллуля.

Было уже половина двенадцатого ночи, когда Максим предложил выйти из дому и прогуляться.

— Давно, Андрюша, я не бродил по московским ночным улицам, кажется, с тех пор, как закончил институт Красной профессуры. Бывало, начитаешься «Феноменологии духа» Гегеля или «Критики чистого разума» Канта до ломоты в висках, выйдешь на улицу и ходишь, пока усталость из головы не переместится в ноги.

— Пойдем, Максим, вспомняем старинку. И я ведь таким же способом Смита и Рикардо переваривал, — вставая из-за стола, сказал Зотов.

#### 4

Они шли не спеша. После томительного жаркого дня приятно было ощущать прохладный ветерок, проникавший под костюм и освежавший всё тело с головы до пяток. Улицы еще не спали, но паузы между пробегавшими автомобилями делались всё длиннее и длиннее. Прохожих становилось также всё меньше и меньше. Выпадали уже кварталы совершенно пустынные, с темными окнами в домах, с тусклыми ночничками над таблицами с номерами и названиями улиц и переулков.

На Манежной площади Зотов и Максим попали под людскую волну, катившуюся с говором и гамом от парадных подъездов Большого и Малого театров, где только что закончились вечерние представления. Но живая эта волна была подобна быстротечному горному потоку после короткого ливня. Прошумела и стихла.

Зотов и Максим вышли на прогулку с намерением «вспомнить старинку», но не прошлое, а будущее владело сейчас их чувствами и мыслями. Максим горячо спрашивал Зотова, как человека более осведомленного, о том, что делается в центральных органах, какие мероприятия ожидаются по скорейшему подъему народного хозяйства и культуры, в каком направлении пойдет жизнь теперь, когда желанный мир выстрададан и завоеван.

— Ну, первую послевоенную пятилетку знаешь, — говорил Зотов, слегка склонив голову к Максиму, — уже теперь ясно, что по многим

показателям она будет превзойдена. Думаю, что на очереди — укрепление наших финансов. Война изрядно расстроила финансовое хозяйство, продиктовала свои требования к нашей денежной системе. Положение с финансами будет исправлено. Значение рубля возрастет не только внутри страны, будет поднята его роль на международной арене...

— Хорошо, правильно, очень хорошо, — сам для себя говорил Максим.

— В Госплане у нас, Максим, стоят горячие дни и ночи, — продолжал рассказывать Зотов. — Первая послевоенная пятилетка еще в действии, а мы уже усиленно работаем над проблемами второй и даже третьей пятилетки. И Центральный Комитет, и правительство, и сам старик (так уважительно и тепло Зотов и Максим называли между собой Сталина) не дают нам никаких отсрочек и промедлений.

— Каков он? Ты давно видел его? — спросил Максим, и хотя он не назвал имени, Зотов понял, что тот спрашивает у него о Сталине.

— Видел его несколько дней назад на Совете Министров. Постарел он и изменился. Да и как не постареть! Какие годы прожили мы! Какое напряжение и какой нечеловеческий труд выпал на его плечи!

— А у меня в памяти он всё еще такой, какого я видел его в Сибири, в Рубцовке. Ему было тогда сорок восемь лет, и, едва увидев его, я вспомнил его собственные слова о Ленине: горный орел, не знающий сомнений и страха в борьбе, — с чувством сказал Максим.

— Он таким и остался. Годы делают взор орла более прозорливым, а взмах крыльев — более уверенным.

— Да, Андрияша, такой народ, как наш, не мог выдвинуть руководителей другого типа. Наши вожди сложились по образу и подобию самой партии, а партия — это ум, честь и совесть эпохи. И ты знаешь, в трудные дни войны, когда всё наше дело подвергалось неслыханному испытанию, я много раз думал: «Какое это счастье, что во главе народа стоят руководители, коллективный опыт которых прошел не одну историческую проверку!»

— И я, Максим, об этом много думал. Думаю часто и теперь. Давно ли мы начали мирную жизнь? А посмотри, какие горизонты открываются перед нашей страной! Восстановление разрушенного войной народного хозяйства — это первая ступень. Как только мы на нее встанем, мы так двинем производительные силы, что это даже трудно себе представить. Мы уже трижды изумляли человечество своими деяниями. Первый раз, когда мы, никем не признанные, разутые, раздетые, голодные, сбросили старый строй и наперекор желаниям врагов, соединивших свои усилия, удержали власть. Второй раз это было тогда, когда Россию крестьянскую, отставшую, неграмотную мы сделали страной индустриальной и колхозной. И третий раз — совсем недавно. Человечество было потрясено силой нашего патриотического подвига на поле брани с врагом. Я убежден, что недалек тот момент, когда мы изумим человечество размахом преобразования нашей страны, уровнем благосостояния наших людей. У нас всё есть для этого.

— Мне часто, Андрияша, вспоминаются слова Ильича из статьи «Главная задача наших дней», написанной им в 1918 году. Эти слова звучат, как замечательные стихи. Послушай! «У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь».

— Действительно могучую и обильную Русь, — вслед за Максимом, так же, как он, растягивая слова, повторил Зотов.

Они миновали Исторический музей и вышли на Красную площадь.

От прожекторов, стоявших на крыше ГУМа, по площади из конца в конец разливался неяркий ровный электрический свет. При этом мягком свете Максим утратил ощущение расстояний, разделявших одну деталь площади от другой. Ему показалось, что Ленинский мавзолей, собор Василия Блаженного с памятником Минину и Пожарскому и Лобным местом, Кремлевские дворцы и башни с зубчатой стеной и резными игольчатыми елями, — всё это — монумент, высеченный одними руками, из одного материала. «Что же, это так и есть, — подумал о своем чувстве Максим. — Этот монумент возводился веками. Его материал — жизнь, его мастер — народ».

Максим был настроен приподнято. Вся их с Зотовым беседа рождала в душе одухотворение, которое захватывало его всё больше и больше, подчиняло себе тело — мускул за мускулом, вытесняло прочь усталость от длительного полета и разливало по всем членам ощущение бодрости и нерастроченной силы.

Максим хотел сказать Зотову о своих мыслях, но тот опередил его:

— Представь себе, Максим, тысячи раз я проходил по Красной площади и всегда, ступив на эти камни, я чувствовал волнение. Здесь как-то по-особенному ощущаешь, что ты — не просто ты, а часть величайшего государства, винтик сложного механизма, соединившего прошлое с грядущим.

— Вот ведь и я об этом думаю, Андрюша.

Они замолчали, и всё так же не спеша, погруженные каждый в свои чувства, прошли по Красной площади.

Перед ними лежал широкий, залитый светом Москворецкий мост. Он был пустынным и от этого казался еще более обширным. По осевой линии моста, разделявшей его на две половины, по которым в обычные часы оживления шумели встречные потоки людей и машин, медленно и торжественно шагал милиционер.

Зотов и Максим дошли до того места, где мост нависал над темным, тихоплескавшимся от ветерка руслом реки, и остановились, чтобы закури́ть и насладиться видом переливавшихся огней, ласковым небом, тишиной, всё сильнее охватывающей великий город.

— Постоим тут, Максим, подышим полной грудью, — предложил Зотов. — Ишь, как тут пахнет влагой.

Максим достал из кармана пиджака портсигар с папиросами, спички, и они не торопясь закурили, поглядывая то под мост, в темень, то ввысь, в бескрайнюю ширь зарева, стоявшего над Москвой.

— Ну и что же, Андрюша, выпадает по тем планам, над которыми Госплан ломает головы, на нашу матушку-Сибирь? — попыхивая пахучим дымком, спросил Максим, возвращаясь к прерванному разговору.

Зотов словно ждал этого вопроса. Он приблизился к Максиму, отбросил за высокие перила моста не потухшую еще спичку и тоном, по которому чувствовалось, что он рад вернуться к этому разговору, сказал:

— То, что было сделано в Сибири, в сущности, только начало. Ее возможности поистине неисчислимы. Тебе ли говорить об этом? Думаю, что развитие края пойдет по двум направлениям: будут совершенствоваться и расширяться существующие производственные районы, а вместе с этим возникнут новые мощные экономические очаги. В Сибири, как нигде, есть все условия к организации хозяйства на базе всесторонних, комплексных связей самых разнообразных отраслей индустрии и земледелия. В этом духе, вероятно, и будут направляться наши усилия...

Милиционер давно уже заметил, что два гражданина остановились на мосту, стоят себе, покуривают, бросают непотухшие спички

в реку, где может оказаться в этот момент либо припоздавший речной трамвай с людьми, либо (что еще хуже!) грузовое судно с легко воспламеняющимися продуктами. Поразмыслив немного о своем долге, милиционер свернул с осевой дорожки и пошел к Зотову и Максиму. «Граждане, стоять так долго на мосту не рекомендуется!» — хотел сказать он, но, не вымолвив ни одного слова, круто повернул и, стараясь ступать как можно осторожнее и мягче, удалился. «Пусть себе граждане беседуют на речной прохладе», — подумал милиционер, увидев, с каким увлечением, не заметив даже его приближения, разговаривали в глухой ночной час два товарища.

Конец первой книги.

---

---

*Михаил Найдич*

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ЭТО ДОЛГ

О всех сказать  
я даже не пытаюсь —  
Каких у нас профессий только нет!  
Но редко кто, на службу отправляясь,  
Берет  
на всякий случай  
пистолет.  
Чтоб оградить от лиха наше счастье,  
Чтоб людям  
дисциплины дать пример.  
Идет на службу представитель власти —  
Простой советский милиционер.  
Ты видишь? — он уходит в грозный ливень,  
Горят огни, по мостовой скользят...  
Пусть в новой теме я декларативен,  
По равнодушным тоже быть нельзя!

Улыбкою смущение стирая,  
Давай преподнесем ему цветы.  
Ему же друг, порою нехватает  
Людской,  
обычной  
нашей теплоты!  
Бывает, с равнодушием на лицах  
Мы избегаем неприятных встреч,  
А нет, чтобы помочь,  
как говорится,  
Поступки нарушителей пресечь.  
Ведь постовой, храня людское счастье,  
Дает нам часто мужества пример...  
Всегда на службе представитель власти —  
Простой советский милиционер!

### ОБЪЯСНЕНИЕ САШИ ПЕТРОВА

На него вы глядите влюбленно,  
Чуть застенчиво, чуть устало.  
Но, взглянув на его погоны,  
Вы вздыхаете — звездочек мало.

Он недавно лишь службу начал  
Потому огорчить вас смеет:  
Не имеет собственной дачи  
И машины своей не имеет.

Но зато — спросите любого —  
В час, когда приходилось туго.  
Лейтенанта Сашу Петрова  
Знали все как верного друга.

Он дает вам большую дружбу,  
Но взамен возьмет — тоже дружбу.  
Вам любовь большую дает,  
Но притворства взамен не возьмет.

Пусть пред вами дорога крутая.  
Только вам ли ее бояться?  
Вы ж совсем еще молодая,  
Вам же только неполных двадцать.

Может, ждете, чтоб счастье готовым  
К вам пришло в этом мире подзвездном?  
Но с полковником Сашей Петровым  
Разговаривать будет поздно.

---

---

Олег Смирнов

## НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

*Рассказ*

Убирая со стола остатки ужина и посуду, Варвара Михайловна смахнула на пол столовый нож.

— Гость будет, — сказала она и, кряхтя, нагнулась, чтобы поднять нож.

Виктор Авдеевич, который в душе сам верил в приметы, усмешливо отозвался:

— Гость? Как же, жди. Ведь врут твои приметы всегда...

Он сидел перед печкой в плетеном кресле, положив вытянутые ноги на маленькую скамейку и посасывая обычные после ужина леденцы: это была давнишняя привычка. Синяя в белую полоску бумажная пижама обтягивала его расплывшееся тело. Возраст Виктора Авдеевича определить трудно: в темнорусых, гладко причесанных, будто прилизанных волосах ни сединок; лицо белое, холеное, с заливым румянцем на щеках, и тоже без единой морщинки. На вид Виктору Авдеевичу можно дать лет тридцать пять, не больше, а на самом деле ему было уже за сорок.

Обсосав леденец, Виктор Авдеевич добавил:

— Да и кто, спрашивается, пойдет в такую погоду?..

Погода действительно была не для прогулок. За стенами Домика бесновался забайкальский ветер. Он грохотал по крыше, хлопал калиткой, заставлял жалобно скрипеть старые тополя под окнами. Временами, когда ветер достигал особенно большой силы, домик содрогался от его порывов. Хлестал дождь — первый весенний, обильный дождь.

Время подходило к девяти. Виктор Авдеевич полистал истрепанный, многолетней давности «Огонек», закрыл трубу в печи, помог жене перематывать нитки.

— Ну, Варюша, теперь на боковую, — сказал он.

Варвара Михайловна пошла разбирать постель, а он прислушался к вою ветра. Непогодь не унималась. Виктор Авдеевич подумал: как хорошо, что они с женой сидят в такой вечер дома, в тепле и уюте.

Что-то сильно стукнуло в ставню. Было похоже, что это налетел порыв ветра, но стук повторился еще и еще раз — настойчивый, нетерпеливый.

— Ну, вот, — без всякой усмешки сказал Виктор Авдеевич жене и поднялся. — Пожаловал гость... А впрочем, может быть, гостя?.. Но так или иначе — торжествуй: примета оправдывается...

— Кто же это? — тихо спросила Варвара Михайловна; ее крупное одутловатое лицо было недоумевающим и даже испуганным.

— Кто? Незванный гость... А он, как известно, хуже татарина, — отозвался Виктор Авдеевич.

Он накинул на плечи пальто и вышел в сени. Было слышно, как он возился с тяжелым засовом. Через минуту хлопнула наружная дверь, и Варвара Михайловна услышала в сенях два мужских голоса: низкий, гудящий — мужа и высокий, звонкий — незнакомый.

Первым в комнату вошел Виктор Авдеевич, оборачиваясь назад и повторяя на ходу:

— Да кто вы, в конце концов, и кто вам нужен?

Следом за ним порог переступил паренек лет семнадцати. Парень был невысокого роста, поджарый, с худым скуластым лицом, конопатым, как сорочье яйцо; из-под кепки с немислимо коротким козырьком торчали рыжеватые волосы; толстые обветренные губы улыбались.

Страхнув с пальто воду, парень, не ожидая приглашения, прошел к стулу и сел. От его сапог на полу остались большие мокрые следы. Виктор Авдеевич почему-то подумал:

«Ну и ножка! Не меньше, чем сорок пятый размер. Такой ножкой только саранчу давить: много захватит...»

Сняв кепку и осмотревшись, парень сказал:

— Ну, здравствуйте еще раз. Хотите знать, кто я такой? Отвечаю: Григорий Перевалов, это документально...

Варвара Михайловна подумала, что сейчас этот молодой человек достанет свой паспорт и подтвердит, что он в самом деле Григорий Перевалов. Но паспорт молодой человек не показал, а потом оказалось, что он просто равнодушен к слову «документально».

Парень продолжал:

— Отвечаю на другой вопрос: кто мне нужен? Нужны вы, дорогие товарищи Неустроевы. У меня к вам письмо из Свердловска...

Виктор Авдеевич и Варвара Михайловна быстро переглянулись, и Виктор Авдеевич, не скрывая радости, сказал:

— Так вы, товарищ Перевалов, ошиблись адресом. Неустроевы живут рядом, у них номер дома сорок пять, а у нас сопок семь...

— Да, да, ошиблись, — подтвердила Варвара Михайловна. — Неустроевы рядом. А мы — Тебеньковы...

На мгновение Перевалов опешил; его рука, полезшая во внутренний карман пальто за письмом, замерла. Но он тут же хлопнул себя по коленке и захохотал:

— Тебеньковы? Вот, чорт, спутал дома, спутал документально!..

Он еще долго хохотал, встряхивая рыжеватой шевелюрой. Виктор Авдеевич и Варвара Михайловна молча стояли — он у окна, она у кровати — и ждали, когда этот шумный и не очень воспитанный молодой человек уйдет. Кажется, ясно, что он не туда попал. Что ж тут расслаживаться?

Но Перевалов, как видно, не собирался быстро уходить. Перестав хохотать, он начал говорить, и на его лице опять появилась та широкая улыбка, с какой он вошел в комнату. Говорил он звонко, отрывисто, рубя слова.

— Вот это письмо, — Перевалов стукнул рукой по нагрудному карману, — везу от мамы Неустроева. Напористая такая старушка. Узнала, что еду в Читу — ну и принесла. Конечно, взял. Хотя в Чите и проездом. Завтра направляюсь... — он сделал многозначительную паузу, — направляюсь на целинные земли, документально. Слыхали, небось, об этом движении?

Читали в газетах, — вежливо подтвердил Виктор Авдеевич.

— Да, едем поднимать целину! Тут у вас в Приаргунье образуется

новая МТС. Ну и мы — туда. Нас из Свердловска четверо, все четверо — токари с Уралмаша. По путевке комсомола едем! А директором у нас будет Георгий Евстигнеевич Ступин. Ох, и сильный мужик! На Кубани он тоже МТС заворачивал. Герой Социалистического Труда. Лауреат. Теперь — сюда. Я с ним в управлении сельского хозяйства встретился. Виски уже седые, а глаза... как глянул на меня — огонь! «Ну, Гриша, говорит, будем вместе целину поднимать?» Сильный мужик этот Ступин, документально...

Когда парень произнес фамилию Ступина в первый раз, Виктор Авдеевич не обратил на нее внимания. Но когда Ступин был назван вторично, память сработала, и брови у Виктора Авдеевича приподнялись. Варвара Михайловна этого не заметила. Тем более не видел этого Перевалов, который говорил увлеченно, не очень заботясь о том, слушают ли его.

— Даю слово: обязательно выучусь на комбайнера. В лепешку расшибусь, а выучусь! Документально! И вот представьте себе картину... Жаркий летний день. Волнами ходит золотая пшеница. И по ней идет мой комбайн. Я стою на мостике и крепко сжимаю штурвал. А в лицо бьет степной ветер. Вдруг вижу: по дороге пылит «газик». Подъезжает. Из него вылезает Ступин, запыленный, усталый. «Здорово, Гриша!» — «Здравствуйте, Георгий Евстигнеевич». — «Ну, как дела?» — «Да вот дал две... нет, три нормы». Эх, сильно!

Перевалов проговорил еще минут десять, жидким тенорком, фальшивя, спел:

Едем мы, друзья,  
В дальние края,  
Станем новоселами  
И ты и я...

Наконец он надел кепочку и, всё так же улыбаясь, ушел к Неустроевым, забыв попрощаться.

Виктор Авдеевич закрыл за ним дверь и, вернувшись, стал раздеваться.

— Какой невоспитанный юноша. Видит, что нам давно пора спать, а сидит, — сказала Варвара Михайловна, взбивая подушку. — Из этих, энтузиастов...

«Невоспитанный юноша» и «энтузиаст» — звучали у нее одинаково неодобрительно. Виктор Авдеевич ничего ей не ответил и лег на кровать.

Варвара Михайловна почти мгновенно засопела, а он никак не мог уснуть. Он глядел на неясные в ночной темноте очертания предметов и думал о Ступине. Неужели это тот самый Жорка Ступин, с которым они учились в сельскохозяйственном институте? Давно это было, лет двадцать назад. Он хорошо помнит Жорку: чернявый, худенький, крикливый — на всех собраниях выступал. Из этих самых активистов. Кончил институт и попросился на Кубань, в станицу.

А у Виктора Авдеевича судьба сложилась по-другому. На последнем курсе он женился на Варя, она была курсом младше его и училась в этом же институте. На третий день после того, как они стали женой и мужем, у них состоялся важный разговор. Они сидели в институтском парке и почти на виду у прохожих целовались. Что поделаешь, своей квартиры у них тогда еще не было.

Поцеловав мужа, Варя вдруг сказала деловым тоном:

— Нам нужно подумать о будущем.

У Виктора Авдеевича особых планов на будущее не было, и потому он опять потянулся с поцелуем, но жена остановила его:

— Подожди. Давай серьезно поговорим о нашем будущем... Я вот думаю, зачем тебе ехать после института куда-то в деревню, в дыру? Да и работа агронома не по тебе: всё время в поле, под дождем или на солнцепеке. Нет, с твоим здоровьем это пагубно, я не допущу...

Виктор Авдеевич никогда не обижался на здоровье, но, слушая жену, благодарно кивал головой: конечно, надо беречься, ведь и мама ему постоянно об этом твердила.

— Да и сама я не намерена месить грязь на полях. Институт этот мне ни к чему. Я решила так: ты закончишь институт, и мы поедем в Читу, к моим родителям. У них там домик свой, хозяйство...

Виктор Авдеевич заметил: как бы не влетело за то, что не поедет по назначению. Жена решительно рассекла воздух ладонью: ничего не будет, он же беспартийный. И с улыбкой добавила, что свои агрономические знания они могут применить дома: хозяйство большое — корова, свиньи, козы, птицы много, огород есть.

О хозяйстве и о красивом домике Виктор Авдеевич слушал с интересом. В этот вечер они долго и обстоятельно планировали предстоящую жизнь и больше уже не целовались.

Домик в Чите и вправду оказался милым: не очень просторный, но добротный, срубленный из лиственницы, под железной крышей. Выкрашенный в зеленый цвет, он терялся среди зелени тополей, в изобилии росших здесь, в нагорной части города. Двор был обширный: поближе кладовая, сарай, стойла, подальше — огород, деляна с яблонями.

Чтобы власти не придирались, Виктор Авдеевич устроился экспедитором в одной конторе. Оклад был пустяковый, но главное — свое хозяйство. Он настоял на том, чтобы на огороде сажать не только картошку: в Чите выгоднее разводить огурцы, помидоры; коз — продать, а купить корову получше.

Старики, словно дождавшись молодой, энергичной хозяйской руки, вскоре почти враз отдали богу души, и в доме стало попросторнее.

Виктор Авдеевич и Варвара Михайловна жили в достатке. Хозяйство шло хорошо, каждый день Варвара Михайловна приторговывала на рынке. На здоровье никому из них тоже жаловаться не приходилось.

А годы текли один за другим, и как-то незаметно Варвара Михайловна из стройной, по-спортивному подтянутой, с вьющимися каштановыми волосами девушки превратилась в рыхлую полуседую женщину с одутловатым лицом. А он, Виктор Авдеевич, совсем сохранился, лишь немного располнел.

Детей у них не было, и это радовало обоих: дети требуют столько сил и здоровья.

Лежа в жаркой постели, Виктор Авдеевич вздыхал, ворочался и разбудил-таки Варвару Михайловну.

— Ты почему не спишь? — спросила она позевывая. — Сердцебиение у тебя, может? На, проглоти таблетку.

Варвара Михайловна взяла с ночного столика таблетку и стакан воды. Виктор Авдеевич проглотил таблетку, повернулся на другой бок.

До этого он не чувствовал никакого сердцебиения, но вот теперь, приняв лекарство, уловил, как сильно стучит сердце. Варвара Михайловна опять захрапела, а он снова принялся разглядывать смутные очертания предметов.

И опять он думал о Ступине. Чорт возьми, повезет же так человеку! Этот Ступин в институте не хватал звезд с неба, середнячком был, выезжал на тройках. И вот на тебе — лауреат, герой труда.

А он, Виктор Авдеевич, сдавал все предметы не ниже, чем с хорошей оценкой. А сумел бы и вообще на пятерки учиться, если б захотел. Конечно, он гораздо способнее этого Ступина, но вот поди ж ты...

Раньше, слушая или читая о знатных людях, Виктор Авдеевич никогда не испытывал зависти к их славе. Это были неизвестные ему люди, и он ничего не видел за их фамилиями. Сейчас же за фамилией Ступина, которую тут произнес этот незванный гость, говорливый сопляк, — вставал хорошо знакомый человек. Человек, который учился в институте хуже Виктора Авдеевича, а однажды даже, помнится, списал у него реферат... И вот, пожалуйста, добился такой славы, почета...

Виктора Авдеевича охватила острая, неведомая прежде зависть и злоба, на кого только — он и сам не понимал. Он ворочался, тяжело вздыхал, и у него всё время было таксе ощущение, будто его обворовали: то, что могло бы принадлежать ему, взял другой. И снова он не мог разобраться: кто же его обворовал?

Виктор Авдеевич не спал всю ночь. Утром он поднялся хмурый, с головной болью, румянец на щеках поблек. В комнате было светло, солнечно: Варвара Михайловна уже открыла ставни.

Он подошел к форточке и распахнул ее.

— Что ты делаешь? — удивленно сказала Варвара Михайловна. — Закрой, тебя же просквозит...

— Пусть будет открыта, — ответил Виктор Авдеевич, уставившись в окно, словно силясь разглядеть сквозь ветки тополей что-то неведомое ему до сих пор.

Свежий воздух из форточки, обтекая Виктора Авдеевича, всё дальше и дальше пробирался в комнату. Когда он достиг пышно взбитой постели, покрывало на ней качнулось, будто испуганно вздрогнуло.

---

---

## ЛИРИЧЕСКОЕ РАЗДУМЬЕ

Вячеслав Кузнецов

### ВОЖАТОМУ ВОЛОДЕ

Где теперь ты, вожатый Володя?  
Для меня ты и нынче там.  
Где в лесах мое детство бродит  
По твоим, вожатый, стопам,  
Где, одетые красным светом,  
Пионеры сидят у костра,  
Где на озере шепчутся с ветром  
Камыши всю ночь до утра,  
Где гудят, будто струны,  
сосны

И где воздух —  
настой смоляной...  
Я теперь давно уже взрослый  
И с тобой не встречался давно.  
Только, видимо, в жизни так надо,  
Что всё прошлое я берегу,  
Что забыть открытого взгляда —  
Твоего —  
до сих пор не могу.

### СЕСТРЕНКА

Повзрослела моя сестренка.  
Но, как прежде, смеется звонко  
И, верна своей милой привычке,  
Заплетает по-детски косички.  
Собралась она в путь-дорогу.  
Стала мама торжественно-строгой,  
А бабуся вздохнула украдкой:  
— Хоть уж было бы всё в порядке  
Пролетят над родной сторонкой  
Незаметно большие годы,  
И вернется домой сестренка,  
Как мечтает сейчас —  
садоводом.  
...Вот стоит она,  
тонкая, тонкая —  
Ну, совсем ведь еще девчонка!

Я смотрю на нее  
и люблюсь:  
Впереди у ней —  
Юность, юность!  
Впереди зачеты, заботы.  
Увлекательная работа  
И мечты впереди без края —  
Жизнь большая,  
Любовь большая...  
— Анка, Анка, —  
шепчу я имя...  
От знакомого с детства порога  
В жизнь,  
Навстречу мечте любимой  
Собралась сестренка в дорогу.

### ПОЭТУ

Говорят, что поэт —  
водолаз,  
Что словесного моря  
дно  
Он достать должен сотни раз,  
Чтоб добыть  
Хоть слово одно.  
Это трудное ремесло,  
Здесь уметь надо,  
спору нет.  
Но быть мастером поиска слов —  
Это, правда ведь, мало, поэт?  
Если плохо видят глаза,  
Если нет простора уму,

Значит, нечего людям сказать  
И слова совсем ни к чему.  
Ты сумей полюбить весло,  
На борту корабля  
ты постой,  
Чтобы губы тебе обожгло  
волны морской.  
Ты в пустыне,  
в песках закалились —  
И узнаешь за эти труды,  
Сколько стоит вода  
и жизнь... —  
И в стихах  
Не станет воды.

## Анатолий Рыбочкин

### В ДОРОГЕ

Наш поезд шел по графику,  
Отсчитывая дни.  
От станции до станции —  
Зеленые огни,  
От города до города  
В далекие края  
Бежала под колесами  
Стальная колея.

Но где-то всё же выбился  
Из графика состав,  
Минуту опоздания  
В пути не наверстав,  
Минута за минутой —  
Попробуй их верни:  
От станции до станции —  
Запретные огни.

И мне под вздохи поезда  
Подумалось тогда,  
Что жизнь куда стремительней,  
Чем наши поезда —

Бежит она, гремит она.  
Отсчитывая дни, —  
Чуть выбился из графика —  
Попробуй, догони!

Ах, знать бы это в юности.  
Да, быстрая, она  
Давно  
За перегонами-годами не видна,  
И жаль на ветер брошенных  
В дороге там и тут,  
Как искры паровозные,  
Рассыпанных минут.  
Нет, буду до последнего  
Я мчаться рубежа,  
Минутой,  
Как сокровищем бесценным, дорожа.  
Огни горят дорожные,  
Вперед зовут они —  
От станции до станции  
Зеленые огни.

### ИЗ ОКНА ВАГОНА

Какая даль, какая даль!  
Тайга да сопки... Мимо, мимо...  
Блеснет болото, как слюда,  
И снова — сопки в клочьях дыма.

Однообразен стук колес.  
Но вдруг за сопкою летящей  
Я вижу — на лугу матрос.  
Матрос. И самый настоящий.

До океана верст — ой-ёй!  
И городов считать не стану,  
А он идет себе с косой  
По травяному океану.

Уже повыкошена падь,  
Коса успела иступиться...  
На моряка старушка-мать  
Глядит-глядит, не наглядится.

Я чуть не выдавил стекло,  
Отпускнику в окно кивая,  
И стало мне тепло-тепло,  
Исчезла скука путевая.

И сопки мчащийся поток  
Уж не тревожит сердце далью...  
Летит великой магистралью  
Экспресс Москва—Владивосток.

### СОЛОВЕЙ

Прощальный взгляд — и нет тебя,  
И ты уже далеко где-то.  
Тоскует голос мой любя  
И остается без ответа.

Лишь тихий шум ночных берез  
Да пенье в соловьиных чашах,  
Да стук колес, да стук колес.  
Тебя всё дальше уносящих.

И вот как будто пустота,  
Необозримая как вечность.  
Нет ничего. Одна мечта,  
И та уходит в бесконечность.

Но мне фонарик поездной  
Моргает с дружеским участием.  
И соловей — певец ночной —  
Поет, захлебываясь счастьем.

Поет о том, что он проник  
В мою мечту — она вернется.  
Что голос чистый, как родник,  
На голос друга отзовется.

Всё будет: поезд голубой,  
Тепло речей твоих наивных,  
И к жизни вызванный тобой  
Мой стих на крыльях соловьиных.

Борис Можяев

## ДВА ПИСЬМА

## 1

Мы с тобой и виделись немного,  
Не мечтали годы жить вдвоем.  
Развела нас дальняя дорога  
На дела в Отечестве своем.

Я тебя любимой называю  
Всяким осторожностям назло, —  
Кое-кто осудит нас, я знаю:  
Дескать, быстро всё у них пошло.

Но любовь не измеряют стажем.  
Ты иную много лет прождешь,

А потом, как грузную поклажу,  
До поры до времени несешь.

Я не против сроков испытаний.  
Пусть проходят месяцы разлук!  
Я хочу, чтоб с каждым днем желанней  
Ты была мне, мой далекий друг.

Чтоб в моих исканиях и спорах,  
В беспокойной творческой судьбе  
Ты была мне верною опорой...  
Сколько б песен я пропел тебе!

## 2

Я поступил, конечно, дерзко:  
С начальством встретившись в пути,  
Забыл к фуражке офицерской  
Как должно руку поднести.

Но если б знал начальник строгий,  
Чем вызван этот тяжкий грех,

Не стал бы посреди дороги  
Меня отчитывать при всех.

Я напишу тебе причину:  
Я шел с почтамта, и опять  
Нет писем... Сколько можно ждать?  
Пойми, нельзя же дисциплину  
На нашем флоте подрывать!

А. Уиннингтон и У. Бэрчетт

### **ОТКРЫТОЕ ВЕРОЛОМСТВО**

Алан Уиннингтон и Уильфред Бэрчетт — известные прогрессивные публицисты, длительное время находившиеся в Корее в качестве корреспондентов иностранных газет. Перед их глазами прошла страшная картина разбойничьей истребительной, войны, развязанной американскими империалистами против миролюбивого корейского народа, картина неисчислимых преступлений, совершенных американской военизированной войска на корейской земле.

В своей новой книге «Открытое вероломство»,\* вышедшей в 1954 году в Пекине на английском языке, авторы освещают события, развернувшиеся на заключительном этапе корейской войны и в первые дни после заключения перемирия. На большом фактическом материале, основываясь на неопровержимых документах, Уиннингтон и Бэрчетт показывают, как вероломство и лицемерие проходят красной нитью через все действия США на последнем этапе войны в Корее. Авторы беспощадно разоблачают американских империалистов, стремившихся под любым предлогом сорвать мирные переговоры и распространить пожар войны на Китай.

Уиннингтон и Бэрчетт подчеркивают, что империалисты США, вложившие в корейскую авантюру более 22 миллиардов долларов, никак не хотели отказываться от этого кровавого бизнеса, приносившего им огромные прибыли. Пойти на переговоры, а впоследствии и на перемирие их заставило то, что в войне в Корее они потерпели полное морально-политическое и военное поражение.

В книге раскрываются методы работы органов американской пропаганды, обеспечивавших распространение в США заведомо лживых и клеветнических измышлений о событиях в Корее. В американскую прессу был совершенно закрыт доступ для объективной информации. Помимо того, что в Корее была установлена самая строгая военная цензура, американским корреспондентам давались прямые указания искажать действительность и представлять только такую информацию, которая поддерживает официальную политику правящих кругов США.

Центральное место в книге занимает вопрос о военнопленных. Анализируя все стадии решения этого вопроса, авторы показывают, как американские дипломаты и военици прилагали все усилия к тому, чтобы завести мирные переговоры в тупик, как они с помощью своих лисынмановских и чанкайиистских агентов чинили препятствия работе нейтральной комиссии по репатриации и вероломно нарушали ими же подписанные условия перемирия.

В книге подробно описана история с военнопленными, насильственно задержанными американцами под предлогом отказа от «насильственной» репатриации, а затем переданными на расправу кликам Ли Сын Мана и Чан Кай-ши.

Из свидетельских показаний военнопленных, многочисленных фотодокументов, которыми снабжена книга, перед читателем раскрывается ужасная картина пыток, убийств, террора и насилия, царивших в лагерях военнопленных, находившихся под контролем американцев и превращенных ими в лагери смерти. Авторы приводят убедительные доказательства того, что американцы использовали корейских и китайские военнопленных в качестве «подопытных животных» для испытания бактериологического и химического оружия.

Все материалы, многие из которых взяты авторами из американских источников, изобличают империалистов США, мечтающих о мировом господстве и старающихся с помощью лжи прикрасить свои тяжчайшие преступления перед человечеством, как злейших врагов народа всего мира.

\* Wilmington A., Burchett W., Plain Perfidy, Peking, Published by the Authors, 1954, 238 p.

*Книга написана остро, со страстью убежденных сторонников дела мира и демократии, выступающих с разоблачением зверствующих в своем бессилии американских империалистов. Она представляет собой значительный вклад в дело борьбы за мир, против войны.*

*Ниже публикуется перевод двух глав из книги Алана Уиннингтона и Уильяма Бэрчетта «Открытое вероломство». Перевод дается с некоторыми сокращениями.*

## ТЕНИ ИЗ ЛАГЕРЕЙ СМЕРТИ

Вид, открывавшийся с моста на главной дороге через реку Сачон, к югу от Паньмыньчжона, в середине августа 1953 года представлял собой зрелище, которого еще не знала история человечества.

Дно реки было устлано истрепанными останками американских мундиров, брюк и сапог. На километры в обоих направлениях от моста дорога была фактически вымощена американским обмундированием, затрамбованным в красный гравий колесами проходящих машин, а по обочине ее валялись тысячи американских сапог. Колонны грузовиков двигались по дороге в обе стороны. Из Северной Кореи на юг шли крытые грузовики, и сзади в каждом из них можно было увидеть шестнадцать американских, английских и южнокорейских пленников, сидевших на удобных полумягких сиденьях синего цвета, в сопровождении китайского или корейского санитаря. У загорелых американских, английских и остальных пленников были узлы с личными вещами, которые они держали в руках или засунули в мешки, лежавшие у их ног. Многие американцы и южнокорейцы выглядели слегка обеспокоенными. Американцы уже слышали о психиатрической больнице для «прогрессивных» в Валли Фордже. Южные корейцы, даже если они и не знали, что их больные и раненые товарищи, репатрированные несколькими месяцами раньше, пошли прямо в концентрационные лагеря, достаточно натерпелись в лисынмановской армии и чувствовали себя беспокойно при мысли о своем возвращении.

На север из Южной Кореи ехали другие грузовики, в которых находилось по тридцать почти голых, истощенных людей; они стояли — их набили в машины, как скот. Не было ничего, что бы укрывало их от палящих лучей солнца, удушливой пыли и весьма частых здесь проливных дождей. В машинах не было сидений. Те из пленников, на которых еще была хоть какая-нибудь одежда, быстро становились такими же голыми, как и другие, так как они срывали с себя всё, что могло напоминать им об американцах и лагерях смерти. С проезжающих по мосту грузовиков вихрем летели в реку и на дорогу мундиры, брюки, сапоги. На многих не осталось ничего, кроме полотенца, обернутого вокруг бедер. У многих лица были опухшими, в волдырях от «нетоксических раздражителей»; другие были с кровоподтеками, со свежими кровотокающими ранами от американских

дубинок и штыков. Но все они пели, пока хватало голоса.

Те, кто в августе первыми возвращались на корейско-китайскую сторону, не могли освободиться от ненавистной им американской одежды прежде, чем они не придут в прекрасно украшенный приемный центр, и они вынуждены были ждать. Они были из числа больных и раненых, которых американцы задержали у себя в качестве заложников, хотя они подлежали репатриации еще в апреле. Их привозили в санитарных машинах с дверцами, запиравшимися снаружи. Когда подъехали первые такие машины и были открыты дверцы, даже на лицах некоторых из американских чинов, наблюдавших за обменом военнопленных, появилось пристыженное и виноватое выражение. Они опускали глаза перед холодным и обвиняющим взглядом корейских и китайских офицеров, производивших прием пленников.

За первой открывшейся дверцей было десять истощенных людей с посеревшими лицами, каждый с маленьким флажком своей родины в руке; слабыми голосами они пели «Песню о Ким Ир Сене», их глаза загорались ненавистью при виде американских офицеров. Когда им помогли Выйти из машины, они отказались сделать хоть один шаг, прежде чем не сбросят с себя американскую одежду и сапоги. Подобные сцены повторялись каждый раз, когда открывались санитарные машины. Во многих случаях корейские и китайские офицеры, прижимавшие пленников, применяли физическую силу, чтобы удержать репатриантов от нападения на американцев. Американские унтер-офицеры отбегали в стороны, прикрывая головы руками, когда в них летели сапоги и неслись проклятья. По мере того, как в этот первый день прибывали санитарные машины и грузовики, груды из сброшенного американского обмундирования и сапог, столовых приборов и всего того, что говорило об американцах, превращались в горы.

Кейс Бич, корреспондент «Чикаго Дейли Ньюс», сделал удивленный вид, когда он увидел, что китайский доброволец, больной туберкулезом, напрягал последние силы, чтобы стащить со своих ног американские сапоги. «Но почему они не оставят у себя хотя бы эти сапоги? — спросил Бич заунывным голосом. — Это очень хорошие сапоги, и я не думаю, чтобы в Китае и Корее было слишком много таких хороших сапог». Ни Бич, ни кто-либо другой из

американских корреспондентов не спрашивали пленных, почему они так сильно презирают и всем сердцем ненавидят всё, что им напоминало об американских домах пыток и смерти.

Убийства и террор продолжались в лагерь до самого последнего момента. На второй день обмена военнопленными привезли семерых корейских пленных с пулевыми ранениями в живот. Они были из числа восьми пленных, находившихся в лагере № 64 на острове Кочжедо. 26 июля, накануне заключения перемирия, им приказали отправиться в госпиталь для лечения. Они были совершенно здоровы и предчувствовали, что это было придумано для того, чтобы помешать им вернуться на родину вместе с другими. Американская охрана открыла огонь, убив одного и ранив в живот остальных.

Но лучше всего Кейс Бич мог бы получить ответ на свой вопрос, если бы он поговорил, как это сделали авторы, с группой пленных женщин, среди которых были молодые матери с грудными детьми. На них были рубашки, юбки и фуражки по форме корейской Народной армии, они ловко смастерили всё это из одежды, выданной им американцами. Они снимали ботинки, но не выбросили их. Они не выдержали, пока откроют дверцы санитарных машин. Они выбили окошки и выломали двери. В руках, как оружие, они держали сапоги и ботинки, и никакое вмешательство не могло спасти американских офицеров и унтеров, разбегавшихся в разные стороны от сыпавшихся на них ударов. Шоферы забирались на крыши санитарных машин, офицеры пытались спрятаться за спины корейских и китайских представителей, принимавших пленных.

Одна из пленных женщин была студенткой колледжа в Хэчжу, расположенном севернее 38-й параллели; она вступила в корейскую Народную армию как только началась война и была захвачена в плен в том же районе в октябре 1950 года после инчонской операции. У нее был нежный цвет лица и черные, отливавшие блеском волосы, свободно падавшие на плечи. Эта девушка, которую звали Ким Кен Сук, была сначала брошена в тюрьму для подростков в Кэсоне, а затем переведена в Инчон, где содержалась более значительная — около ста пятидесяти человек — группа пленных женщин.

«Американцы с самого начала обращались с нами как с животными», — сказала она, начав свой рассказ о том, что она пережила в плену. Другие девушки, ее подруги, расселись в кружок рядом и слушали ее, покачивая головами и то подтверждая то, что она говорила, то поправляя ее, если она ошибалась в датах или фамилиях. «Под предлогом обыска они заставляли нас раздеваться догола. Они глумились над нами. Они водили нас голыми по улицам, подгоняя штыками, и мы чув-

ствовали, как штыки почти вонзались в тело. Они приводили фотографов и снимали нас; фотографии потом вывешивались на специальной доске в лагере. Американцы обычно приходили вместе с лисынмановцами и выбирали себе девушек. Почти всегда, совершив насилие, они закалывали наших девушек штыками».

Ким Кён Сук сама была в числе тех пятидесяти молодых корейских пленных женщин, которых водили голыми по главным улицам Сеула возле Южного вокзала в конце октября 1950 года. «Позднее, находясь уже в лагере в Пусане, — продолжала она, — я слышала от товарищей, что многих из них заставляли участвовать в таких шествиях голых в разных городах и селах Южной Кореи. Случалось, что голых мужчин и женщин связывали проволокой за руки, и они шли парами с плакатами, наклеенными на их спины: «Нас заставили вступить в КНА!»

В этом месте одна из девушек, сидевших отдельно маленькой группой, прервала Ким Кён Сук и рассказала, что в лагере в Кванчжу, где она находилась, американцы собирали пленных женщин, заставили их раздеться догола и загнали в большую комнату. Затем туда затолкнули несколько голых пленных корейцев. Американский офицер сказал: «Мы слышали, что вы, коммунисты, любите танцевать. Начинайте! Танцуйте!» Под угрозой направленных на них револьверов и штыков пленные вынуждены были танцевать в то время, как пьяные, с сигарами во рту американские офицеры с хохотом делали всё, на что только были способны их развращенные натуры. Они тушили сигары о груди девушек и совершали другие зверства, описанию которых место только в медицинских журналах и судебных протоколах.

«Никто не был в безопасности от их зверств, — продолжала тихим голосом бывшая студентка колледжа. — Они даже изнасиловали 14-летнюю девушку — служанку, которую посадили в лагерь как «военнопленную». В Инчонском лагере американцы не раз, угрожая штыками, забирали двух матерей с грудными детьми за спиной. Они затыкали детям чем-нибудь рот, а матерей уводили в помещение для охраны и там насиловали».

После вступления в войну китайских народных добровольцев американцы во время своего беспорядочного отступления вывезли военнопленных из Инчона. Женщин из Инчонского лагеря парходом отправили в Пусан. «В течение 72 часов нас не кормили и не давали нам воды, раненым не оказывалось никакой медицинской помощи, — сказала Ким Кён Сук. — Но мы были рады выбраться из Инчона. В Пусане находилось много наших женщин. Всего теперь нас было четыреста женщин, и мы могли постоять за себя против насильников».

В Пусане на сцену были выпущены аме-

риканские миссионеры, которые пытались заставить девушек предать свою родину и сделать выбор «между богом и сатаной». Как «дары бога» им раздавали крем для лица, губную помаду, яблоки и конфеты, но миссионерам никого не удалось обратить в другую веру.

В Пусане были собраны все проститутки и нищенки и посажены в лагерь отчасти для того, чтобы унижить девушек из КНА, отчасти для того, чтобы восполнить число пленных и заменить тех, кто был изнасилован и затем убит. Американцы из охраны даже одевали некоторых из своих собственных «подружек» в офицерскую форму КНА и засылали их к пленным — одних как шпионов, других для того, чтобы деморализовать пленных демонстрацией своих отношений к американцам. Таких быстро распознавали, и американцам приходилось их забирать обратно.

Женщины выступили против принудительного отбора пленных и в день годовщины освобождения Кореи, 15 августа 1951 года, вышли на демонстрацию; они пели песни и несли плакаты с надписями, требовавшими прекратить всякие попытки «отбора» пленных. Американцы ответили тем, что окружили лагерь танками и открыли огонь. Шесть девушек было ранено, из которых одна умерла. В конце сентября весь лагерь объявил голодовку, требуя улучшения условий и прекращения «отбора» пленных. В результате этой голодовки они добились некоторого улучшения питания, впервые получили постели и обещание пересмотреть политику «отбора».

Эта небольшая победа была достигнута дорогой ценой. Ян Кви, стройная девушка из Кэсона, владеющая английским языком, рассказала: «Вслед за этим они арестовали меня и еще двадцать женщин и обвинили нас в организации голодовки. Мы были арестованы американцами, но они передали нас 107-му отряду военной полиции лисымановской армии. Вероятно, американцы хотели избежать ответственности за то, что с нами произошло. Нас подвергли обычным пыткам, добиваясь, чтобы мы назвали наших руководителей. Пять дней непрерывно нас били, пытали электрическим током, загоняли иглы под ногти. Но, — гордо закончила она, — они не добились от нас ни слова».

Пак Су Бок, невысокого роста, подвижная, пухлолицая девушка с горящими черными глазами, была одной из тех девушек, которые перенесли особенно сильные пытки. Она, жительница Сеула, была в числе делегатов, выделенных от всех лагерей военнопленных и представляла женский лагерь на переговорах, которые состоялись после похищения коменданта лагеря Додда в мае 1952 года. Она находилась еще в лагере № 76, где содержался Додд, когда «Буйвол» Боутнер 10 июня 1952 года направил в лагерь огнемётные танки и солдат. В нарушение Женевской конвенции и обе-

щаний, данных преемником Додда Колсоном, она и другие выборные делегаты были изъяты из лагеря и брошены в тюрьму, где она пробыла до самой репатриации.

Осенью 1951 года Пак Су Бок находилась в числе арестованных после голодовки. Еще перед этим ее пытали раскаленным докрасна штыком за то, что она оказала сопротивление американскому сержанту, который хотел ее изнасиловать. Когда в течение пяти дней производились пытки над двадцатью одной пленной женщиной, она была выделена среди них и с ней обращались особенно жестоко.

Так как Пак Су Бок больше стремилась говорить о страданиях и борьбе своих подруг, чем о себе, то рассказ продолжила Ян Кви.

«Они поставили ее на колени, — начала Ян Кви, — подсунув под ноги, чуть ниже коленного сустава, брус. Три дикаря пытали ее сразу. Один сапогами бил по коленным чашечкам, другой вгонял иглы под ногти, в то время как третий — подполковник — включал рубильник, подвергая ее пыткам электрическим током». Здесь она заставила Пак Су Бок показать свои руки с изуродованными пальцами и следами ожогов на больших пальцах, к которым присоединялся электрический провод.

После пыток двадцать одну девушку снова отвели в лагерь, где они встретили членов Международного комитета Красного Креста во время одного из их редких посещений лагерей. Пленные девушки бросились бежать по направлению к ним, прорываясь через охрану, чтобы показать им шрамы, кровоподтеки, ожоги от пыток электрическим током, следы от иголок под ногтями. Единственным результатом было то, что семнадцать женщин были снова брошены в тюрьму, где они просидели еще два месяца.

Всё время, в течение которого они находились в плену, было заполнено борьбой за жизнь, против насилия, за право возвращения на родину.

Весной 1952 года женщины были переведены из Пусана на остров Кочжедо, и их борьба против попыток американской охраны к насилью началась вновь. Одному американскому сержанту удалось захватить девушку по имени Ли Чан Хи, страдавшую нервным расстройством после перенесенной ею пытки электрическим током, когда она направлялась в уборную. Американец, хотя подруги пытались спасти ее, затаячил девушку в комнату для охраны, запер дверь и изнасиловал. После этого девушка сошла с ума. Это вызвало мощную демонстрацию протеста, и со временем этот сержант был переведен в другое место.

Среди женщин, захваченных американцами в качестве партизан и военнослужащих КНА, многие были беременны. Они рожали в лагерях без всякой медицинской помощи. Американцы в конце концов вынуждены были создать специальные отде-

ления для матерей, но не давали им никакого дополнительного питания. Матери сами находились на голодном пайке и не могли кормить грудью своих детей. Двадцатитрехлетняя мать Ким Сук Ча, красивая, с мраморным лицом женщина, окончившая университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, рассказала о той борьбе, которую им пришлось вести, чтобы спасти своих детей. Она родила ребенка через шесть месяцев после того, как попала в плен.

«Если бы не мои товарищи, — сказала она, — я и мой ребенок умерли бы. Я была очень слабой, и в течение двух месяцев после родов ничего не могла делать, как только лежать на земле. Мои подруги делали всё для меня и для моего ребенка, урезая свой и без того жалкий паек. Американцы не давали даже лишней крошки. Целый год после того, как меня поместили в отделение для матерей, мы не получали дополнительного питания для детей. У двух моих подруг дети умерли голодной смертью. Одна мать сошла с ума и убила своего ребенка, чтобы не слышать его жалобного голодного крика. Мне еще повезло, — сказала она, бросив взгляд на милую маленькую девочку, которая, как кукла, завернувшись в теплый халат, спала, поддерживаемая ремнями, у нее за спиной.

«После долгих проволочек американцы всё же стали выдавать паек на детей, — продолжала Ким Сук Ча. — Но срезали его всякий раз, когда хотели наказать нас. Мы вывесили на заборе из колючей проволоки плакаты: «Дети — не военнопленные. Обращайтесь с ними по-человечески». Но это никак не подействовало. В этом году, в День армии, когда мы с детьми, на руках пели песни, американцы забросали нас гранатами со слезоточивым газом. Нас было двадцать три женщины и двадцать три ребенка. Они бросили тридцать гранат. Многие из детей после этого болели в течение нескольких месяцев».

Когда американцы насильствовали и мучили корейских патриотов, морили их голодом и применяли против матерей и грудных детей «нетоксические раздражители», они поступали так в соответствии с тем же самым образом мышления садистов и вырождков, которым руководствовались, совершая налеты на Пхеньян за полчаса до вступления в силу соглашения о прекращении огня. Этот образ мышления берет свое начало в гитлеровских теориях о «сверхчеловеке» и «высшей расе», это — образ мышления милитаристов, впавших в бессильную ярость после неудач на полях сражений.

В течение целого месяца санитарные машины и грузовики привозили в корейско-китайский приемный центр пленных — истощенных, искалеченных людей. Только каменные сердца могли не дрогнуть при виде десятков тысяч патриотов, переживших нравственные и физические мучения в лагерях смерти, чтобы отстаивать свое право на возвращение домой. Слезы текли по ще-

кам корейских и китайских медсестер, по лицам суровых офицеров, не знавших, что такое отступление на поле боя, когда они принимали своих товарищей, истощенных и похожих на тени, с вздувшимися безобразными рубцами на руках, на которых еще были гнусные следы татуировки, больных туберкулезом в последней стадии, изломанных и обезображенных пытками, сохранивших лишь силы на то, чтобы произнести проклятия американцам и назвать фамилии других товарищей, томившихся еще в тюремных камерах. Пленные не ели выданные им на дорогу заплесневелое зерно и бобы и теперь бросали всё это в лица американцам. Они вывесили на бортах грузовиков лозунги на английском языке с требованием освободить их руководителя Пак Сан Хёна, наказать палача Боутнера и других карателей. В их глазах и в их голосе были ненависть и презрение ко всему американскому.

В последний день обмена военнопленных, 6 сентября открылись дверцы одной из подкативших санитарных машин, и все увидели сморщенное лицо и высохшее тело. Сначала человек смотрел на свет, не понимая, что происходит, потом глаза его загорелись, и раздирающие грудь рыдания сотрясали его тело всё время, пока он вылезал из машины и пока не оказался в дружеских объятиях корейского генерала. Этим скелетом был Пак Сан Хён, руководитель военнопленных, боровшихся за жизнь и возвращение на родину, организатор похищения команданта лагеря Додда в мае 1951 года.

«Я только хотел умереть с честью! Я только хотел умереть с честью!» — выкрикивал он, когда его осторожно несли в палатку приема военнопленных. В течение всего месяца возвращающиеся из плена товарищи Пак Сан Хёна привозили с собой плакаты, в которых выражался протест против зверского обращения с их руководителем и требование об его освобождении. Американцы держали его в своих руках до самого последнего момента.

Несколько дней спустя, когда отдых и хорошая пища восстановили его силы. Пак Сан Хён рассказал о том, что он пережил в плену. Еще слабый, но с уже появившимся от сознания своей свободы румянцем на добром, покрытом тюремной бледностью лице, он казался человеком, созданным из какого-то особого материала. Страдания наложили свой отпечаток на лицо Пак Сан Хёна, у него еще немного тряслись руки, но его ум был необыкновенно живым, а память ясной. «В последние месяцы, — сказал он, — для меня было ясно, что приближался мой конец. Всё что я хотел, — это сражаться до последнего и умереть с честью за наше справедливое дело».

Когда его попросили рассказать о том, что произошло после похищения Додда, он задумчиво произнес: «Вы знаете, мне трудно было поверить в то, что в двадцатом

веке могли еще существовать такие варвары, какими показали себя американцы». Он кратко рассказал об уже известных миру пытках, убийствах, резне и калечении людей, которыми сопровождался насильственный отбор и которые заставили пленных под руководством Пак Сан Хёна сражаться и похитить генерала Додда, чтобы привлечь внимание всего мира к своему положению.

Долгое время американцы не знали, что Пак Сан Хён стоял во главе пленных. Сразу же после июньской резни и перестройки лагерей они арестовали всех делегатов, которые с разрешения Колсона, преемника Додда, и на предоставленных им машинах ездили в качестве участников на переговоры об освобождении Додда. После ареста их в течение нескольких месяцев избивали и пытали, добываясь от них сведений об организации пленных. Лишь 25 октября 1952 года американцы пришли за Пак Сан Хёном.

«Когда меня арестовали, — продолжал он, — они сказали, что арестовывают меня не потому, что хотят наказать, а потому, что в лагере установилось два командования. Офицер сказал: «В лагере существуем мы и вы. Пленные подчиняются вашим распоряжениям, а не нашим. В будущем они будут подчиняться только одному командованию — нашему». Первые несколько дней я находился в тюрьме, известной под названием «Дом маленьких обезьян», где содержались пленные за мелкие нарушения «порядка». Потом я был помещен в бетонную камеру длиной шесть футов и шириной три фута с железной решеткой вместо потолка. Часовой проходил по решетке через каждые несколько минут. Был уже ноябрь, и становилось холодно. Они забрали у меня ботинки. Я остался босым, в легких штанах и рубашке, со мной было лишь одно старенькое одеяло. За малейшее нарушение охраны вытаскивала меня из камеры и била. Однажды меня избили дубинкой за то, что я сидел на одеяле. «Одеялом разрешается пользоваться только во время сна», — говорили они, направляя сыпавшиеся градом удары мне в лицо.

13 ноября меня перевезли в маленький городок Кочжери и посадили в клетку. Она была такого же размера, что и моя прежняя камера. Но у нее не было стен, вместо них — плотно обмотанная колючая проволока. Сверху клетка перекрывалась крышей, которая спасала меня от дождя и снега, если не было ветра».

В этой клетке, не имевшей стен, которые бы могли защитить его от холодного ветра и снежной метели, Пак всё в той же рубашке и тех же штанах с тем же стареньким одеялом провел три суровых зимних месяца, в течение которых его кормили так, чтобы только не дать ему умереть с голода слишком быстро.

«Я жил, как животное, — рассказывал Пак. — Я собирал всякие отбросы. Каждый клочок сухой травы или соломы был

для меня сокровищем. Я использовал всё, что мог найти, чтобы утеплить свою одежду. Я зарывался в грязь, как кролик, заворачивал ноги клочками травы, соломы, бумаги и старым тряпьем. Мне думается, американцы рассчитывали, что я умру или покончу самоубийством. Но за это время во мне окрепло решение — жить».

Пак был освобожден из клетки 7 февраля 1953 года и переведен в «Дом для тяжелых обезьян», находившийся в ведении американской военной полиции в Кочжери.

«На другой день после моего прибытия, продолжал Пак, — мастер-сержант американской военной полиции спросил меня, не я ли приказал пленным захватить Додда. Я ответил: «Да». Сержант расстегнул ремень, а южнокорейские полицейские, стоявшие вокруг, подступили ко мне ближе, сжимая в руках дубинки. Я был избит до потери сознания. Я очень хорошо помню этот день, — сказал Пак и улыбнулся. — Это был день годовщины создания корейской Народной армии».

После этого ему два дня не давали есть. В последующие дни его заставляли бегать по тюремному двору, и если он бежал недостаточно быстро, полицейские били его дубинками или кололи штыками. Пробыв в «Доме для тяжелых обезьян» две недели, он был снова переведен — на этот раз в специально для него построенную камеру в лагере в Тондэ. Начались бесконечные допросы, начался период самых тяжелых испытаний для Пак Сан Хёна.

«Американцев интересовали три главных вопроса. Они добивались от меня, чтобы я сказал, что корейская Народная армия получает приказы из Советского Союза, что я был заслан в лагерь по распоряжению генералов Нам Ира и Ли Сан Чо, что я имел постоянную связь с этими двумя генералами. И, разумеется, от меня требовали, чтобы я раскрыл, каким образом осуществлялась эта связь.

Меня допрашивали непрерывно в течение двухсот сорока часов, десять дней по двадцать четыре часа в день. Американцы производили допрос в четыре смены, меняя через каждые шесть часов. До этого меня уже допрашивали в течение двух дней, но с перерывами. После первых шести часов допроса, когда американцы ушли, я попытался уснуть. Вскоре пришли («МП»)\* и разбудили меня. Я отказался подняться. Пришел комендант лагеря с полицейскими и сказал, что мне прострелят левую ногу, если я не поднимусь. Я встал. Они, изредка прерываясь, допрашивали меня. Если я засыпал, меня выводили во двор и заставляли бегать, чтобы разогнать сон.

Затем начался один непрерывный допрос. Сначала они приказали мне стоять с вытянутыми, как на распяты, руками, к которым проволокой привязали камни. Потом

\* МП — сокращенное название американской военной полиции. (Прим. переводчика)

они отвязали камни, но в течение десяти суток мне не позволяли ни сидеть, ни лежать, ни спать. Самое большее, что мне разрешалось, это прислониться к стене камеры. К исходу этих десяти дней у меня ужасно опухли и разболелись руки и ноги, мой мозг был даже яснее, чем в первый день. В конце последнего дня я начал кричать во всё горло и бить ногами в стену. Американцы подумали, что я сошел с ума, и послали за врачом. Я был очень рад высказать ему, что я думал о «гуманизме» американцев, которые сначала пытками доводят человека почти до смерти, а потом присылают врача».

За десять дней непрерывного допроса американцам не удалось добиться от Пак Сан Хёна ни одного слова, и после посещения врача допрос был прекращен.

Его держали в одиночной камере, били и морили голодом до 5 сентября, когда, наконец, усадили в закрытую санитарную машину и отправили в Паньмыньчжон.

«У меня были косматые, почти до плеч волосы и длинная борода, — продолжал рассказывать Пан. — Только накануне моего отъезда из Тондэ в Паньмыньчжон американский сержант принес мне ножницы, расческу и бритву. Я сам подстригся и побрился. После пришел комендант лагеря и сказал мне, что я буду репатрирован. Я не верил этому до тех пор, пока не открылись двери санитарной машины и мои глаза не увидели людей в форме корейской Народной армии».

Пак Сан Хёну не пришлось испытать на себе самые изощренные методы пыток, которые обычно применялись к пленным, и это, очевидно, потому, что он попал в руки американцам уже после того, как они убедились, что пытки лишь ожесточали пленных, закаляли их в ненависти к своим мучителям. Пытка электрическим током, наиболее широко применявшаяся американцами, довольно типична для нации, у которой метод сожжения человека на электрическом стуле используется в качестве обычного способа казни. Для пыток применялась различная аппаратура — от ручных электростатических машин до сложных лабораторных установок с питанием от силовой электролинии. Сотки избранных делегатов из разных лагерей, включая и тех, которые участвовали в переговорах об освобождении Додда, были подвергнуты пытке электрическим током в лагере № 1 на острове Кочжедо.

Капитан корейской Народной армии Чо Пён Юр, один из тех, в ком американцы подозревали руководителя борьбы за возвращение на родину, рассказал о специальной комнате для пыток, помещавшейся в глубоком, со звукопроницаемыми стенами подвале Дальневосточного командования военной полиции ООН в Пусане. В подвале, куда можно было попасть только на электрическом лифте, его провели по длинному мрачному коридору с выходившими в

него дверями одиночных камер, в которых совершались пытки, и «кабинетов», в которых приводились в чувство потерявшие сознание жертвы.

«Вначале меня били длинными бамбуковыми палками, — рассказал Чо Пён Юр. — Это делали лисынмановские полицейские. Я лежал на скамейке лицом вниз со связанными под ней руками. После каждого удара меня спрашивали: «Кто главные активисты в вашем лагере?» Покончив с первой стадией пыток — избиванием, они развязали меня, перевернули лицом вверх и снова связали. В рот и нос мне лили воду, пока всё мое тело не вздулось. Потом кулаками и ногами они били меня по животу. Я был в полубессознательном состоянии, когда меня перенесли в специальную комнату, где американцы приступили к пыткам электрическим током». (Другие пленные рассказывали о том, как их подвешивали на веревке за ноги и с помощью шланга через рот и нос накачивали в них воду, иногда горячую или с перцем).

«Мои руки были связаны за спиной, — продолжал капитан Чо, — и прикручены к тросу, который был протянут на такой высоте, что мои ноги едва касались пола. На шею мне повесили ведро с водой, и под его тяжестью я повис на прикрученных к тросу руках почти параллельно полу. К правой руке и левой ноге мне присоединили электроды. Американский офицер включил ток. Меня всего затрясло, тело загорелось, и я чувствовал, будто я надуваюсь и вот-вот лопну. Меня бросило вперед. Мне казалось, что мой мозг пухнет и что голова вот-вот разлетится на части. В груди и во всем теле был огонь. Кровь кипела. Всё во мне было напряжено до крайнего предела. Офицер выключил ток, а затем то его включал, то выключал. Когда он поворачивал выключатель, меня всякий раз бросало то вперед, то назад — как будто по мне ударяли огромным молотом. В тот самый момент, когда я уже был уверен, что наступает мой конец, кто-то ослабил трос и я упал на цементный пол. Ведро опрокинулось, и холодная вода, вылившаяся прямо мне в лицо и на грудь, привела меня в чувство. «Кто

возглавляет вашу организацию? - услышал я. — Откуда вы получаете указания?» Я ответил проклятиями, и трос снова туго натянулся, и я почувствовал, будто у меня руки отделяются от тела. А когда американец взялся за выключатель, я уже ждал, что меня бросит так, что я разобью себе голову о цементную стену».

Как почти и у всех корейцев, у капитана Чо Пён Юра были прекрасные ровные зубы. Теперь все они или сломаны или выбиты — он падал лицом вниз на цементный пол, ударялся лицом о края железного ведра.

Китайский репатриант Чжоу Лянь-шэн (лагерный № 707007) рассказал о тех пытках электрическим током, которые он перенес в так называемом «Отделении по расследованию военных преступлений», распо-

латавшемся возле Пусана, где его допрашивали, добываясь от него сведений о Мукдене. После того, как обычные пытки и избиения не дали никаких результатов, обращение с ним переменилось.

«На следующую ночь я был переведен в другую палатку, — рассказал он по возвращении из плена. — Там американский подполковник привязал меня к стулу. Руки оказались связанными выше локтей. Два пальца — безымянный и мизинец — на каждой руке он прикрутил ремнем к поручням стула. Потом гоминдановский агент надел на все остальные шесть пальцев резиновые трубки. К трубкам подходил изолированный провод, который соединялся с черной кнопкой на столе. Американский подполковник что-то сказал и нажал кнопку — и всё потемнело перед глазами. Меня стало ТОШНИТЬ, голова закружилась, и мне казалось, что в мои кости втыкают острые гвозди. Я чувствовал, будто меня всего колоти иголками. Это продолжалось пять-шесть минут. Потом он что-то крикнул в мою сторону, и гоминдановский агент перевел: «Скажи, что ты — член коммунистической партии. Какое оружие в ваших войсках? Говори, быстро! Или я снова включу ток». Я сказал, что ничего не знаю. И он снова нажал черную кнопку. Так меня допрашивали в течение двух часов. Потом меня волоком отнесли в камеру.

После этой электрической пытки я два дня ничего не мог есть и чувствовал боль во всех суставах. Пленные бойцы корейской Народной армии, находившиеся со мной в камере, делали мне массаж и растирали суставы, чтобы облегчить мои страдания.

Выборных делегатов, принимавших по разрешению самого бригадного генерала Колсона участие в переговорах о Додде, мучили в течение почти грех месяцев по два часа в день применяя такие же способы пыток, о которых рассказали капитан Чо Пён Юр и Чжоу Лянь-шэн.

Конечно, обо всем этом нельзя было узнать, стоя на мосту через р. Сачон и наблюдая, как проходили с севера на юг машины с военнопленными. Но многое можно было бы узнать, если — а это было возможно для любого корреспондента каждой стороны — пойти в корейско-китайский пункт приема военнопленных, где лишь одна огромная надпись — «твоя родина приветствует тебя» — вызвала слезы на глазах возвращавшихся из плена людей.

Была огромная разница в том, что происходило в пунктах приема военнопленных на корейско-китайской и на американской стороне. Любой корреспондент мог подойти к грузовику, который приходил в корейско-китайский пункт приема военнопленных, и начать беседу с пленными даже до того, как они сойдут с машины. Он мог последовать за ними в приемную палатку и продолжать разговор, когда их тепло встречали товарищи, когда они затягивались первой папироской или пили чай. Можно было

пройти в палатку объединенного Красного Креста, где сидели рядом представители Красного Креста ООН и представители Корейско-Китайского Общества Красного Креста, где можно было воспользоваться переводчиками и где многие военнопленные выступали с официальными протестами против ТОГО обращения, которое им было оказано в пути. Можно было побеседовать с ними и в специальных палатках для представителей корейско-китайской печати, которые были развиты в районе приемного пункта. Но американские и другие корреспонденты стран ООН ни разу не воспользовались теми возможностями, которые им предоставлялись.

В американском приемном центре в Паньмыньчжоне представителям печати было строго запрещено обмениваться хотя бы одним словом с пленными ООН. «Освобожденные» пленные немедленно отправлялись в Мунсан, где офицеры службы безопасности первым делом инструктировали их о том, что они могли и чего они не должны были говорить представителям печати. Их предупредили, чтобы они не говорили ничего, что могло «способствовать коммунистической пропаганде». Всякие разговоры о хорошем обращении с пленными со стороны корейской Народной армии и китайских народных добровольцев были запрещены. Корреспондентам даже запретили задавать такие вопросы, которые могли вызвать «благоприятные для коммунистов ответы». Для корреспондентов «свободной прессы» были изданы официальные списки-инструкции, содержавшие перечень десяти тем, затрагивать которые в беседах воспрещалось. В случае, если журналисты нарушали эту инструкцию, то всегда присутствовавший во время бесед офицер службы безопасности запрещал пленному отвечать на поставленные вопросы. Если всё-таки корреспондентам удавалось заполучить так называемую «благоприятную» информацию, то она всё равно не могла попасть в печать, так как на это существовала строгая цензура. Многие европейские корреспонденты отказывались отправлять свои статьи из Мунсана, и сами привозили их в Токио, где цензура была менее строгой. Но в первое время газеты всего мира получали через агентства «свободной прессы» из Мунсана информацию, отличавшуюся особой тенденциозностью.

Помимо того бросающегося в глаза факта, что американцам передавали загорелых, упитанных, здоровых на вид пленных, а американцы возвращали бледных истощенных инвалидов, можно было наблюдать и многие другие контрасты. У ВСЕХ пленных, возвращенных на сторону ООН имелось много личных вещей. Кроме наручных часов, зажигалок, вечных ручек бывших при них, когда их захватили в плен, у них были вещи, которые они сами изготовили в лагерях, призы, полеченные ими на спортивных и других состязаниях, подарки от

корейского солдата и китайских народных добровольцев. Почти у каждого пленного был объемистый мешок, набитый вещами подобного рода.

В то же время ни у кого из 76 000 возвратившихся корейских и китайских пленников не было ничего из личных вещей. Возможно, что среди них было меньше, чем у американцев, владельцев наручных часов и зажигалок, но всё же в момент пленения такие вещи имелись не у одной тысячи корейцев и китайцев да и трудно найти корейского или китайского солдата, который не имел бы при себе хотя бы вечной ручки. У них всё было отобрано. Некоторым удалось сохранить ордена, ручки и зажигалки до самого последнего момента. Но перед репатриацией их раздели, обыскали и всё найденное отобрали. Многие привезли с собой расписки, подписанные американским комендантом лагеря накануне их отправки в Паньмыньчжон. Им обещали, что их личные вещи будут им возвращены в Инчоне или в Мунсане. Но, увы, обещание осталось обещанием. Под тем предлогом,

что якобы запрещалось курить на пароходе и в поезде, у пленных были отобраны даже сигареты, которые они получили от корейско-китайского общества Красного Креста в Пусане. (Пленным ООН корейско-китайское командование в пути следования выдавало пиво, вино и сигареты. Пакеты с подарками от Красного Креста ООН передавались им нераспечатанными. Курить в поездах не запрещалось.)

Американские, английские, южнокорейские и другие пленные с большой охотой забирали с собой всё, что могло им напомнить о друзьях из КНА и о китайских народных добровольцах, с которыми они подружились в лагерях, всё, что могло им напомнить об огромных усилиях людей сделать жизнь даже военнопленных приятной. Корейские и китайские военнопленные срывали с себя и бросали всё, что могло им напомнить об «американском образе жизни» с его зверствами и дикостями, образе жизни, который им пришлось испытать на себе, когда они находились в лагерях смерти.

## ЧУДОВИЩНЫЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Каждый день в течение первых нескольких недель после создания нейтральной комиссии по репатриации члены комиссии слышали из уст людей, которым только что удалось вернуться из лагерей, переданных под охрану индийских войск, страшные рассказы о средневековых зверствах. Сначала они относились к ним с недоверием.

Но недоверие даже самых закоренелых скептиков было поколеблено тем, что люди, освобожденные из различных лагерей и в различное время — корейцы и китайцы, — рассказывали удивительно похожие друг на друга вещи. И самое главное состояло в том, что они рассказывали обо всем этом и отвечали на вопросы, едва успев сойти с машин, на которых их привозили из лагерей. Не могло быть и речи о том, что их кто-нибудь проинструировал или настроил. Единственными лицами, видевшими их после освобождения из лагерей, в которых хозяйничали американские агенты, были чехословацкие, польские, индийские, швейцарские и шведские офицеры из нейтральной комиссии по репатриации, в обязанность которых входило установить, кто из пленников желает вернуться на родину. Им разрешалось задавать вопросы только о том, хочет ли военнопленный репатрироваться или нет. Сразу же после этого пленных перевозили на грузовиках в Паньмыньчжон, где они индийским офицером официально передавались корейско-китайской стороне. Пройдя проверку по спискам они шли в палатку, где их встречали короткой приветственной речью в присутствии представителей печати, включая европейских журналистов и наблюдателей от нейтральной ко-

миссии по репатриации, и после этого каждый из присутствовавших мог свободно задать им любой вопрос. Корреспонденты европейских стран могли иметь при себе своих переводчиков. Но они редко передавали в печать то, что слышали и видели.

Эта корреспондентская палатка всегда была набита народом. Более ста наблюдателей, корреспондентов и индийских офицеров заполняли каждый свободный дюйм пространства и слушали, онемев от ужаса, рассказы пленников. После первых нескольких посещений американские обозреватели были столь смущены услышанными здесь разоблачениями, что перестали заходить в палатку. Их собственные шведские и швейцарские представители в нейтральной комиссии по репатриации едва сдерживались, чтобы не переступить границ вежливости в отношении к американцам, когда последние пытались отделаться смехом от ясных обвинений, содержащихся в рассказах военнопленных.

Особенно сильно врезалась в память беседа с группой китайских военнопленных из шестидесяти пяти человек, прибывших 27 сентября. Среди них много было офицеров. Прежде чем сойти с грузовиков, на которых они были доставлены в Паньмыньчжон они сорвали с себя фуфайки с изображенным на них ненавистным гоминдановским флагом и обнажили свои тела, покрытые татуировкой. Они показывали большие багровые шрамы на руках и ногах. В течение нескольких минут в палатке были слышны лишь несдерживаемые рыдания, когда один, потом второй пытались начать

своей рассказ о том, что им пришлось пережить. Одного из них, которого всего лишь день или два до этого избili почти до смерти, пришлось вынести из палатки и оказать ему неотложную медицинскую помощь. Другой упал в обморок, как только его товарищ начал говорить об их недавних страданиях, и его тоже ПРИШЛОСЬ унести. У третьего было отрезано ухо, а на животе, изрезанном гоминдановскими ножами, были видны страшные вспученные шрамы. Половина пленных встала на скамейки, на которых они сидели чтобы показать отвратительные синевато-багровые вздувшиеся рубцы на руках и ногах, из которых были вырезаны куски живого тела за все их так называемые «преступления» — за сопротивление татуировке, за изъявление желания вернуться на родину. Каждый из шестидесяти пяти пленных, так же как каждый из сотен китайцев побывавших в руках агентов, был татуирован в большинстве случаев выше пояса.

Более двух часов они отвечали на вопросы корреспондентов, и только с большим трудом их удалось убедить закончить беседу и отдохнуть. У них было неудержимое желание показать всему миру, как американцы осуществляли свою «гуманную» формулу «добровольной репатриации».

От ужаса у всех захватило дыхание, когда поднялся Чжао Цин-сань — у него была отрезана половина правого уха и весь живот был наискось исполосован похожими на куски веревки багровыми, длинной в двенадцать дюймов, шрамами.

«Однажды, находясь в лагере на острове Чечжудо, я присутствовал на лекции, — рассказывал он. — Как обычно нам говорили об американской демократии. Я спросил: если Америка — такое демократическое государство, почему американцы убили столько китайских военнопленных в лагерях? Ночью ко мне в палатку пришли гоминдановские агенты. Они вывели меня на улицу и начали бить. Они били меня тяжелыми дубинками, пока я не потерял сознания. Утром они снова пришли за мной. Они поставили меня перед фронтом отделения американских солдат чтобы расстрелять как коммуниста. Но они не расстреляли меня. Один из палачей вынул острый нож и отрезал мне верхнюю часть уха. Отрезанную половину уха бросили в ведро с водой, над которым держали мою окровавленную голову. Затем эту кровавую воду заставили пить моих товарищей, которые этим должны были доказать, что они действительно антикоммунисты. Если бы они отказались пить воду, их сочли бы за коммунистов».

Ночью в мою палатку опять пришли агенты. Они заткнули мне рот носовым платком, чтобы я не мог кричать. Затем они начали вспарывать мне живот. Они сделали эти четыре длинных разреза, — он провел пальцами по рубцам. — На этот раз они намеревались убить меня, но пришел командир

роты и сказал, что лучше оставить меня живым как пример для других. Они вынули платок из моего рта, стерли им кровь. И выжали его в ведро с водой. Они снова заставили моих товарищей пить эту воду...»

Другие рассказывали о том как у пленных на руках или ногах вырезали куски живого тела и заставляли их товарищей варить и есть эти куски. Они показывали места на руках, ягодицах и бедрах, откуда были сделаны эти вырезы. Они говорили о случаях, когда у убитых товарищей вырезалось сердце и показывалось как предупреждение тем, кто «колебался», о случаях, когда их товарищей живыми топили в выгребных ямах, или убивали, а потом бросали в эти ямы.

Офицеры восьми наций в изящной военной форме и журналисты, представлявшие прессу всего мира, стояли, потеряв дар речи, перед лицом шестидесяти пяти истощенных людей, покрытых шрамами, татуировкой с бритыми головами, — на них ничего не было кроме трусов или полотенец, обмотанных вокруг бедер. Никто не мог сомневаться в правдивости того, что они говорили. О перенесенных ими страданиях рассказывали татуировка и шрамы. Нельзя было не верить им, видя их горящие глаза, чувствуя глубокую искренность в их голосе, слыша почти ежедневно в течение трех недель множество рассказов, один другой подтверждающих. Смерд нацистских концентрационных лагерей и газовых камер достиг Паньмыньчжона. Занавес, за которым скрывались жестокость, садизм, процветавшие в американских концентрационных лагерях — в лагерях смерти, был сорван. На этот раз он был сорван в присутствии трезвых международных наблюдателей, многие из которых были умудрены опытом судебной практики и могли судить о достоверности таких показаний.

То, что рассказали шестьдесят пять пленных о зверствах, не удивило тех, включая и авторов, кто подробно изучил условия жизни пленных на острове Кочжедо и других американских лагерях смерти. Когда был задан вопрос: «Знает ли кто-нибудь Ли Да-аня?» — раздались десятки выкриков: «Он убил многих наших товарищей», «Самый безжалостный мучитель», «Он вырезал у меня кусок мяса».

Вернувшиеся по непосредственной репатриации военнопленные подробно рассказывали о чудовищной деятельности этого душегуба. Но, кроме того, когда Ли Да-аня, опрометчиво согласившийся стать агентом разведки, был сброшен на парашюте на корейско-китайской границе и был захвачен в плен, он сам признался во многих совершенных им злодеяниях.

Китайский военнопленный Су Чэнь-гао (лагерный № 730767) показал, что 8 апреля 1951 года в полдень, когда должен был начаться «отбор» военнопленных, специальные агенты, предводительствуемые Ли Да-анем, отводили в сторону военнопленных,

которые, несмотря на то, что они были татуированы, требовали репатриации.

«Хладнокровно, — рассказывал Су, — агенты вырезали куски мяса на руках, пытаясь заставить пленных отказаться от возвращения на родину. Лагерь переполнился душераздирающими криками и воплями. Вечером Ли Да-ань пришел в палатку № 22 с веревкой, на которую были нанизаны куски человеческого мяса, — в одной руке и с ножом — в другой. Он помазал ножом куски мяса и сказал: «Эти куски вырезаны в четвертом батальоне у тех, кто хотел репатрироваться. Если вы тоже будете требовать репатриации, вы также оставите кусок мяса». Потом Ли Да-ань подал знак рукой группе специальных агентов, у каждого из которых в руке был нож, чтобы они заставили нас раздеться. Сначала они вытащили Лу Ань-циня. Двое агентов держали его, когда третий начал орудовать ножом. Мы собственными глазами увидели полоску мяса, вырезанную на руке Лу Ань-циня, и кровь, стекавшую на землю. После него куски мяса были вырезаны у Цзя Вэй-миня, У Юй-вэя и Сунь Е-туаня. Потом агенты схватили меня и спросили: «Чего ты хочешь?» Я ответил: «Вернуться на родину». Тотчас агенты вырезали кусок мяса на моей левой руке. Хотя боль была нестерпимой, мы, сжав зубы, перенесли ее. Позднее агенты отобрали из нас двадцать три человека и подвели к входу своего штаба, где Ли Да-ань, неистовствуя, избил нас длинной, шестифутовой палкой».

Сам Ли Да-ань за шесть месяцев до того, как состоялась беседа с шестьюдесятью пятью военнопленными, многие из которых были его жертвами, весьма развязно рассказывал о своей деятельности. На Кочжедо он был «помощником командира» «76-го полка» — одного из двух «полков» на Кочжедо, в котором были только одни китайцы. После перевода на Чечжу он был командиром одного из созданных там трех «полков», а в ноябре 1952 года он был направлен на остров Сонкапдо, где готовили разведчиков. В конце апреля 1953 года он был сброшен на парашюте на корейско-китайскую границу, а через три дня захвачен в плен.

Ли Да-ань рассказал:

«8 апреля 1951 года около трех часов дня в «72-й полк» пришел американский капитан Ронье, начальник лагеря военнопленных, чтобы посмотреть, как ставятся палатки для проведения отбора пленных, который должен был начаться 9 апреля. Перед уходом он бросил на стол длинные ножницы с красными ручками и улыбнулся мне, не сказав ни слова. Он вышел, но потом быстро вернулся. Улыбаясь Ван Шунь-цину (главному гоминдановскому агенту в лагере. — *Авторы*), он сказал: «На сегодняшний вечер лагерь ваш». После того, как он ушел, я разъединил ножницы и использовал их прямую часть как кинжал.

В этот вечер, около семи часов, мы перешли в «батальоны», чтобы во двор вывели всех пленных, выразивших желание вернуться домой, и дали каждому из них по пятидесяти ударов дубинкой. Мы приказали, чтобы у пленных, у которых руки были татуированы, вырезали куски мяса, а всех оказывающих сопротивление избить до смерти. Сначала я пошел в офицерский «батальон» и вырезал куски мяса у нескольких военнопленных. Затем я связал куски вместе и взял их с собой, показывая их пленным в других «батальонах». Я говорил им: «Кто из вас хочет вернуться домой, должен подвергнуться такой же операции. Завтра наши отряды уничтожения будут стоять у входа, и никто не сможет пройти через дверь». Позднее, когда я разговаривал с Ван Фу-тянем в расположении «5-го батальона», я услышал, как кто-то в «3-м батальоне» крикнул: «Товарищи, поднимайтесь! Разобьем их!» Я тотчас бросился в «3-й батальон» и увидел, что кричал военнопленный Чжан. Я подошел к нему и заколол его ножом.

Затем военнопленные были собраны в помещении школы службы «гражданской информации и просвещения». Когда я вошел в класс, я увидел, как люди из «корпуса безопасности» без разбору избивали дубинками и убивали ножами военнопленных. Я услышал, как Линь Сюэ-пу, военнопленный из «2-го батальона», закричал: «Да здравствует председатель Мао!» Да здравствует Коммунистическая партия! Я подошел к нему и несколько раз вонзил в него нож — он упал замертво. Я встал на возвышение в классе и увидел, что многие военнопленные лежали на полу: они были так жестоко избиты, что не могли двигаться. В эту ночь в «полку» более чем у двухсот человек вырезали куски живого тела, а избитых было еще больше. Тела убитых я приказал засунуть в бочки из-под бензина и прикрыть их тряпьем.

Утром 9 апреля, в день начала отбора пленных, начальник школы «гражданской информации и просвещения» Сунь Чжун-гэн, Ли Гу-хуа и Лу Лу избивали дубинками до смерти пленного из «4-го батальона» Ян Вэнь-хуа, который настаивал на возвращении домой. Это было совершенно в присутствии американцев. Впоследствии американцы вывезли на грузовиках все трупы. В этот день в «72-й полк» для проведения отбора пришло много американцев а также китайцев и корейцев, одетых в форму американской армии. Пришел и бригадный генерал Додд. Более десятка американцев с дубинками в руках охраняли входы в расположение «батальонов». Они никого не пропускали. Возле расположения «72-го полка» были поставлены два джипа с установленными на них тяжелыми пулеметами, которые были направлены на вход.

Ван Шунь-цин стоял в проходе во главе вооруженной ножами и дубинками группы из «корпуса безопасности» и приготовился

собирать карточки. Я охранял вход в расположение «батальонов», и у меня также были нож и дубинка. Никто из пленных, запуганных таким образом, не осмелился во время опроса заявить о своем желании вернуться домой...»

Подробный рассказ о шрамах на телах шестидесяти пяти военнопленных, о кусках живого мяса приведен здесь для того, чтобы читатель мог составить себе ясное представление о тех «порядках», которые царили в лагерях смерти. Без этого нельзя понять того, что происходило в лагерях всё это время, и особенно в период подго-

товки, как говорили агенты, к «разъяснению» и «отбору».

Собирая материал для книги «Кочжедо без занавеса», авторы слышали много подобных, почти невероятных историй от отдельных попавших в плен агентов. Но впечатление, произведенное на авторов шестюдесятью пятью пленными, каждый из которых побывал в руках агентов и чьи тела носили на себе ужасные доказательства того, что агенты, попавшие в плен, и их жертвы не лгали, — не оставляло места ни для малейшего сомнения, что «ночи длинных ножей» были страшной правдой.

*Перевод с английского Г. В. ГОРЕЛОВА.*

---

---

*В. Ефименко*

## ПРОИСКИ США В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Простые люди всей земли с глубоким удовлетворением встретили итоги Женевского совещания министров иностранных дел. Весь мир увидел, что войну можно прекратить путем мирных переговоров при наличии доброй воли с обеих сторон.

Во Вьетнаме наступил мир,

«Грязная война» закончилась. И в наступившей тишине тем более странно слышать те призывы к новой войне, которые несутся через весь Тихий океан с берегов далекой от Азии «демократической» Америки. Размахивая атомной и водородной бомбами, оставшие и действительной службы генералы, конгрессмены и бизнесмены, различного ранга политические и государственные деятели США, республиканцы и демократы требуют новой войны, нового кровопролития, ибо монополии США жаждут новых военных дивидендов.

Генерал в отставке Уиллоби, ранее подвизавшийся в качестве начальника разведки в штабе Макартура, с пеной у рта требует использовать атомные и водородные бомбы, чтобы свести на нет «неисчерпаемые людские ресурсы Азии». Он настаивает не меньше как на «создании пояса выжженной земли» в Азии путем атомных бомбардировок Индо-Китая, Кореи, Китайской Народной Республики и советского Дальнего Востока. Каннибалу в отставке вторит начальник штаба военно-морских сил США адмирал Керни, предлагая немедленно начать «превентивную войну», а генерал Марк Кларк, который еще недавно свирепствовал в Корее, настаивает на войне «без ограничений».

8 июня на обеде «Союза людей, говорящих на английском языке» в Лондоне главнокомандующий Северо-атлантического блока в Европе генерал Грюнтер угрожал Советскому Союзу применением атомного оружия.

К воинственному хору оруженосцев американского империализма присоединили свой голос и гражданские поджигатели войны. Один из них — небезызвестный разведчик Буллит на страницах органа провокаторов — журнала «Лук» в августе исте-

рически кликушествовал: «наши небеса будут полны смерти, если мы не уничтожим промышленные центры Советского Союза, прежде чем в них будет произведено достаточное количество бомб и бомбардировщиков...»

Нет нужды перечислять все высказывания американских поджигателей войны всех мастей. Они стали слишком похожи как по форме, так и по содержанию.

Еще в 1931 году американский писатель Теодор Драйзер в своей книге «Трагическая Америка» предупреждал свой народ относительно его подлинных правителей — монополистов, что они являются поджигателями войны, а «облик тех господ, которые устами своих правительств объявляют войну для того, чтобы предотвратить падение своих прибылей или выжать новые прибыли (и какие!) из чужих стран, а также из своей собственной, всё яснее вырисовывается как облик самых доподлинных грабителей, международных пиратов».

Чем же объясняется такое усиление воинственных призывов, несущихся из-за океана в нынешнем году? Причина лишь одна — провал агрессивных замыслов монополистов США втянуть народы в новую войну, провал их попыток поработить многомиллионные азиатские народы.

Казалось бы, ситуация благоприятствовала планам американских рабовладельцев. Главный их конкурент в Азии — милитаристская Япония была разгромлена, партнеры-конкуренты — Англия, Франция и другие колониальные империи были ослаблены и оказались по уши в долгах у американских боссов, американские денежные мешки нажили на войне баснословные барыши, и ограбленные, измученные войной народы Азии нуждались буквально во всем. Американский флот господствовал в Тихом океане, а американские «Джи Ай» оккупировали Японию, Южную Корею, Филиппины, почти все тихоокеанские острова, засели в Китае.

Нужно признать, конечно, что американские правители не дремали и, как говорят

в США, «использовали свой шанс». В Японии они сохранили реакционный императорский строй и ее военный потенциал, а вместе с тем наложили лапу почти на всю японскую экономику. В Южной Корее они посадили у власти свою кровожадную марионетку Ли Сын Мана; затратили шесть миллиардов долларов на помощь Чан Кай-ши, чтобы разжечь войну в Китае; в Таиланде помогли захватить власть военной клике; на Филиппинах силой штыков посадили у власти коллаборационистов и фашиста Роксаса; в Индонезии помогли голландским колонизаторам напасть на Индонезийскую республику; во Вьетнаме реставрировали марионетку Бао Дая и так далее.

Еще в 1949 году пресловутый генерал Макартур, обожающий хвастовство и саморекламу, заявил: «Война целиком изменила американскую стратегию. Сейчас Тихий океан стал англо-саксонским озером и линия нашей обороны (вернее, агрессии. — В. Е.) проходит через цепь островов, обрамляющих побережье Азии. Она начинается на Филиппинских островах, идет через архипелаг Рюкю с его главным бастионом Окинава, затем проходит через Японию и Алеутские острова».

Известно, что в годы второй мировой войны США создали на Тихом океане 256 военных баз и опорных пунктов. Фигурный листок «обороны», который американское командование пытается нацепить на эти базы, срывают американские же разбойники пера, обслуживающие подготовку новой войны. Одновременно с чванливым заявлением Макарута известные в США реакционные обозреватели брата Олсеп «советовали» Пентагону значительно расширить сеть военных баз, без чего американская авиация не сможет «поразить отдаленные жизненные центры на Урале и за Уралом».

Количество американских военных баз в

послевоенный период значительно увеличено. Свыше полутора тысяч островов Маршалльского, Мариинского и Каролинского архипелагов объявлены американской военно-стратегической зоной, которая полностью изолирована от внешнего мира. В таком же положении находится и незаконно захваченный китайский остров Тайвань, а оккупированная американцами Япония покрыта десятками военно-морских и военно-воздушных баз. 35 американских баз построено на Филиппинах, 27 баз (как об этом сообщил индийский журнал «Блиц») создано на территории Пакистана. Для этих же целей американцы заполучили у Австралии остров Манус, их базы строятся на Новой Гвинее. Американцы распоряжаются всеми военными объектами Таиланда. Они же замысливают использовать для военных баз 90 пунктов в Индонезии, без ведома последней.

Значение всех этих баз состоит не только в том, что они должны послужить плацдармами и трамплинами для агрессивной войны против Советского Союза и Китайской Народной Республики. Значительная их часть направлена специально против союзников США (особенно против Англии) и против Индии, Индонезии, Бирмы, Вьетнама и других азиатских стран.

Американские генералы и дипломаты любят похвастать количеством построенных ими военных баз. Однако множество военных баз — это еще не показатель силы. Опыт агрессивной войны США в Корее показал, что, хотя американские генералы имели в своем распоряжении множество военных баз как на самом Корейском полуострове, так и вблизи его, успеха они одержать не смогли. Кроме пушек, нужных и люди, которые стреляли бы из них и были твердо уверены, что их стрельба необходима интересам родины. А в этом и заключается одно из слабых мест воинства американского империализма.

## МЕЧТЫ О НАЕМНИКЕ «ЗА ЧАШКУ РИСА»

Военно-политическое поражение в Корее было для американской военщины тягчайшим ударом. Американское воинство не оправдало надежд боссов. Тщательно подготавливаемый в течение многих лет миф о «непобедимости» американской армии, ее подавляющем превосходстве над другими армиями мира лопнул, как мыльный пузырь, поя ударами Народной армии Кореи и китайских добровольцев. «Мы оказались не такими сильными, какими сами себя представляли», — сокрушался генерал Маршалл. Все народы Азии убедились, что американский империализм не такой всесильный, каким он старался казаться. Безнакаванность империалистического разбоя в Азии миновала.

Однако, не отдавая себе отчета в проис-

ходящем, ослепленные жадной наживы, правители США и американская военщина вынашивают новые планы и способы покорения свободолюбивых азиатских народов. Истинные хозяева Америки — жрецы «Желтого дьявола», эти, по выражению Драйзера, скоты-финансисты, требуют колониальной войны. И на страницах американских газет, журналов и в эфире с циничной откровенностью всё чаще обсуждаются проекты всевозможных генералов, политиков, журналистов, экспертов и прочих «стратегов», направленные к одной цели — как лучше и дешевле осуществить новую агрессию.

При этом все эти прожектеры, учитывая опыт Кореи, где «непобедимая» американская армия потерпела позорный провал.

а также нежелание простых американского солдата, можно воевать, — всё чаще обращаются к излюбленному способу колонизаторов — воевать чужими руками.

Кое-какой опыт в этом отношении им дала та же агрессия в Корее. Американский представитель в ООН Лодж, хвастая перед корреспондентами, как ловко он обманул своих союзников и использовал флаг ООН для разбоя, заявил: «15 членов ООН, помимо Соединенных Штатов, направили в Корею в общей сложности две дивизии. Если бы они не сделали этого, мы вынуждены были бы направить туда на две дивизии больше... По нормам второй мировой войны эти две дивизии обошлись бы в 600 миллионов долларов в год. Если рассматривать помощь Объединенных Наций с чисто финансовой точки зрения, то Соединенные Штаты ежегодно сэкономили, таким образом, 600 миллионов долларов, в то время как наши расходы на ООН составляют 25 миллионов долларов. Это неплохая сделка. Причем эти цифры не учитывают человеческих жертв — убитых, раненых и пленных».

Действительно, гибель дешевых наемников была неплохой сделкой для американских торговцев смертью. Как они «ценили» своих союзников, можно судить хотя бы по тому, что если страховые компании США за убитого солдата-янки платили страховую сумму в 1 000 долларов, то за турецкого янычара — не более 20 долларов.

Особое внимание американских охотников за пушечным мясом привлекают человеческие ресурсы Азии. «В азиатских странах, — пишет американский журнал «Юнайтед Стейтс нью энд Уорлд рипорт», — живут миллионы людей призывного возраста... В общем, в некоммунистических странах Азии живет более 700 миллионов человек. Из них 70 миллионов человек в возрасте от 20 до 34 лет — основные людские резервы». При этом журнал подсчитал, что Индо-Китай мог бы создать армию численностью в 2,7 миллиона человек, Филиппины — 2 миллиона, Япония — около 9 миллионов, Таиланд — почти 2 миллиона, Малайя — 625 тысяч человек и так далее.

Требования воевать против азиатов «руками азиатов» раздаются в США почти каждый день. «Я убежден, — заявил бывший глава американских военных советников в Южной Корее генерал Робертс, — что белые люди должны посылаться в Азию только при последней необходимости. Мы могли бы использовать туземные войска вместо наших собственных. Мы могли бы платить им немного — пять долларов в месяц и чашку риса ежедневно. Если бы они не сражались, мы не давали бы им есть».

Мечта о наемнике «за чашку риса» не дает спать и другим американским генералам. Неудачливый вояка генерал Ван Флит писал на страницах журнала «Зис УИК мэгэзин»: «За те средства, которые идут

на обучение, кормить и содержать шестнадцать южнокорейцев». Недавно он вновь убеждал читателей журнала «Ридерс дайджест», насколько выгодно содержание «туземных» войск. Так, по его подсчетам, десять дивизий, сформированных из турок, пакистанцев, иранцев и тайландцев, обошлись бы не более чем в сто миллионов долларов, что составляет меньше половины стоимости содержания в год одной американской дивизии.

Однако американских поджигателей войны более чем иранцы или пакистанцы привлекают японские самураи. Здесь, очевидно, сказывается то, что американским воякам в свое время пришлось испытать немало неприятностей от них, и то, что Япония, оккупированная американцами, представляется им как наиболее надежный поставщик пушечного мяса.

Еще в 1949 году бывший командующий американской 8-й армией генерал Эйкельбергер призывал США использовать японцев, «так как японский солдат значительно дешевле наиболее дорогостоящего американского солдата». Его пожелание полностью разделяет обозреватель журнала «Ньюс уик» Раймонд Моли, писавший: «В Японии имеются два или три миллиона пригодных и закаленных в боях солдат... и много тысяч обученных офицеров, которых можно было бы дешево кормить и содержать». Еще дальше, побивая все рекорды цинизма, пошла газета «Нью-Йорк тайме». На ее страницах некий Эдуард Додд предъявлял правительству следующие претензии:

«Японцы вели жестокую и опустошительную войну. У них нет наличных средств, нет товаров, которые они могли бы уплатить в качестве репараций, но у них имеется бесценный капитал в виде нескольких миллионов ветеранов, не знающих себе равных в бою. Почему же, например, мы не можем вооружить и снарядить миллион этих ветеранов?... Нам не пришлось бы платить Японии наличными, так как такая армия могла бы заработать деньги, и, к счастью, содержание каждого человека обходилось бы значительно дешевле, чем это обходится у нас или в Европе... Такая армия с современным снаряжением и с офицерами из числа американцев и японцев могла бы быстро пройти (!) через Китай». Увлечшись планами завоевания руками наемных самураев чужих земель, «Нью-Йорк таймс» призывала двинуть затем японцев на захват Индо-Китая и Малайи, Захватывать, так захватывать!

Итак, все американские «планировщики» будущей войны приходят к единодушному мнению — в Азии нужно воевать «руками азиатов». Но как заполучить эти «руки азиатов»? Как это сделать таким образом, чтобы азиаты сами не дали по лапам американским любителям загрести жар чужими руками?

## СЕАТО — ЯДРО АРМИИ НАЕМНИКОВ

Сколотив марионеточные армии в Южной Корее, на Филиппинах, в Таиланде, сохранив банду Чан Кай-ши на Тайване и милитаристов Японии, подсчитав человеческие ресурсы других стран Азии, — боссы приступили к сколачиванию разноплеменных наемников в единое организационное целое. Наиболее удобной для этого организационной формой они сочли новое издание Тихоокеанского пакта — СЕАТО.

Американская реакционная пресса не скрывается на комплименты в адрес Даллеса за его «идею» СЕАТО. Но она не нова. С идеей создания подобного блока, как агрессивного союза всех темных реакционных сил Азии и европейских колонизаторов под эгидой США, госдепартамент носится уже несколько лет. 31 августа 1949 года конгресс США даже создал специальный комитет для «изучения» вопроса о создании агрессивного союза, известного тогда под наименованием Тихоокеанского пакта.

Вначале, чтобы обмануть мировое общественное мнение, а также пытаться выдать создание этого агрессивного блока за желание самих азиатских стран, США пытались замаскировать свое руководство и на первый план выпустили Чан Кай-ши, Ли Сын МаНа и бывшего филиппинского президента Кирино. Однако эти лакеи не смогли выполнить поручения своих хозяев, хотя и надрывали горло призывами к правительствам других азиатских стран создать пакт. Затея сорвалась. Слишком презренны были фигуры «инициаторов» и слишком отрицательно высказались азиатские народы против этого агрессивного союза.

Тогда госдепартамент США открыто возгласил руководство по созданию агрессивного союза в Азии.

Начиная с 1951 года, во многих пунктах Азии состоялось множество различных конференций, совещаний и встреч американских, английских, французских колонизаторов и их азиатской агентуры. Достаточно напомнить конференции в Бангкоке, Сингапуре, Багио к другие. Все они были посвящены выработке планов и средств борьбы против народов Азии и сколачиванию реакционных блоков. Этими же вопросами занимались и многочисленные американские военные, экономические и специальные миссии, различные полномочные эмиссары правительства США, «обследовавшие» страны Азии. Только за последний год в азиатских странах побывали такие знатные американские визитеры, как Даллес, министр обороны Вильсон, вице-президент Никсон, генерал Ван Флит, начальник группы объединенных штабов адмирал Редфорд и многие другие.

Долгое время США пытались сколотить реакционные силы Азии, оформив союз

Австралии, Новой Зеландии, Индии, Филиппин, Таиланда, Бирмы и других стран под эгидой США, а основой подобного союза должна была стать оккупированная Япония, военный потенциал которой американцы усиленно возрождали.

Однако противодействие народов сорвали этот замысел, я только осенью 1951 года госдепартаменту США удалось заключить двусторонние военные соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Филиппинами на основе закона о так называемом «обеспечении взаимной безопасности». Летом 1952 года из представителей этих стран был создан совет «Тихоокеанского союза» и при нем — военный комитет, через который Пентагон получил возможность распоряжаться армиями стран-участниц.

На этом успехи американских охотников за пушечным мясом закончились, так как другие азиатские страны категорически отказались принимать участие в этом агрессивном союзе.

После того, как попытки американской дипломатии сорвать Женевское совещание потерпели провал, госдепартамент США во главе с Даллесом вновь предпринял попытку создать в Азии обширный агрессивный союз. Таким образом, спектакль, именовавшийся «Тихоокеанским пактом», который провалился в 1951 году, вновь был поставлен под наименованием СЕАТО новыми режиссерами.

Уже в ходе подготовки создания этого блока американская печать откровенно писала, что США преследуют всё ту же цель — заполучить в свое распоряжение территории азиатских стран для создания агрессивных плацдармов, а населяющие их народы использовать в качестве пушечного мяса. Расписывая, как это было бы хорошо для завоевательских планов США, журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» сообщал о структуре будущей армии наемников: «Обязанностью новых азиатских армий стали бы наземные бои», а США ограничили бы «бомбардировщиками, истребителями, военными кораблями и военными миссиями».

Об этом же распространялся на страницах "Коммершл энд файнэншл хроникл" американский экономист Бобсон: «...Мы делаем так, что солдаты с Формозы, из Кореи, Австралии и других граничащих стран... будут вести бои...» Для себя американский Шейлок оставляет более прибыльное дело: «Мы будем поставлять вооружение. Это поможет выравнивать цены на товары, увеличит занятость и должно привести к победе республиканцев на выборах в конгресс в ноябре этого года».

Но и на этот раз постановка не удалась, хотя и готовилась с большой помпой. Как

известно, договор о СЕАТО был подписан 8 сентября на конференции в Маниле (Филиппины). Участниками конференции, кроме США, были Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины и Пакистан. Уже из самого состава действующих лиц видно, что хотя СЕАТО создан под фальшивым предлогом «обороны» Юго-Восточной Азии, только три страны — Таиланд, Филиппины и Пакистан — можно отнести к азиатским странам. Однако Таиланд и Филиппины уже давно находятся в колониальной зависимости от США. В этих странах у власти стоят американские ставленники, а в экономике, господствуют американские монополии. Пакистан попал в силки американской «помощи», а Австралия и Новая Зеландия политически и экономически зависят от колониальных держав. Таким образом, только одна десятая часть населения Азии представлена в СЕАТО своими правительствами, да и то вопреки воле народов, которых они «представляют». Следовательно, американским империалистам с созданием СЕАТО почти ничего не удалось добиться.

Даллес, выступая в Маниле, довольно пространно рассуждал о «мирных» целях СЕАТО, но убедить ему никого не удалось. Даже такая газета, как «Чикаго трибюн», не могла согласиться, что СЕАТО является мирной оборонительной организацией. В Маниле Даллес говорил об «ответственности США в самых отдаленных районах мира». Вернее же, заявляет «Чикаго трибюн», он говорил о «стремлении правительства к вмешательству. Эта система взаимосвязанных союзов представляет собой не что иное, как гарантию того, что США будут участвовать в любой войне, где бы то ни было, даже если она и не будет затрагивать американских интересов. Поведение государственного секретаря, — заключает газета, — наводит на мысль, что он твердо намерен добиться войны, где только сможет».

Итак, американская же буржуазная газета признает, что подлинной целью СЕАТО является не мир, а война. Это же подтверждает небезызвестный обозреватель газеты «Нью-Йорк геральд трибюн» Липпман, который с удовлетворением отметил, что СЕАТО дает формальное право США на вмешательство в дела азиатских стран и что «это вмешательство может носить любой характер, начиная от экономической и военной помощи и кончая прямой интервенцией».

Если агрессивный характер СЕАТО признают сами американцы, то тем более его нельзя было скрыть от народов Азии. Несмотря на грубый нажим, шантаж, щедрые посулы, главные страны Юго-Восточной Азии — Индия, Индонезия, Бирма и другие — категорически отказались стать американскими наемниками. Как справедливо писала индонезийская газета «Брита Индо-

незия», «главные страны Юго-Восточной Азии — Индия, Индонезия, Бирма — отвергли пакт СЕАТО. Таким образом, этот пакт — урод с самого рождения и не может дышать в атмосфере Азии, народы которой желают мира».

Вместе с тем, СЕАТО представляет угрозу миру в Азии и независимости азиатских народов. Достаточно напомнить, что по настоянию американских империалистов к договору приложен специальный протокол, из которого видно, что США пытаются втянуть в СЕАТО Лаос, Камбоджу и Южный Вьетнам и этим сорвать решения Женевской конференции. Четвертая статья договора предусматривает совместные действия стран-участниц СЕАТО против национально-освободительного движения народов Азии по первому требованию империалистов США.

Кроме этого, в числе незримых участников СЕАТО находятся клики Ли Сын Мана и Чан Кай-ши, которые не были официально приглашены только потому, что их участие еще более дискредитировало бы в глазах народов этот агрессивный блок.

Теперь США пытаются привязать к СЕАТО этих марионеток путем двусторонних соглашений. Об этом, например, свидетельствует заключенный 2 декабря 1954 года между США и кликой Чан Кай-ши «договор о взаимной безопасности», который является захватническим актом американских империалистов в отношении Китая.

Американские империалисты не делают также секрета из того, что они хотят превратить СЕАТО в более широкий союз с непременным участием Японии.

В течение всего текущего года американские поджигатели носились не только с планами создания СЕАТО, но и целого ряда других проектов не менее агрессивных союзов. Разведчик Доновен, занимавший пост посла в Таиланде, длительное время предлагал создать «буддийский блок», или «союз стран реки Меконг», в составе Таиланда, Камбоджи и Лаоса в качестве орудия, при помощи которого можно было бы сорвать мир во Вьетнаме. Вице-президент США Никсон носился с планами создания «военного полумесяца» в составе Турции, Ирана, Пакистана, Индо-Китая, Тайваня и Японии, чтобы окружить Советский Союз и Китай. Существуют и другие, не менее абсурдные и злобные проекты. Все они свидетельствуют о том, что американские империалисты не оставляют надежды сколотить массовую и дешевую орду наемников и что им, в конце концов, с помощью ли шантажа, угроз, посулов, провокаций или при помощи западни американской «помощи» всё-таки удастся заставить страны Азии согласиться встать в кильватер агрессивной политики США и позволить втянуть себя в огонь войны. Особенные надежды при этом они возлагают на свою широко рекламируемую «помощь».

## ЛАССО АМЕРИКАНСКОЙ «ПОМОЩИ»

Каждому, кто в детстве читал книги Фенимора Купера и Майн-Рида, хорошо известно, что такое лассо. Это длинная прочная веревка с петлей на конце. Ею пастухи ловят и сейчас ловят нужное им животное из стада. Раньше с помощью лассо охотники ловили бизонов в прериях — прием, которому они научились у индейцев. Прием этот прост. Обычно охотник верхом на быстроногом мустанге догонял животное и ловко набрасывал петлю ему на шею. Вначале бизон бежит еще вперед, но вот охотник поворачивает лошадь, веревка натягивается, и полуживотное животное становится добычей охотника.

Точно так же действует и широко разрекламированная американская «помощь» колониальным и зависимым странам Азии.

Прошло уже пять лет с тех пор, как бывший президент Трумэн с большой pompой провозгласил программу «помощи» колониальным и зависимым странам, известную как 4-й пункт «программы Трумэна». Американская пропаганда и вся буржуазная печать долго и назойливо твердили о «бескорыстии доброго дяди Сэма». Теперь эти разговоры почти прекратились, да и сами американцы неоднократно и недвусмысленно заявляли, что о бескорыстии и благоворенности не может быть и речи.

Бывший государственный секретарь Ачесон откровенно признавался по поводу «помощи»: «Не филантропия движет нас... В этой программе мы имеем свою практическую заинтересованность», а конгрессмен Джадд цинично заявил, что при осуществлении «помощи» американцы придерживаются «философии зубного врача, старающегося получить плату с пациента, пока у того еще болит зуб». Что это за «заинтересованность» и «философия» — пояснил и президент «Интернейшнл харвестр компани» Джек Камп на совещании крупнейших воротил американских монополий. «Наше правительство, — заявил он, — может выдвигать в качестве предлогов такого рода моменты, как «помощь отсталым народам», «помощь добрым соседям», «уничтожение коммунизма» и так далее. Однако, если вы или я вкладываем наши доллары в какое-нибудь дело... то мы хотим получить доход в виде прибыли и дивидендов».

Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн» откровенно писала, что согласно плану «помощи» ее целью является «...покупка военной силы... более дешево, чем если бы эти деньги были израсходованы на американские вооруженные силы».

Годы осуществления программы американской «помощи» действительно показали, что прав Джек Камп, а не официальная пропаганда. Американские бизнесмены получают из Азии более 30 процентов прибыли на вложенный капитал, в то время как в США эта прибыль составляет немногим более 13 процентов.

А что принесла американская «помощь» азиатским странам? На примере любой страны, «осчастливленной» этой «помощью», мы можем увидеть, что они, кроме разорения, нищеты и голода, ничего не получили.

Возьмем, к примеру, Филиппины, которые американская печать именуется «витриной американской демократии» в Азии. Печальные дела этой «витрины». Американцы ввозят сюда свои товары совершенно беспошлинно, в то время как филиппинские товары, ввозимые в США, облагаются пошлиной. Таким образом, только на одной торговле с США Филиппины ежегодно теряют сумму, равную своему годовому бюджету.

Американские дельцы хозяйничают во всех сферах филиппинской экономики, а американская военщина, создав 35 баз, установила военный контроль над этой страной. «Независимость», дарованная конгрессом США Филиппинам, настолько призрачна и марионеточна, что это признают и сами американцы. У власти здесь стоят верные слуги американских монополистов, а филиппинские президенты, по образному выражению китайской газеты «Женьминьжибао», являются «комнатными собачками» Вашингтона. Приходится ли после этого удивляться, что филиппинские крестьяне лишены земли, а три миллиона филиппинцев (из населения в двадцать миллионов человек) лишены работы, и голод является постоянным гостем в хижинах простых филиппинцев.

В Таиланде 98 процентов промышленности и важнейших отраслей экономики находятся в руках американских монополистов и их английских конкурентов. Беспощадный ввоз американских товаров душит тайландскую промышленность и сельское хозяйство.

Как только Таиланд в сентябре 1950 года заключил с США соглашение о так называемой «экономической и технической помощи», в тайландские порты стали прибывать грузовые корабли из Америки. Еще задолго до этого американская пропаганда прожужжала все уши жителям этой страны о тех «благах», которые они получат от «великодушных американцев». Но к большому удивлению и разочарованию тайландцев с кораблей стали сгружать не танки и машины, в которых остро нуждается отсталая экономика их родины, а танки, самолеты, бронемшины, пушки.

Затем, под нажимом и руководством американцев, в Таиланде развернулось широкое строительство. Однако опять же простодушные жители «страны лагод» убедились, что вместо заводов и фабрик строятся аэродромы, полигоны, казармы и прочие военные объекты, а тысячи крестьян при этом были согнаны со своей земли. Газета «Сианг Таи», например, писала, что под строительство аэродромов было отобрано много земельных участков у крестьян про-

винции Пакон Саван и рисовые поля крестьян семи районов в провинции Патумтани. Военные расходы в стране резко возросли и составили уже половину всего бюджета. Денег для этих расходов американцы, конечно, не дали, и они собираются с тайландских тружеников путем огромного увеличения налогов. Достаточно будет сказать, что только один земельный налог специальным законом, принятым в 1952 году, был увеличен в десять раз.

Таиланд снабжает Соединенные Штаты в больших количествах рисом, оловом, каучуком, вольфрамом и другими стратегическими материалами. Поставки риса войскам США и войскам их союзников в Азии вызвали голод в самом Таиланде. Как сообщила газета «Сиа микон», почти во всех южных провинциях ощущается острый недостаток риса, цены на который возросли в два раза. Другая тайландская газета — «Пуанчон» писала: «Народ голодает, особенно на северо-востоке; мужчины не имеют жилища, женщинам приходится заниматься проституцией».

В то же время «благотели» американцы только в 1952 году на покупке дешевого тайландского сырья выгадали сорок миллио-

нов долларов, то есть в два раза больше той суммы, которую Таиланд получил по соглашению об американской «помощи».

Такие же тяжелые последствия американской «помощи» испытывает Индонезия, дефицит бюджета которой в прошлом году составил два с половиной миллиарда рупий, а почти половина предприятий текстильной промышленности прекратила работу в результате американской конкуренции.

При учете пагубного влияния американской «помощи» необходимо иметь в виду, что получающие ее страны подпадают под всесторонний американский контроль, так как заключение договора о «помощи» сопровождается кабальными обязательствами военно-политического характера, которые приводят, в конце концов, к потере национального суверенитета. В результате соглашения о «помощи» многочисленные и разнообразные американские миссии, эксперты, советники, инструкторы и прочая агентура американских империалистов получают доступ во все сферы государственной и экономической жизни «облагодетельствованной» американцами страны, получают возможность контролировать всю ее внутреннюю и внешнюю политику.

## ЭМБАРГО НА ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В 1951 году Генеральная Ассамблея ООН, под нажимом правительства США, приняла незаконное решение об эмбарго на торговлю с Китайской Народной Республикой. Нужно признать, что это был хитроумный ход американских монополистов, которые, вопя о «коммунистической угрозе», одним ударом разрушили традиционные торговые связи тихоокеанских и азиатских стран. Задуть блокадой Народный Китай им, конечно, не удалось. Жизнь и факты показали, что Китай успешно развивается и крепнет, а его внешняя торговля значительно расширилась, особенно со странами демократического лагеря. Но другие страны Азии, подчинившиеся американскому диктату в отношении эмбарго, оказались абсолютно беззащитными перед лицом американского хищника.

Эмбарго очень убедительно показало азиатским народам, да и некоторым поклонникам Вашингтона среди правителей стран Азии, что все крики американских политиков и дипломатов о «коммунистической опасности» и все меры, которые они проводят якобы в целях укрепления «антикоммунизма» в Азии, как правило, служат только ширмой для корыстных расчетов американских монополистов. Им остается только напомнить восточную пословицу: «Не верь тигру, если он нюхает хризантему, — он готовится к новому прыжку».

Азиатские страны вскоре увидели, что в результате эмбарго единственными покупателями их каучука, олова, риса, нефти и

прочего сырья оказались американские монополисты, и последние не замедлили показать им свои клыки.

Одно только снижение цен на сырье, проведенное американскими монополиями, нанесло экономике азиатских стран тягчайший удар.

В том же Таиланде, в результате снижения цен на каучук, каучуковая промышленность стоит на грани банкротства. В южных провинциях Таиланда закрылось свыше трех четвертей всех плантаций, и 600 тысяч рабочих остались без средств к существованию. На грани прекращения работы находятся сорок процентов оловянных рудников и ряд рудников по добыче вольфрама.

В Индонезии десять миллионов человек, занятых производством каучука, из-за американских махинаций с ценами обречены на нищету. В результате же запрета торговать с демократическими странами такими товарами, как каучук, олово, сахар и другие, Индонезия ежегодно теряет более 300 миллионов долларов.

В Малайе в одном только Сингапуре в 1952 году обанкротилось 846 магазинов и 25 компаний. Такое же бедственное положение создалось и в других странах Юго-Восточной Азии, а для Японии вопрос торговли с Китаем стал одним из основных в американо-японских противоречиях, обостряющихся с каждым днем.

Следовательно, жизнь подтвердила, что эмбарго, введенное по требованию США,

как и предупреждали представители СССР в ООН, подорвало экономику ряда азиатских стран, снизило их доходы от экспорта, ухудшило продовольственное положение, затормозило промышленное развитие азиатских стран и породило массовую безработицу.

Поэтому становятся понятными настоячи-

вые попытки азиатских стран устранить рогатки эмбарго в торговле, избавиться от хозяйничанья в их внешней торговле алчных монополий США. На этот путь уже стали такие страны, как Индия, Бирма, Индонезия, Цейлон и другие. Они не желают эмбарго на процветание своей национальной экономики.

## МЕТОДЫ «ПЛАЩА И КИНЖАЛА»

Экономическая экспансия, эмбарго, навязывание кабальных договоров и союзов являются «официальными» методами, с помощью которых американские толстосумы хотят набросить тень доллара над Азией. Не менее широко они применяют и тайные средства — шпионаж, диверсии, подкуп, шантаж, идеологическую отраву и прочие методы подрывной политики «плаща и кинжала», на которые конгресс США так щедро отпускает доллары.

Примеры подрывной деятельности американских империалистов можно найти в любой из стран Азии. Не случайно правительство США в качестве своих официальных представителей в этих странах предпочитает держать опытных разведчиков и военных, таких, как бывший глава американской разведки и до недавнего времени посол в Таиланде Доновен, разоблаченный в Болгарии шпион Хит — посланник в баодаевском Вьетнаме, адмирал Спруенс — на Филиппинах и другие. Что это за дипломаты — можно судить по поведению американского посла в Индии Частер Боулса. Этот посол, после выборов, принесших значительный успех демократическим силам индийского народа, открыто советовал правительству США принять «реалистические» меры против развития «антиамериканизма» среди индийцев. В эти «реалистические» меры, по его мнению, должно входить создание вокруг Индии полукольца военных баз на территории мелких французских и португальских колоний, расположенных на Индо-Китайском полуострове.

Официальная и тайная агентура США в странах Азии сколачивает вокруг себя все компрадорские элементы, группки оголтелой реакции, национальных предателей и просто уголовные элементы. Активными их пособниками являются и правые социалисты, вроде социалистической партии Сутан Шарира в Индонезии, при помощи которой американцы пытались 17 октября 1953 года совершить переворот, распустить парламент и поставить во главе удобного правительства своего ставленника бывшего министра обороны Гомунку Бивоно.

В Бирме американская агентура длительное время поддерживает и снабжает гоминдановских бандитов, а американская дипломатия пыталась сорвать обсуждение бирманской жалобы на гоминдановский разбой в Совете Безопасности ООН.

Щупальцы американской разведки протянулись до таких государств, как Непал и Кашмир. По Непалу кочуют целые отряды американских «миссионеров», «учителей», «врачей», «туристов», которые особый интерес проявляют к стратегическим пунктам Непала, отдавая предпочтение тем из них, которые находятся на границе с Китаем.

«В Непале, — пишет индийская газета «Хинду Атулук», — нет ни одного стратегического района, где не окопались бы американцы в качестве врачей, исследователей, ученых и т. д.». Газета сообщила, что эти «служители науки» не только собирают шпионские сведения, но и бесцеремонно вмешиваются во внутреннюю жизнь страны, плетут сеть интриг и заговоров против непальского правительства.

Особенно широко американская разведка использует для организации шпионажа и подрывной деятельности миссионеров и духовные миссии. Шпионы и провокаторы в сутанах наводнили все страны Азии. В одну только Индию за последние семь лет прибыло гораздо больше миссионеров, чем за предыдущие двести лет, а их число к началу нынешнего года превысило пять тысяч человек, и большая часть из них — американцы. Их враждебная Индии деятельность стала предметом обсуждения в индийском парламенте и законодательных собраниях штатов.

«Правительство Индии, — писала газета «Хиндустан Стандарт», — получило неопровержимые доказательства того, что многие миссионеры занимаются деятельностью», которая наносит ущерб интересам государства. В районе северо-восточной границы, например, некоторые из этих миссионеров систематически разжигают беспорядки, провоцируя недовольство правительством Индии... тот факт, что эта деятельность ведется под покровом религии, делает ее еще более злобной».

Другая индийская газета «Нейшнл Геральд» также сообщила, что американские «миссионеры основывают свою деятельность на разрушении и осуждении всего, даже самого лучшего в индийской культуре и цивилизации. Высокие идеалы индийской жизни и индийской философии, ценимые и уважаемые во всем мире, открыто осуждаются... Они пытаются лишить нас патриотизма, подавить наши национальные чаяния».

Какую важность придает само правительство США подрывной, деятельности этой агентуры — можно судить по тому факту, что при американо-индийских переговорах в 1952 году об американо-индийском займе США, как одно из обязательных условий, потребовали предоставления особых льгот американским миссионерам в Индии.

Излюбленным способом американской разведки является засылка своей агентуры в различные комитеты и комиссии «наблюдателей», во множестве разъезжающих по странам Азии от имени ООН.

Наконец для провокаций и шантажа американские империалисты широко используют своих марионеток: Ли Сын Мана, Чан Кай-ши и им подобных. Каждому понятно, что кроваваджный маньяк Ли Сын Ман не посмел бы без согласия американцев вопить о «походе на Север». «Корейский фронт, — нагло заявил он, — это лишь небольшая часть войны, которую мы хотим выиграть, — войны за Азию, войны за земной шар». Эти воинственные призывы он произнес в американском конгрессе, где американские законодатели слушали его с огромным удовлетворением, а председатель сенатской комиссии по иностранным делам Уайли даже назвал буйнопомешанного Ли человеком, «преисполненным американских идеалов».

Таких же поджигательских «идеалов» полон и американский выкормыш Чая Кай-ши, который каждый год клянется «возвратить» Китай и 1954 год назвал «решающим» го-

дом. Для любого разумного человека понятно, что этот пигмей явно бессилен в своих злобных намерениях. Поэтому, пытаясь помочь Чану, обозреватель вашингтонской газеты «Стар» уловил конгрессменов, что хотя и неизвестно, сможет или нет банда чанкайшистов «возвратить» Китай, но «если националистов (банду Чан Кай-ши. — В. Е.) снабдить необходимыми транспортными средствами, они смогут захватить большой остров Хайнань в Тонкинском заливе... Армия Чан Кай-ши может также приступить к крупным налетам с Хайнаня и Формозы на Южный Китай».

Вполне понятно также, что сам Чан Кай-ши без поддержки своих вашингтонских покровителей не решился бы организовать пиратские налеты на корабли других государств в нейтральных водах. Об этом ясно сказал помощник государственного секретаря Робертсон, когда заявил, что американская «основная стратегия» заключается в том, чтобы использовать Тайвань «для постоянной военной угрозы Китаю».

По наущению американцев Пибун Сонграм в конце мая сего года обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой прислать «комиссию наблюдателей», так как, дескать, Таиланду угрожают события во Вьетнаме. Представитель Советского Союза убедительно доказал несостоятельность подобной жалобы и разоблачил ее как попытку американских дипломатов втянуть Организацию Объединенных Наций в войну во Вьетнаме.

## ФАБРИКАНТЫ ЛЖИ

«Фабриканты лжи!» — так заклемила индийская газета «Пипл» подвизающихся в странах Азии американских пропагандистов, которые дымовой завесой лживой пропаганды пытаются скрыть агрессивные замыслы американских империалистов.

Деятельность многочисленной своры американских «фабрикантов лжи» в странах Азии подчинена специально созданному вскоре после начала американской интервенции в Корее «Национальному управлению психологической стратегии» США. По словам газеты «Нью-Йорк таймс» это «управление» взяло на себя «инициативу в компании, направленной на мобилизацию во всем мире поддержки целей США».

В американской печати на протяжении длительного времени обсуждались и обсуждаются причины слабой эффективности американской пропаганды и роста антиамериканских настроений во всех странах мира. Высказывалось также много подчас фантастических проектов, как помочь горю, как сделать более действенной свою пропаганду, или, вернее сказать, тот поток клеветы и лжи, в котором им так хочется утопить правду и обелить в глазах народов американский империализм

Так, американский реакционный журнал «Ридерс дайджест» предлагал организовать «крестовый поход» для «завоевания человеческих умов», для чего рекомендовал выделить из ассигнований на... военные нужды (!) пять миллиардов долларов и «опутать весь земной шар радиосетью», купить все газеты мира, «пробить себе путь угрозами или подкупом».

«Ридерс дайджест» напрасно сетовал на недостаток средств. Конгресс США ассигнует на свою лживую пропаганду вполне достаточное количество долларов и создал разветвленную, хорошо оснащенную техническую пропагандистскую сеть с тщательно подобранными и подготовленными мастерами клеветы и лжи. Она имеет, как выболтала газета «Нью-Йорк таймс», специально выработанный «план действий, связанный с прямым пропагандистским вмешательством во внутренние дела тех или иных стран Азии... Радиопередачи и литература составляются таким образом, чтобы оказывать влияние на события в отдельно взятой стране».

Например, в том же любезном сердцу американцев Таиланде отделение информационной службы США подчинило себе весь

пропагандистский аппарат страны, печать, радио, кино. Оно имеет в своем распоряжении библиотеки, выставки, кинотеатры, издает брошюры, бюллетени, выпускает пропагандистские фильмы и т. д.

Американское посольство контролирует большинство местных газет, а остальные получают субсидии за опубликование материалов американской информационной службы. Экраны тайландских кинотеатров монополизированы Голливудом, а специальные кинопередвижки курсируют по районам страны. Книжные лавки и киоски забиты американскими комиксами, журналами, газетами. Отделение «Голоса Америки» транслирует специальные радиопередачи из США на тайландском языке.

В Бирме в 1952 году такое же отделение информационной службы имело библиотеку, радиотрансляционный узел, выпускало информационный бюллетень для бирманских газет, журналов. В Бирме же американцы создали и финансировали различные организации провокаторов, такие, как комитет «Свободная Азия», «Лига молодежи», ассоциация «культуры и науки» и другие. Деятельность американских пропагандистов в Бирме приняла такие широкие размеры, что это привлекло внимание общественности. Индийский журнал «Блиц» писал по этому поводу осенью прошлого года: «...хорошо информированные круги в Рангуне придают большое значение активизации американских органов пропаганды и шпионажа в Бирме, направленных против нынешнего правительства У Ну. Цель этой деятельности, как полагают, подобна той, которая преследовалась в заговоре против Моссадыка».

Уже на этих примерах мы можем сулить, что американские пропагандисты имеют в своем распоряжении достаточно средств и действуют самым наглым образом. Кроме того, все зпатные визитеры, прибывающие из США в страны Азии, непременно выступают с многочисленными пропагандистскими речами.

Однако, невзирая на это, пропаганда США в Азии терпит провал за провалом. Провалы эти объясняются тем, что она пытается правду заменить ложью, а светлым идеям мира и демократии противопоставляет реакционные, человеконенавистнические идейки.

«Наша главная слабость, — констатировал директор «Русского института» Колумбийского университета Джеройд Робинсон, — лежит сейчас не в экономической или военной, а в идеологической сфере, не в области производства товаров или пушек, а в области идей».

В самом деле, что могут преподнести народам Азии наемные пропагандисты, если их задачей является прикрыть агрессивные колонизаторские цели американских боссов, надеть овечью шкуру на американского волка. Ведь азиатские народы не наивные «красные шапочки» я в состоянии разгадать истинное лицо заокеанских хищников.

Пытаясь добиться своей цели, американские органы пропаганды прибегают к самым грязным средствам, чтобы, в первую очередь, подорвать в глазах народов доверие к Советскому Союзу, понизить его непрерывно растущий авторитет среди азиатских народов, посеять чувство сомнения в миролюбивой политике СССР и очернить Китайскую Народную Республику.

Займствованный американцами у Геббельса жупел «коммунистической опасности» является основой содержания всех их видов пропаганды. Каждый день, каждый час они пытаются убедить народные массы азиатских стран, что во всем виноват Советский Союз, Китай и вообще коммунисты. Делается это очень грубо и топорно. Американцы напали на Корею — виноваты коммунисты! Американцы оккупируют Японию — виноваты коммунисты! США строят во всех уголках земного шара военные базы — виноваты Советский Союз, Китай и страны народной демократии и т. д. Всё черное они пытаются сделать белым, миролюбивые народы оклеветать как агрессоров.

Жульническими приемами эти «завоеватели умов» пытаются убедить азиатских жителей, что американский империализм — это «не империализм» и даже не «европейский колониализм», а этакий благодушный «покровитель», безобидный «дядя Сэм». В Индонезии они твердят, что американцы «защищают» ислам, в Бирме и Таиланде — буддизм, на Филиппинах рекламируют себя «истинными христианами», а в Японии — «покровителями» синто. Они всячески расписывают «прелести» американского «образа жизни»: в Америке все равноправны! В Америке все счастливы! В Америке все миллионеры!

У лжи короткие ноги, и обман не удаётся. Да и как можно убедить народы Азии в миролюбии США, если они видели те чудовищные зверства, которые творили американские разбойники над мирным корейским народом? Разве могут 10 тысяч американских лживых «белых книг» о войне в Корее, распространенных тира в Индии, скрыть от индийцев горы трупов и море крови, тысячи пепелищ, которые оставили после себя интервенты в мирной Корее? Разве не жители Азии первыми испытали на себе американскую атомную бомбу, напалм, преступное бактериологическое оружие?

Народы Азии видят бешеные усилия американских империалистов разжечь новую кровопролитную войну. Они видят, что прочие колонизаторы воюют против них на американские деньги, при помощи американского оружия и часто под руководством американцев.

Печать азиатских стран полна разоблачений истинных целей и планов американских агрессоров. Хорошую отповедь американским лицемерам дала, например, индонезийская газета «Харан ракьят», подчеркнув, что индонезийский народ «хорошо знаком с политикой США в отношении Азии

Еще несколько лет назад, — указывает газета, — Индонезия познала эту политику, когда голландцы расстреливали индонезийцев из американских автоматов. Нас нельзя обмануть. Мы прекрасно видим, что народам Азии угрожает американский империализм. США рассматривают народы Азии как пушечное мясо для осуществления своих агрессивных планов».

Провал своей компании одурманивания народов Азии вынуждены признать и ее вдохновители.

«Большинство жителей Азии, — плакался журнал «Лук», — не понимает, а зачастую и не разделяет американского представления о демократии. Поэтому, когда мы пытаемся экспортировать демократию, ваши слова, вероятно, пропадают даром».

Еще более определенно высказался совершивший поездку по странам Азии член верховного суда США Дуглас. США, заявил он, «потерпели политическое банкротство в стремлении оказать влияние на судьбу Азии... За последние несколько лет антиамериканские настроения так усилились, что они легко могут перерасти в Крестовый поход против Америки».

Провал пропагандистских потуг Вашингтонских правителей еще не означает, что их растленная отравленная пропаганда не таит опасности. Поэтому всем простым людям Азии необходимо помнить, что американские империалисты не оставили своих попыток средствами чудовищной клеветы, наглого обмана одурочить народы и охватить их своими ненасытными щупальцами.

Палач корейского народа генерал-чума Риджуэй назвал проводимую Даллесом американскую политику в отношении народов Азии политикой «оскала зубов». С этим наименованием нельзя не согласиться. Американский империализм действительно, оскалив хищную пасть, готовится совершить прыжок на народы Азии и вонзить в них свои клыки. Но перед лицом этой угрозы народы Азии сплывают и укрепляют свои ряды в борьбе за свободу, независимость и мир. Азиатские народы вдохновлены огромными успехами прогресса в странах лагеря мира и демократии, возглавляемого Советским Союзом. Они черпают уверенность в правоте своего дела в великих успехах Народного Китая, в успехах, одержанных в ходе освободительной борьбы народами Кореи и Вьетнама.

В последнее время в различных азиатских странах прошло много митингов, собраний, конференций, которые продемонстрировали неуклонную решимость азиатских народов сорвать черные замыслы американских поджигателей войны.

Народы Азии видят другой, светлый путь развития отношений между народами в при-

мере тесной дружбы между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, союз между которыми является великой гарантией мира и безопасности в Азии. Правительства Советского Союза и Китайской Народной Республики в «Совместной декларации», принятой в октябре с. г., еще раз подтвердили, что «...Советский Союз и Китайская Народная Республика свои отношения со странами Азии и Тихого океана, как и с другими государствами, и впредь будут строить на основе строгого соблюдения принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, взаимного невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования, что открывает широкие возможности для развития плодотворного международного сотрудничества».

Оба правительства глубоко убеждены в том, что такая политика отвечает коренным интересам всех народов, в том числе народов Азии, безопасность и благополучие которых могут быть обеспечены только на основе совместных усилий государств в деле защиты мира».

Значительный вклад в дело мира и безопасности в Азии был сделан совместным заявлением премьер-министра КНР Чжоу Энь-лая и главы правительства Индии Неру о пяти принципах развития отношений между этими странами, обладающими самым многочисленным на земном шаре населением. Как известно, этими принципами являются: взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование. К этим пяти принципам присоединилась Бирма, и, как справедливо отмечал Неру, «другие страны Юго-Восточной Азии поддерживают эти принципы...»

Таким образом, соотношение сил в Азии сложилось явно не в пользу агрессивных кругов США, и уже одно это обрекает на провал все их планы.

Мощный подъем национально-освободительного движения, непрерывный рост политического сознания широких народных масс азиатских стран, укрепление их сплоченности, единства и организованности в борьбе за свои права, за мир, являются гарантией того, что никакие «оскалывания зубов» империалистов всех мастей неспособны приостановить движение азиатских народов по пути прогресса, задуть великий процесс возрождения народов Востока.

«Объективные условия, — указывал товарищ Маленков, — позволяют передовым силам Востока превратить Азию в крепость мира, и надо горячо пожелать всем народам Азии успехов в разрешении этой благородной задачи».

Н. Петров

### НАРОД-ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4 мая 1954 года исполнилось 35 лет с того дня, когда было положено начало антиимпериалистическому и антифеодальному движению в Китае, вошедшему в историю как «движение 4-го мая». Возникшая в процессе его развития борьба за новую демократическую литературу также носит антиимпериалистический и антифеодальный характер.

На протяжении тридцати пяти лет с каждым новым революционным подъемом всё более широкие массы китайского народа включались в движение против империалистического и феодального гнета, за свободу и независимость родной страны, за новый демократический социальный порядок. Созданная в 1921 году коммунистическая партия организовывала и сплавляла народ и вела его на эту решительную борьбу, увенчавшуюся пять лет тому назад славной победой.

Новодемократическая литература в своем развитии за этот тридцатипятилетний срок прошла два основных периода, гранью между которыми является 1942 год, а точнее — известное выступление Мао Цзэ-дуна на совещании работников литературы и искусства в мае 1942 года.

С 1919 по 1942 год продолжался период зарождения новодемократической литературы, когда шли поиски новых путей литературного творчества, сближающих литературу с народом. Стремление революционных писателей помочь своим пером народу, создавать литературу для простых людей — такова характерная особенность новой литературы, рожденной «движением 4-го мая».

Среди многочисленных литературных групп, появившихся в результате «движения 4-го мая», главными были две: общество «Творчество» («Чуанцзао»), возглавлявшееся ныне известным всему советскому народу крупнейшим писателем, поэтом, ученым и общественным деятелем Го Мо-жо, и «Общество изучения литературы» («СВэньсюэ яньцзю хой»), организатором которого был известный историк китайской литера-

туры Чжэн Чжэнь-до. Ведущими писателями этого общества были Лу Синь и Мао Дунь.

Каждая из этих литературных группировок по-разному подходила к вопросам отражения борьбы китайского народа против своих угнетателей. Каждая из них шла своим путем к овладению реалистическим методом. Большая часть писателей из общества «Творчество» от романтизма пришла к реализму через знакомство с марксистской литературой, в процессе борьбы против декадентства, эстетизма, сентиментализма и индивидуализма.

Под воздействием грандиозного размаха революционного движения в 1924—1927 годах группа «Творчество» отбросила свой девиз «искусство ради искусства», отбросила эстетизм, индивидуализм и интеллигентскую сентиментальность. В 1928 году Го Мо-жо в статье «Наше новое литературное движение» прямо призывал к созданию революционной литературы. «Должны ли мы забывать о человеческом обществе?» — спрашивал в своей статье Го Мо-жо и отвечал: «Мы пришли, чтобы восстановить наше общественное сознание», «Мы против основ капитализма», «против ядовитого дракона капитализма», «наше движение в литературе должно раскрывать пролетарский дух».\*

В статье «От литературной революции к революционной литературе» писателя Чэн Фан-у из этой же литературной группировки говорится: «Если мы хотим выполнить наш долг революционной интеллигенции, то мы должны, путем самоотрицания, обрести классовое сознание, приблизиться к языку рабоче-крестьянских масс, считая эти массы нашим объектом. Иными словами, отныне наша литературная революция должна сде-

\* Ли Хэ-линь, О литературных течениях в Китае за последние двадцать лет (на китайском языке). Чунцин—Шанхай, 1945, стр. 111.

лать дальнейший шаг вперед. Этот шаг — от литературной революции к революционной литературе\*.

Название статьи Чан Фан-у стало лозунгом борьбы за создание литературы, отражающей революционный подъем в стране.

Реалистическая группа, выдвинувшая своим девизом «Литература для жизни», а творческим методом — реализм и натурализм, требовала «внимания к социальным проблемам, любви к униженным и оскорбленным». В 1928 году известный писатель Мао Дунь в статье «Что такое литература?» писал: «Литература — естественный голос человеческой жизни. Настроения людей выливаются в письмо. Поэтому мы против того, чтобы литература была морализованной, вместе с тем мы также против того, чтобы литература стала игрушкой для времяпровождения или бессмысленной забавой. Объектом литературы должны быть кровь и слезы униженных и оскорбленных»\*\*.

В 1930 году обе группы объединились в «Лигу левых писателей». Лига вела большую революционную работу в массах. Однако литературные произведения писателей, входивших в Лигу, всё еще отставали от требований, предъявляемых к революционным писателям. Прошло много лет после того, как революционная литература могла стать «литературой о народе и для народа». Как подчеркивал в ряде своих работ Мао Цзэ-дун, новодемократическая литература первого периода (до 1942 года) еще далеко отстояла от народа.

В работе «О новой демократии», написанной в 1940 году, Мао Цзэ-дун, отмечая огромное значение культурной революции, указывал: «Под знаменем культурной революции в борьбе против старой морали за новую мораль и в борьбе против старой литературы за новую литературу были совершены великие подвиги. Это культурное движение в то время еще не могло охватить рабочие и крестьянские массы. Правда, оно выдвинуло лозунг «литературы для простого народа», но в то время «простой народ» практически ограничивался интеллигенцией из городской мелкой буржуазии, то есть так называемой городской интеллигенцией»\*\*\*.

Действительно, в литературе того периода находили свое отражение главным образом жизнь и переживания мелкобуржуазной интеллигенции и почти совершенно не отражали жизнь и борьба народных масс. Причина этого заключалась в отсутствии органической связи между интеллигенцией

и народом. Естественно, такая литература не могла оказывать серьезного влияния на массы, она не могла воспитывать эти массы в духе борьбы за изменение существовавшего в то время режима. Даже в произведениях лучших писателей Китая — Лу Синя, Мао Дуня, Го Мо-жо и других — заметно чувствовался этот отрыв от масс. Так, Лу Синь, этот замечательный знаток народного быта, психологии крестьянства, знаток китайской деревни, не мог в своем лучшем произведении — повести «Подлинная история А-Кью» — подняться до показа роли народных масс в революционной борьбе. В его повести народ, как безликая масса, толпа, присутствует лишь при казни А-Кью. Герой повести А-Кью, глядя на эту толпу, видел только «...страшные глаза, пронизывающие, сверлящие. Они неотступно следили за ним, они, казалось, поглотили его слова и хотели пожрать его самого. Они слились в один чудовищный глаз и впились в самую душу А-Кью».

Отсутствие связи с народом приводило также к тому, что часть интеллигенции погружалась в трясину индивидуализма. Мао Цзэ-дун в работе «Китайская революция и КПК», написанной в 1939 году, анализируя положение китайской интеллигенции в обществе, писал: «...до тех пор, пока интеллигенция не включилась органически в революционную борьбу масс, пока она не исполнилась решимости посвятить себя служению интересам народных масс и жить одной жизнью с массами, она часто бывает склонна к субъективизму и индивидуализму, ее идеи часто оказываются бесплодными, в своих действиях она часто проявляет неустойчивость»\*.

Индивидуалистическая психология интеллигенции, в том числе и писателей, серьезно мешала развитию литературы, объектом которой являлись бы народные массы в народной революции.

Произведения художественной литературы того периода в большинстве своем еще отражали односторонние интеллигентские взгляды на жизнь. Писатели игнорировали в них народные массы, ставя над ними отдельную личность. Наблюдая через окна своих «башен из слоновой кости» окружающую их реальную действительность, такие писатели при всех их добрых намерениях не могли знать народ и, следовательно, не могли правдиво писать о народе.

Связь с народом, отношение к народу, к классовой борьбе пролетариата против иностранного и национального капитала, к борьбе крестьянства против помещиков, наконец, к национально-освободительной борьбе против японских захватчиков, — все эти проблемы были предметом многократных дискуссий в писательской среде. Однако эти дискуссии не разрешали всех возникавших

\* Чжан Жо-ин (составитель), Материалы по истории нового литературного движения в Китае (на китайском языке), Шанхай, 1934, стр. 386.

\*\* Ли Хэ-линь, указ. работа, стр. 21.

\*\*\* Мао Цзэ-дун, Избр. произведения, т. III, стр. 259. Издательство иностранной литературы, Москва.

\* Мао Цзэ-дун, Избр. произведения, т. III, стр. 165. Издательство иностранной литературы, Москва.

вопросов литературного творчества. И только Коммунистическая партия Китая в лице ее руководителя Мао Цзэ-дуна внесла ясность в творчество писателей. Она выдвинула перед писателями ряд положений, которые требовали от них ясного, недвусмысленного ответа об их политической платформе, о занимаемой ими классовой позиции. Писателям также были указаны объекты литературы. Такими объектами литературы должны стать рабочие, крестьяне и солдаты Народно-освободительной армии.

Известное выступление Мао Цзэ-дуна на яньаньском совещании работников литературы и искусства в мае 1942 года дало исчерпывающие ответы на все спорные вопросы, которые в течение многих лет волновали писателей.

Со времени яньаньского совещания, ознаменовавшего огромную победу пролетарской идеологии в литературе и искусстве над идеологией мелкобуржуазной, наступил новый период.

Красной нитью в выступлении руководителя Коммунистической партии Китая проходит мысль о том, что деятели литературы и искусства должны служить народу в лице рабочих, крестьян и солдат. Мао Цзэ-дун говорил: «Революционный писатель или художник в Китае, писатель или художник, подающий надежды, должен идти в массы, должен надолго и безоговорочно, всей душой и всеми помыслами уйти в рабочие, крестьянские и солдатские массы, в самое горнило борьбы, к единственному, широчайшему и богатейшему источнику творчества, для того, чтобы наблюдать, познавать, изучать и анализировать людей, общество, народные массы, все живые формы жизни и борьбы, весь исходный материал для литературно-художественного творчества. Только после этого можно переходить к процессу творчества. В противном же случае твой груд будет беспредметен и получится из тебя именно то, против чего Лу Синь так настоятельно предостерегал сына в своем завещании, — пустопорожный писатель или пустопорожный художник»\*.

После этого выступления Мао Цзэ-дуна китайские писатели, находившиеся в освобожденных районах, обратились к серьезному и глубокому изучению науки всех наук — марксизма-ленинизма. Они приняли активное участие во всех областях общественной и политической жизни освобожденных районов. Войдя в гущу народа и живя с ним одной жизнью, писатели учились у народа, постигали его психологию и характер. Они работали над произведениями, содержанием которых была революционная борьба народных масс. Они работали над изучением народного языка, над народными литературными формами.

Главную свою задачу писатели нового

Китая видели и видят в показе жизни и борьбы трудящихся масс. Народ является основным героем современной китайской литературы. Народ в борьбе против японских захватчиков; народ в борьбе против гоминдановской клики и иностранных империалистов; народ, совершающий величайшую революцию, которая потрясла колониальную систему империализма на азиатском материке; народ, ликвидировавший феодально-помещичий гнет путем земельной реформы и тем самым осуществивший многовековую мечту — «каждому пахарю свое поле»; народ, создавший Китайскую Народную Республику, восстановивший экономику, разрушенную гоминдановской кликой, и строящий сейчас новую экономику, которая становится прочной базой для перехода к строительству социализма, и, наконец, народ, стоящий на страже своих завоеваний, борющийся за мир против американской агрессии, — таковы основные мотивы произведений современных писателей Китая. Сегодня в произведениях китайских писателей уже всесторонне показывается роль народных масс, как решающей силы общественного развития.

Такие произведения воспитывали в трудящихся ненависть к своим угнетателям, поднимали их на борьбу за установление народной власти, против помещиков, против гоминдановского режима, против империалистов, опиравшихся на правящую клику Чан Кай-ши, а в настоящее время эти произведения помогают строить новую, счастливую жизнь.

Одним из общепризнанных лучших произведений такого рода является пьеса драматурга Ма Цзянь-линя «Месть за кровь и слезы», в которой с исключительной силой показана тяжелая жизнь населения в гоминдановских районах и свободная, радостная жизнь в освобожденных районах.

В знакомой советскому читателю повести писателя Чжао Шу-ли «Перемены в Лицзячуане» мы видим яркую картину жизни одной деревни провинции Шаньси почти за пятнадцатилетний (с 1929 по 1945) период. В повести перед нами проходит подлинная жизнь народа. Писатель показывает бесправное положение крестьян в старой китайской деревне, бесчинства и грабежи китайских милитаристов и гоминдановской реакции, антияпонскую борьбу Народно-освободительной армии, борьбу компартии за облегчение положения крестьян, борьбу за демократию. Лейтмотивом всего произведения является мысль, выраженная в словах коммуниста Сяо Чана. Когда главный герой повести Чжан Те-со ищет ответа на вопрос о том, как можно улучшить жизнь, Сяо Чан говорит: «Надо свергнуть всю эту свору, которая опирается на силу штыков. Мы, простые люди, должны стать хозяевами своей жизни. Тогда будет в мире правда и справедливость».

«Но кто же может их свергнуть?» — удивился Те-со.

\* Мао Цзэ-дун, Избр. произведения, т. IV, стр. 142—143. Издательство иностранной литературы.

«Мы сами. Надо только, чтобы все действовали сообща — все, как один. Ведь тех, которые наверху, — ничтожное меньшинство».

И народ в деревне поднимается на борьбу против внешних и внутренних врагов — японцев, помещиков и гоминдановской клики.

«Мы завоевали наш сегодняшний Лицзячжуан своей собственной кровью и никому не отдадим его на поругание!» — говорили одни. «Мы должны не только отомстить за мертвых, но и обеспечить свободу живым!» — говорили другие.

Так заканчивается повесть, в которой народные массы — «мы» — выступают в качестве решающей силы общественного развития.

Известно, что в период войны с японскими захватчиками гоминдановская клика блокировала освобожденные районы. Вследствие этого там ощущался недостаток в промышленных товарах и сельскохозяйственной продукции. В 1943 году коммунистическая партия призвала население освобожденных районов бороться за увеличение производства. Одним из способов увеличения сельскохозяйственного производства была организация «бригад по обмену трудом» — зародыш кооперативного движения в китайской деревне. На призыв партии поднялся весь народ освобожденных районов. Организованные «бригады по обмену трудом» значительно содействовали улучшению продовольственного положения населения и армии этих районов. Благодаря организации женщин в ткацкие кооперативы была также разрешена проблема обеспечения населения и воинов одеждой и обмундированием.

Писатель Кэ Лань в повести «Реет красное знамя», отражая этот трудный период в жизни демократических районов, в художественной форме показал великий патриотизм народа, поднявшегося на борьбу за увеличение производства зерна и тканей. Сам автор долго прожил со своими героями, учил их грамоте и сам учился у них.

Главным героем повести является молодой крестьянин-бедняк, коммунист Лю Хэй-сань, оказавшийся хорошим организатором. Говоря о соревновании между крестьянами двух деревень за повышение сельскохозяйственного производства. Лю Хэй-сань произносит следующие слова: «Это значит, все сообща труд делая. Ты помогаешь мне, я тебе. Чем больше народа дров в костер кидает, тем огонь выше».

Писатель Чжоу Эр-фу в 1949 году выпустил роман «Обрыв Яньсу», в котором рисуется история героической борьбы 8-й Народно-революционной армии против японских захватчиков. В романе показано сплочение Народно-революционной армии с народом, совместные удары армии и народа против захватчиков. Писатель показывает героев из крестьян, рост их сознания.

Когда чанкайшистская клика при непосредственной помощи американских импе-

риалистов развязала гражданскую войну, в произведениях китайских писателей нашло место отражение борьбы китайского народа против банды Чан Кай-ши — врагов народа, приспешников американских империалистов. Так, известный писатель Лю Бай-юй в своих произведениях («Комиссар», «Возвращение домой», «Спаянные кровью» и др.) ярко показал этот героический период.

Повесть «Заря впереди», написанная Лю Бай-юем, основана на материалах подлинных событий. Героями этой повести являются армия и народ. Как известно, в апреле 1949 года мирные переговоры между властями освобожденных районов и правительством Чан Кай-ши не принесла никаких результатов. Тогда Народно-освободительная армия получила приказ начать решительное наступление через реку Янцзы. Об этом и рассказывает Лю Бай-юй. В повести рисуются боицы и командиры одной дивизии, а также крестьяне и партизаны районов действия армии. Дивизии для переправы через реку необходимы были лодки. Между тем все переправочные средства были либо угнаны, или затоплены гоминдановцами, либо скрыты населением. Однако народ активно помогает своей армии-освободительнице. «Всю ночь мы искали лодки, — рассказывал политрук, шагая рядом с комиссаром, — одну нашли, но такую дырявую, что в ней разве на дно перепавишься. Тогда я пошел разыскивать деревню, — без помощи народа в таком деле не обойтись. Прошел по берегу больше двух ли, смотрю — фанза, а возле фанзы вот этот старик стоит. Я начал его расспрашивать — он ничего не понял. Тогда я говорю ему: так, мол, и так, нас послал председатель Мао. Это он понял. «Вы вернулись... вернулись», — говорит, а сам мигом к заливику, а там лодки, целых шесть лодок».

Борьба китайского народа против чанкайшистских банд, против феодального гнета в китайской деревне показана также в известной советскому читателю и зрителю музыкальной драме «Седая девушка» лауреатов Сталинской премии драматургов Хэ Цзин-чи и Дин-и, в пьесе «Лю Ху-лань» написанной коллективом авторов (Вэй Фэн, Лю Лян-чи и др.) театрального общества «Сибэй чжайн-доу». В основу этой пьесы положен подлинный факт зверского убийства гоминдановцами семнадцатилетней девушки, бесстрашной героини Лю Ху-лань. Эта пьеса вдохновляла бойцов Народно-освободительной армии на борьбу с гоминдановскими войсками.

Земельная реформа, проводившаяся Коммунистической партией Китая, представляла собой подлинную революцию крестьянских масс против помещиков и феодалов. Она всколыхнула всё крестьянство, вовлекла его в активную классовую борьбу со своими извечными угнетателями. В процессе проведения земельной реформы невиданно выросло сознание китайского крестьянина.

Это уже не тот забытый крестьянин, образ которого запечатлен в лице А-Кью — героя известной повести Лу Синя, это новый крестьянин, свободный от феодального гнета, осознающий все права, которые ему достались в результате народной революции.

Величайшая в истории Китая аграрная революция также нашла свое яркое отражение в многочисленных произведениях китайских писателей, из которых самыми лучшими являются романы лауреатов Сталинской премии писательницы Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» и писателя Чжоу Ли-бо «Ураган».

В романе Дин Лин «Солнце над рекой Сангань» с исключительным мастерством показана роль народных масс, руководимых коммунистической партией, в осуществлении земельной реформы, которая проводилась в 1947 году в районах, освобожденных от гоминдановского господства. Писательница, сама активный участник проведения этой реформы, нарисовала незабываемые правдивые картины феодальной эксплуатации крестьян, разорение их помещиками, опутывание бедняков и середняков цепями долгового рабства, бесправия крестьян. Она также показала, как в процессе проведения земельной реформы развертывалась ожесточенная классовая борьба, как под влиянием коммунистов росло самосознание крестьян, происходила их организация в единый сплоченный коллектив, как из среды самих крестьян вырастали руководители, которые при содействии и помощи коммунистов проводили земельную реформу.

К этому же периоду (1947—1953 годы) относится и роман Чжоу Ли-бо «Ураган», в котором отражены наиболее характерные особенности величайших событий, последовавших за разгромом японских империалистов. Показ классовой борьбы в деревне против помещиков, достигшей в период проведения земельной реформы небывалой остроты, явился вместе с тем показом формирования нового человека, превращения темного забитого крестьянина в сознательного борца. Героями романа являются простые люди — крестьяне: возчик Сунь, похожий на шолоховского деда Щукаря, батраки Го Цюань-хай, Бай Юй-шань, Да Саоцзы и другие, ставшие не только сознательными людьми, но и руководителями, вожакими крестьянской бедноты. Замечательно нарисован главный герой романа коммунист Сяо Сян — начальник бригады по проведению земельной реформы. В образе Сяо Сяна как бы воплощены мудрость и преданность народа коммунистической партии.

Длительная и упорная борьба китайского народа против империализма и феодализма завершилась величайшей по своему значению победой — образованием 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. Эта победа открыла широкий простор для экономического и культурного развития Китая. Развернувшаяся повсеместно земель-

ная реформа в течение трех лет была почти полностью завершена по всей огромной территории страны. В основном было закончено также и восстановление экономики, доведенной до полнейшего развала в годы господства гоминдановской клики. Сдвиги, происшедшие за эти годы в экономической жизни, не могли остаться вне поля зрения передовых писателей страны.

Так, в повести «Движущая сила» писательницы Цао Мин хорошо показан трудовой подъем, который охватил китайских рабочих при восстановлении разрушенной промышленности, невиданный героизм и высокая сознательность их.

В сентябре 1953 года, на Втором всекитайском съезде работников литературы и искусства, были отмечены лучшие произведения, появившиеся в течение четырех лет, прошедших после Первого съезда. Среди них был роман Лю Цина «Стальная стена», в котором показано сотрудничество китайского крестьянства с Народно-освободительной армией в годы войны, борьба крестьян за поддержку фронта, созданы образы честных и бескорыстных кадровых работников, вышедших из крестьянской среды. В заключительной главе романа дана картина встречи народа со своим вождем Мао Цзэ-дуном, раскрывающая силу любви народа к «председателю Мао», силу верности народа коммунистической партии. Народные массы — это «стальная стена», опираясь на которую коммунистическая партия может одерживать победы — такова главная идея, пронизывающая весь роман Лю Цина.

В романах «Пожар на равнине» Сюй Гуан-яо, «Пламя впереди» Лю Бай-юя и некоторых других даны образы героев гражданской войны и войны против японских захватчиков. В очерках «Наши самые любимые» писателя Вэй Вэй, романе Ян Шо «Три тысячи ли по горам и рекам», очерках Ба Цзиня показаны китайские добровольцы в Корее и раскрыт источник их силы, таящийся во всенародной поддержке.

В докладе председателя Всекитайского союза работников литературы Мао Дуя на Втором всекитайском съезде работников литературы и искусства 25 сентября 1953 года были приведены весьма интересные данные о литературных произведениях, вышедших в свет за последние четыре года. Из двух с лишним тысяч литературных произведений — романов, повестей, рассказов, очерков, пьес, помещенных за это время только в крупнейших журналах и газетах Китая, наибольшее количество произведений посвящено жизни и борьбе рабочих за восстановление и развитие промышленности (400), жизни и борьбе крестьян против помещиков (400), войне против японских захватчиков и гоминдановцев и борьбе против американской агрессии за оказание помощи корейскому народу (300) и т. д.

Среди произведений, издаваемых сегодня, темы гражданской войны попрежнему зани-

мают большое место. Так, молодой китайский писатель Чэнь Дэн-кэ недавно закончил роман «Сыны и дочери р. Хуанхэ» — о народной партизанской борьбе против гоминдановской реакции. Большим успехом пользуется роман Ду Пэн-чана «Оборона Яньани», показывающий народно-освободительную борьбу. В нем даны образы народных героев — от известного генерала Пын Дэ-хуая до рядового бойца — простого крестьянина. Роман «Оборона Яньани» получил не только высокую оценку за свою реалистичность и художественность, но и признан выдающимся художественным произведением вообще, которое, как писал Фэн Сюэ-фэн, «окажет немалое влияние на дальнейшее развитие китайской литературы».

Богатая замечательными переменами кипучая жизнь нового Китая служит неисчерпаемым источником для творчества китайских писателей. Сама жизнь подсказывает им новые темы, которые прежде почти не разрабатывались. Это имеющие исключительно важное значение для Китая темы семьи и брака, темы освобождения женщин от феодального домостроя, показ образа новой женщины, независимой, смелой, активной участницы общественной жизни, темы жизни и борьбы национальных меньшинств, борьбы с коррупцией, растратами, бюрократизмом и, наконец, борьбы рабочего класса и всего китайского народа за социалистическую индустриализацию, за мир во всем мире.

Таким образом, литература и искусство Китая «неуклонно следуя указаниям товарища Мао Цзэ-дуна о том, что литература и искусство должны служить рабочим, крестьянам и солдатам, развивались и шли вперед, как часть общенародного дела»\*.

Если в прошлом главными героями произведений художественной литературы, как уже выше отмечалось, были в основном одиночки, в большинстве своем из среды мелкобуржуазной интеллигенции города. Несмело выступавшие против существовавшего тогда феодально-буржуазного строя, то в настоящее время главным героем литературы выступает народ, простые люди: рабочие, крестьяне и солдаты.

Материалом для произведений современных китайских писателей служит подлинная жизнь. Какого бы писателя мы ни взяли, каждый для создания своего произведения шел в массы, в народную толщу, жил с народом его жизнью. В самом деле, писатель Ма Цзя, например, совершил переход с войсками Народно-освободительной армии из Чжанцзякоу (Калгана) в Дунбэй (Маньчжурия). Всё, что видел, слышал и пережил он, послужило ему материалом для его по-

вести «Цветет степь». Писатель Ху Даньфу участвовал в освобождении уездов Баодин, Тяньцзинь и Пекин. Писательница Цао Мин, прежде чем написать роман «Локомотив», в течение длительного времени работала в паровозном депо под Мукденом, где она собирала материал для своей книги. Писатель Ян Шо с зимы 1950 года был вместе с китайскими добровольцами участником боев в Корее. Собранный там богатый фактический материал дал ему возможность написать роман «Три тысячи ли по горам и рекам».

Нефтяники Юймыньских промыслов в провинции Ганьсу видели в своих рядах писателя Ли Цзи, на Аньшаньский металлургический комбинат выезжал писатель Фу Мэй, активно вникает в производственную жизнь страны Чжоу Ли-бо, бок о бок с китайскими добровольцами находились на фронте старейший писатель Китая Ба Цзинь, Лю Бай-юй, Вэй Вэй и другие. Поэт Ай Цин, писатель Цинь Чжоу-ян держат связь с сельскохозяйственными районами страны, изучая жизнь на местах.

В настоящее время китайская литература в значительной степени уже освободилась от многих недостатков, которые были до выступления Мао Цзэ-дуна в Яньани в 1942 году. Буржуазный индивидуализм, либерализм и буржуазная теория «искусства для искусства» утратили свое влияние в современной китайской литературе. Литература нового Китая заняла прочное место в жизни народных масс, потому что она вселяет безграничную веру в победу во всех областях экономической, политической и культурной жизни страны, в деле защиты государства от империалистов и их прислужников.

Конечно, наряду с большими успехами в народной литературе имеются и недостатки, как следствие влияния буржуазной идеологии. Буржуазия, которая в Китае еще пытается сохранить свои позиции в экономике, «проповедует, — как говорил Чжоу Ян на Втором съезде работников литературы и искусства, — индивидуализм, культ личности, самодовольство, сеет безразличие к судьбам государства и народа, неверие в успех борьбы масс и тем самым старается укрепить у народа старые идеи, привычки, неправильные взгляды...»

Примером этого может служить кинофильм «Жизнь У Сюня», в котором проповедовалась идея капитуляции перед феодальными, реакционными классами, буржуазный реформизм и индивидуализм. Этот фильм был подвергнут уничтожающей критике, что способствовало дальнейшему укреплению идеологических позиций рабочего класса в литературе и искусстве.

Китайские писатели ведут упорную борьбу с влиянием буржуазной идеологии в литературе, с отставанием литературы от реальной жизни, борьбу с абстрагированием и формализмом, направленным против реализма в литературе.

Второй всекитайский съезд работников

\* Чжоу Ян, Доклад на Втором всекитайском съезде работников литературы и искусства 24 сентября 1953 года, «Народный Китай». № 20, от 25 октября 1953 года.

литературы и искусства в сентябре 1953 года выразил полную уверенность в том, что основным творческим методом писателей Китая станет метод социалистического реализма, как высший критерий литературно-художественного творчества. Для овладения методом социалистического реализма в Китае есть реальная база: государственный социалистический сектор в народном хозяйстве завоевал ведущее положение, Коммунистическая партия Китая является руководящей и направляющей силой в стране.

20 сентября 1954 года Всекитайское собрание народных представителей в торжественной обстановке приняло Конституцию Китайской Народной Республики. Согласно статье 95-й Конституции «Китайская Народная Республика обеспечивает гражданам свободу научно-исследовательской деятель-

ности, литературно-художественного творчества и другой культурной деятельности. Государство поощряет творческую работу граждан в области науки, просвещения, литературы, искусства и другой культурной деятельности и оказывает им в этом содействие».

Всё передовое человечество праздновало недавно пятилетие Китайской Народной Республики. Этот праздник вылился в яркую демонстрацию огромных достижений Китая за минувшие пять лет в области экономики и культуры. Немалая роль в этих достижениях принадлежит и многочисленной армии китайских писателей, идущих рука об руку с народом, полных стремления создать новые произведения, достойные своего героического, трудолюбивого, великого народа.

## О. Журавина

### ПОВЕСТИ М. В. МИРОНОВА

Воспитание чувства советского патриотизма у нашего юношества стоит в неразрывной связи с изучением прошлого нашей Родины. Здесь важную роль играет художественно-историческая литература. Живое слово художника, ярко и образно воскрешая правдивые картины далекого прошлого, пробуждает в юношестве любовь к родной земле, к великим ее просторам, к мужественным ее сынам, которые расширяли и укрепляли границы русского государства.

К сожалению, таких книг для юношества пока еще не много. Особенно мало написано о прошлом нашего Дальнего Востока, хотя открытие и освоение русскими людьми огромной территории северо-восточной Азия представляет собой выдающуюся главу в истории нашей страны.

Смелчаки первооткрыватели оставили о себе незабываемую память, которую бережно хранит советский народ. О них и написаны две повести М. В. Миронова, опубликованные Детгизом в последние годы.

Автор этих книг — Михаил Васильевич Миронов долгое время жил на Дальнем Востоке. Сын учителя, он сам учительствовал в сельской местности, затем работал на железной дороге. В годы гражданской войны он принимал активное участие в народной борьбе за освобождение Дальнего Востока от иностранных оккупантов и белогвардейщины, за власть Советов.

Последние годы своей жизни Миронов посвятил литературной работе. Он мечтал создать трилогию о Дальнем Востоке. Но полностью осуществить свой замысел автору не удалось. Им были написаны только две части из задуманной трилогии. Первая часть — «На далекой реке» — вышла в свет в 1950 году. Вторая — «На восточной границе» — была опубликована уже после смерти автора, в 1953 году. Обе эти повести адресованы читателям среднего и старшего школьного возраста.

Повесть «На далекой реке» посвящена походу Ерофея Павловича Хабарова на Амур. Тема эта почти не освещена в нашей литературе, если не считать неудачного ро-

мана Д. Романенко. Чрезвычайно скуден и исторический материал об этом походе.

Несмотря на это, с первых же страниц книги М. Миронова вырастает перед нами своеобразная, самобытная фигура устюжского хлебобоба и солеvara Ерофея Хабарова.

Без карт и чертежей, по одним лишь расспросам да рассказам бывальцев, Хабаров составил план своего похода на Амур: с берегов Лены, через Олекму на Шилку.

Повесть раскрывает трудности длинного, мучительного продвижения, «похода встреч солнца». Этот суровый путь преодолевался благодаря исключительному упорству русских людей, страстно желавших найти землю, где «вольная волюшка живет с человеком в большой и вековечной дружбе».

Велико было влияние Хабарова на его дружинников, которые почитали своего атамана за ум, отвагу, организаторские и воинские способности. «С таким, как наш Ярко, нигде не пропадешь», — говорили они и, доверяясь ему всецело, готовы были идти за ним на край света.

Во время похода Хабаров показал не только свою толковость и распорядительность, но и свой крутой нрав, иногда и жестокость. Полчане понимали, что иначе и нельзя, что в трудном, далеком походе «суровый атаман куда надежнее, нежели мягкий и бесхарактерный».

Но не все участники похода, даже самые близкие, понимали Хабарова. Одни стремились к наживе и грабежам, другие, ненавидя «крапивное семя», были против какого бы то ни было соглашения с воеводами. Эти расхождения послужили причиной раскола, а затем и мятежа.

Надо сказать, что в первой половине книги образу Хабарова уделено больше внимания. Тут он более приближен к читателю, ярче освещен фантазией автора. Во второй половине этот образ заметно тускнеет, теряет свое обаяние и как-то незаметно сходит на нет.

Невнятно показан Мироновым период перед мятежом и сам мятеж. Именно тогда

от Хабарова отшатнулись самые верные его друзья, завоевавшие симпатию читателей, как люди честные, смелые, справедливые (Веденеч, Никита). Причины этого разрыва не выявлены с достаточной определенностью.

В образах Никиты Мухи, Веденечча, Максима Чакана автор воплотил типические характеры представителей крестьянской массы, холопов, разорившихся посадских людей, составивших ватагу Хабарова. Это были люди, в той или иной мере пострадавшие от крепостного строя, жившие надеждой избавления от ярма бояр и воевод.

Повесть становится ближе и занимательнее для юношества благодаря привлекательному образу подростка Ильки, попавшего к Хабарову вместе со своим братом рудознатцем. Старательный, смекалистый Илька безропотно нес тяготы сурового пути, которые подчас были невоготу и взрослым. Трогательна привязанность мальчика к больному брату, его горькое отчаяние при потере единственно близкой души. Хорошо передано теплое участие Никиты, Веденечча и особенно Максима Чакана в судьбе Ильки. Горячее сочувствие и уважение вызывают образы этих отважных добровольцев, на плечи которых ложилась вся тяжесть похода. Многие из них погибли в борьбе с суровой природой, с лишениями; так погиб Максим Чакан, рудозналец Ветошка.

Дав в целом верную картину похода Ерофея Хабарова, автор не избежал некоторых неверных освещений, фактических неточностей. Не может не вызвать возражения то обстоятельство, что не менее знаменитый землепроходец Василий Поярков выставлен в повести в таком неприглядном свете. Тут он — злейший враг Хабарова, отталкивающий, несправедливый, который «драл с него шкуру», засадил в острог. Этот «Васька Поярков» для Хабарова такой же кровопийца, как воевода Головин. Имя его «казалось таким же страшным, как имя самого Головина». А ведь Головин, кстати сказать, также обладал немалыми достоинствами. О его недюжинном уме говорит известная инструкция, данная Пояркову для исследования Даурии.

Поярков же немало сделал для истории. Он был первым разведчиком Приамурья, одним из видных первооткрывателей. И не следовало представлять его только в таком невыгодном виде перед молодым читателем.

Повесть «На далекой реке» — первое художественное произведение, вышедшее из-под пера автора. В нем есть слабые стороны и в чисто художественном смысле. Так, наблюдается замедленность в развитии действия, сюжетная вялость, незаконченность отдельных образов.

Были нарекания на язык повести, на разностильность, на то, что форма произведения якобы не отражает эпохи. Но тут перед автором стояла сложная задача: рассказать юным читателям о далеком историческом прошлом в доступной, живой форме. Если б

автор слишком архаизировал язык, он отпугнул бы своих читателей. Обращаясь к документальным материалам, выдержкам, писателю, естественно, не может придать им современное звучание. В речах же персонажей, в диалогах он вносит своеобразие языка эпохи, — в отдельных словах, выражениях, оборотах речи.

Правда, не обходится и без срывов в этой части. Так, немногие выступления шамана Бушулея похожи скорее на пояснительный текст от автора, чем на прямую речь. То же можно сказать и о князе Гантимуре, который говорит: «Маньчжуры уводят постоянно наших людей в плен и требуют за них непосильные выкупы. Они держат пленников в колодках, морят их голодом, ежедневно бьют их бамбуковыми палками по пяткам. И всё это для того, чтобы побудить родичей пленников к скорейшему выкупу. Маньчжурские купцы бессовестно собирают даурский народ...»

Немало книг создано о другом русском патриоте — отряженном моряке Геннадии Ивановиче Невельском. Сюда относятся хорошо известные произведения Н. Задорнова, В. Тренёва, роман писателя-сибиряка Г. Чижая. Но повесть М. Миронова «На восточной границе» является первой повестью для юношества об этом выдающемся исследователе Дальнего Востока.

Произведение Миронова показывает преисполненность патристического подвига у русских людей. Через два столетия дело, начатое Хабаровым и другими землепроходцами, поднимает и продолжает человек, отнюдь не похожий на былинного богатыря. Это — представитель более просвещенной эпохи, вооруженный научными знаниями, богатым опытом. Он идет уже не ощупью, не вслепую. Но его подвижнический путь не менее тяжок, чем жизнь далеких пионеров. Помимо суровой природы, трудностей далекого пути, ему противостояли еще косность, враждебность чиновных бюрократов.

Преодолеть всё это мог только человек с могучей волей, исключительной настойчивости и отваги, человек, страстно одержимый мыслью о благе родины.

В первой части повести Миронова много страниц отведено детским и отроческим годам Невельского. Читатель наблюдает, как формируется характер будущего исследователя. Уже тогда он зачитывался книгами о путешествиях, мечтал о далеких странах, о диких и опасных приключениях, о великих географических открытиях. Славные дела российских мореходов восхищали его, пробуждали жажду подвига.

В Петербургском морском кадетском корпусе Невельской с увлечением овладевал знаниями, обнаруживая недюжинные способности к наукам. Отличные способности, однако, не избавили его от насмешек за его малый рост, за легкое заикание, так мешавшее ему на строевых занятиях. Впервые пришлось Невельскому столкнуться здесь с пренебрежением, с бездушием вос-

питателей. Но там же он нашел и родную себе душу. Это был молодой воспитатель, петрашевец, мичман Баласоголо.

В долгих задумчивых беседах друзей раскрываются их сокровенные мысли, определяются взгляды на жизнь, на собственное призвание.

Мысль о смелых открытиях, о стирании «белых пятен» не оставляла Невельского. Именно она привела его к решению, что для исследователя нужны крепкие знания, мужество, выносливость. «Всеми этими качествами я должен вооружиться заранее. Поэтому нужно быть строгим прежде всего к самому себе», — делал для себя вывод юный Невельский и усердно вырабатывал выдержку, твердость характера, целеустремленность.

Вторая, самая обширная часть книги показывает практическую деятельность Невельского в дальневосточных водах.

Миронов рисует горячую и прямую, суровую и мужественную натуру Невельского. Его гуманизм, демократические склонности, забота и внимание к человеку показаны в отношении к матросам, к местному населению, представителям дальневосточных народностей, которых он брал под свою защиту.

Умный, энергичный, неутомимый начальник Невельский поистине умел зажигать сердца, увлекать за собой. С ним беззаветно трудились его скромные, самоотверженные сподвижники, такие, как Башнях, Казакевич, Орлов, Чихачев, Березин. Тепло очерчен в повести образ Екатерины Ивановны Невельской, последовавшей за мужем в далекий и дикий край.

Чистые и благородные побуждения исследователя-патриота хорошо раскрываются автором в сопоставлении с мелкими, себялюбивым; и корыстными интересами царских чиновников — Нессельроде, Чернышева, Меншикова. Негодование и омерзение вызывает у читателя образ майора Буссе. Этот столичный шаркун был чуждым в спящем коллективе тружеников-моряков Невельского. Его преступное легкомыслие, эгоизм, равнодушные к делу и людям послужили причиной гибели многих участников Амурской экспедиции. Царское же правительство вместо суда нашло еще возможным награждать этого негодая.

Надо сказать, что во второй части повести, где есть интересные, увлекательные главы, автор часто отходит от художественного изображения. Вместо образов и картин он дает пересказ событий, переключается на стиль исторического очерка. А ведь взятый во второй части период наиболее насыщен для Невельского и радостями и горестями. Он должен быть ярче отражен, принимая во внимание возможность использовать для этого записки самого исследователя, его пе-

реписку, а также воспоминания современников.

Без публицистики в данной теме обойтись, безусловно, трудно. Но когда такие отступления слишком часты, это затрудняет чтение, ослабляет интерес даже у взрослого читателя, не творя уже о подростке.

Но в целом благородный и мужественный образ Геннадия Ивановича Невельского, овеянный романтикой подвига, несомненно будет способствовать воспитанию у нашей молодежи чувства верности идее, патриотическому долгу, будет прививать высокие гуманистические принципы.

Исторические факты легли в основу сюжета повести, дополненные художественным вымыслом автора. Не всё в этом труде удалось писателю. Местами непомерная растянутость в подаче второстепенных фактов сменяется неоправданной сухостью, лаконичностью в важных моментах. Есть и другие композиционные недостатки. Третья часть повести, собственно, выпадает из сюжета как вполне самостоятельная тема. Главное действующее лицо здесь почти не фигурирует.

Не всё продумано и в системе образов. Живо, занимательно были введены в сюжет два матроса — боцман Кочкин и Авенир Пряслов. Но затем один неизвестно куда исчезает из повести (Кочкин), а Пряслов, оставаясь до конца повествования, ничем себя не проявляет.

Автор и здесь ввел героев-подростков. Но они в значительной мере уступают симпатичному образу Ильки. Николка Пряслов, брат баталера, дается отрывочно и скудно. Его судьба чрезвычайно слабо влияет на сюжет. Друзья же его — Петя Березин, мальчик-коряк Сенкай — это уже чисто условные фигуры. Они только названы. В данном случае подтверждается мысль, что не всегда обязательно вводить юных героев в произведение для юношества.

Писатель Миронов сделал нужное и хорошее дело, с большой достоверностью и с правильных позиций рассказав молодежи о важных этапах в развитии нашего края.

В. Г. Белинский отмечал, что знакомить юношество с большими вопросами, с большим миром следует через близкое, родное, национальное. Он писал: «Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству».

Книги Миронова помогут учащейся молодежи лучше усвоить историю родной земли, историю нашего народа. Они помогут ей еще; лучше оценить всё созданное на Дальнем Востоке советскими людьми, осуществившими мечты и стремления далеких предков, превратившими некогда дикий «край земли» в богатый, цветущий район нашей могучей советской Родины.

---

---

*Н. Роголь*

## „НЕВИДИМКИ ЗА РАБОТОЙ“

Книгу Вивьена Огилви «Невидимки за работой»\*, недавно вышедшую в переводе с английского в издательстве иностранной литературы, советский читатель, несомненно, прочтет с интересом. Автор хорошо знает нравы и обычаи буржуазных литераторов, журналистов, знает, как покупаются их бойкие перья капиталистами-предпринимателями, — и он в острой сатирической манере вскрывает изнанку того, что пышно именуется «свободой печати».

«Мишень, в которую мечет стрелы Огилви, — это упадочная английская литература, превращение литературы из высокого призвания в источник легкой наживы, — писала коммунистическая газета «Дейли Уоркер». — От обычного литературного хлама, заполняющего прилавки магазинов, книгу Огилви выгодно отличает то, что автор, без сомнения, серьезно относится к целям своей сатиры. За легким смехом чувствуется правда и здравый смысл».

Писатель рассказывает историю литературной колонии в местечке Клигнанкорт-холле, расположенном невдалеке от Лондона. Колония была организована предприимчивыми дельцами — «известным» поэтом Артуром Гарстенгом и владельцем аристократического поместья лордом Клигнанкорт. Внешне это предприятие выглядит как филантропическая затея богатого английского аристократа. Его старинное родовое поместье превращено в литературную колонию, где два-три десятка способных писателей, не сумевших лучше устроить свою жизнь, получали и кров, и пищу, и возможность творить. Затея, достойная Мецената.

Так, собственно, и представлял себе задачи этого необычного учреждения герой повести — писатель-неудачник Молвери Халлес, когда он откликнулся на сделанное ему предложение поселиться и поработать в Клигнанкорт-холле.

Но в колонии с первых шагов Халлес увидел столько странного, что уже не переста-

вал удивляться. Началось это со сцены встречи Халлеса его будущими коллегами, изображавшими «фермеров», пирующих в сельской таверне. Халлеса по ошибке приняли за другое лицо, которому в рекламных целях хотели пустить пыль в глаза. Позднее и самому Халлесу пришлось участвовать в подобных маскарадах. Дело в том, что владельцу Клигнанкорт-холла выгодно было создать местечку славу сохранившегося еще близ Лондона уголка старой Англии, чтобы привлечь богатых бездельников в построенный им дачный поселок.

Огилви так ведет повествование, что на каждом шагу за внешней респектабельностью владельцев и организаторов литературной колонии обнаруживается их денежный интерес, стремление к наживе, алчность. Колония оказалась ни чем иным, как обычным капиталистическим предприятием с присущими ему правами и порядками. Литературное дело превращено в средство наживы, в средство извлечения прибыли.

— «Концерн» наш процветает, — рассказывает удивленному Халлесу один из более старых жителей колонии. — Мы выпускаем всевозможные товары — статьи, рассказы, обозрения, монографии, тексты для радиопостановок, мемуары артистов и знаменитых государственных деятелей... Все модные писатели пользуются нашими услугами.. Мы сочиняем для них все мелкие вещи — и даже некоторые большие романы.

Людей, изготовляющих всю эту продукцию, Огилви называет «невидимками», или анонимами. Всё, что они пишут, публикуется под чужими именами — именами тех, кто платит, кто умеет выгодно пристроить литературную продукцию в журнал, издательство, радио. Это те, кто имеет известное имя, успел войти в моду. Зачем же, спрашивается, такому литературному метру утруждать себя, когда к его услугам десятки и сотни писателей-«невидимок». Присвоение чужого труда? Но буржуазная мораль не видит в этом ничего предосудительного. Напротив! Герой тот, кто умеет ловко устроиться за счет других. Капиталистическое общество всё основано на обмане, грабеже,

\* Вивьен Огилви, Неvidимки за работой, Перевод с английского, Издательство иностранной литературы, Москва, 1954. стр. 152, цена 4 р 20 к

присвоении немногими результатов чужого труда. Чего же стесняться гарстенгам?

Халлес при всей его добропорядочности также не видит в действиях своих патронов такого, что считалось бы совершенно невозвратным, мерзким, гнусным. Он только изумляется ловкости, с которой эти люди обдeldывали свои грязные делишки. Чувство протеста если и поднимается иногда в Халлесе, то не настолько, чтобы побудить его к активному действию. Он смирился с порядками колонии, как с неизбежным злом. За спиной угроза безработицы. Ведь наличие у человека таланта, желания и умения работать в капиталистическом обществе равно ничего не значит.

И литературный делец Гарстенг, зная безвыходность положения тех, кто приходит к нему в колонию, с циничной откровенностью диктует Халлесу свои условия.

— Мы набираем способных литераторов, не умеющих пристраивать то, что они пишут, — говорит он. — И вам тоже мы предлагаем работать у нас... Если вы согласны, у вас будут нормированные рабочие часы, и в эти часы вы обязаны писать то, что вам поручат. Всё это будет печататься под чужими именами... И помните: если вы кому-нибудь заикнетесь, что писали за того или иного автора, вы отсюда пулей вылетите. Мало того, вы попадете в черные списки, и вам нигде в Англии ходу не дадут: я человек влиятельный...

Предприятие Гарстенга поставлено на широкую ногу. У него масса клиентов: модные писатели, известные журналисты, профессоры общественных наук, священники, политики и т. д., вплоть до некоей Минны Кьюнт, артистки, которая во время представлений раздевается на сцене и убеждена, что стыд — это устаревшее понятие. «С какой стати мне стыдиться того, чем наделил меня создатель?»

«Невидимки»-литераторы должны потрафлять столь разнородным заказчикам, уметь подделываться под стиль «известных» писателей, развивать убогие мысли профессоров и политиков, вкладывать в уста каждому такие слова и понятия, которые бы наилучшим образом служили защите эксплуататорского буржуазного общества. На фабрике литературных изделий в Клинганкортхолле особо следили за тем, что можно назвать идейным направлением изготавливаемой здесь продукции. Для этого в колонии существовали и редактор — прожженный циник Уэлтон, и контролер-распорядитель — мистер Порп, и некий нефилолог — немец-эмигрант Фриц Фикенвирт, сочинявший историю английской литературы и с удивлением обнаруживший, что, помимо трудов немцев на эту тему, имеется, как оказалось, еще немало и англичан, писавших о Шекспире и Вальтер-Скотте.

— Если хотите обличать или высмеивать, — просвещал Халлеса один из его коллег, — держитесь, так сказать, узаконенных тем: мечанство, новое искусство,

психология, простые люди, наука, социализм, распространение просвещения.

Крайняя реакционность идей, которые на фабрике Гарстенга облекались в соответствующую литературную форму, хорошо показана, например, в установочной беседе, которую вел с Халлесом «известный» писатель Уоллес Пилгарлик. Подвизаясь в роли постоянного обозревателя НБР (Независимой Британской Радиоконпании), сей деятель решил выступить с серией статей «В защиту культуры». Он так разъяснял Халлесу свою идею:

— Тезис мой таков: культуру всегда создавала и создает избранная часть общества. Без этих избранных нет и не может быть культуры... Если культура станет доступна низшему сословию — конец различиям между ним и цивилизованным классом общества. Установится один общий уровень, восторжествует посредственность.

Как и его хозяева, Пилгарлик до ужаса боится того, что народ может покончить с эксплуататорами и тогда культура станет достоянием самых широких масс. Он изворачивается и лжет относительно якобы грозящей от этого гибели культуры, пугает воцарением «посредственности» и прочее. «Основа культуры — неравенство», — говорит Пилгарлик, думая лишь о защите интересов привилегированных классов буржуазного общества. И он тут же предлагает субсидировать владельцев родовых замков, аристократов, «чтобы они могли хранить традицию красивой жизни».

По этим установкам Пилгарлика «невидимки» точно в срок изготовили очередную порцию радиовранья — «каждая беседа — примерно на шесть тысяч слов».

Огилви ярко и остро показывает, как действует одна из распространенных в капиталистическом мире «фабрик лжи» — так называемая Независимая Британская Радиоконпания. В ее названии слово «независимая», с одной стороны, рассчитано на привлечение доверчивых простаков-слушателей, с другой, — маскирует принадлежность компании американскому капиталу. Вначале предприятием управлял американец. Потом владельцы сочли за лучшее найти директора-англичанина, способного более ловко подделаться под вкусы английского обывателя. На посты «инспектора» и «начальников отделов» стали широко привлекаться отставные генералы, адмиралы и маршалы авиации. За хорошую мзду они охотно распинаятся о родстве англо-саксонских душ, преклоняются перед богатым заокеанским дядюшкой и готовы под командой Пентагона маршировать навстречу новой захватнической войне. Знакомая, очень знакомая картина!

Следует отметить, что Огилви, сатирически изображая деятельность радиовралей из НБР, оговаривается, будто сказанное им не относится к Би-би-си. Советский читатель знает, что и НБР, и Би-би-си друг друга стоят.

С большой долей сарказма и добротным английским юмором, который мы так ценим в бессмертных творениях Теккерея и Диккенса, Огилви рассказывает об идейном убожестве и отвратительном ханжестве нынешних «властителей дум» английского буржуа. Вот сочиняется обязательная статья о западной цивилизации, которую якобы всегда характеризовали уважение к личности, защита ее прав, свобода совести, свобода мысли и свобода слова и прочее, и прочее.

— Писать такие вещи, — говорит Халлесу некогда известная писательница Беверли, — можно, только если зачеркнуть всю историю Европы-войны, политику, положение женщин, крепостное право и рабство, колонизаторство, индустриальную систему и прочее. Фокус в том, чтобы ловко оперировать историческими курьезами, цитировать всяких чудачков, делая вид, что они выразители дум своей эпохи.

Не менее убийственно отзывается в статье, сочиненной для профессора Рэмпл-Файка, редактор колонии Уэлтон, сам причастный к изготовлению данного опуса.

— Там у него, — заявляет он, — «американский образ жизни» изображается как осуществление на практике нагорной проповеди. Иисус Христос — председатель Акционерного общества спасения душ, апостолы — его сотрудники. Доживи они до наших дней, они бы, наверно, величали своего шефа сокращенно: «И. Х.». Идея эта — плагиат, украдена у Бруса Бертона из его книги «Человек, которого никто не знает», но Сайкс немного приукрасил ее.

Из сказанного ясно, что Уэлтон, Беверли, Халлес и другие «невидимки» прекрасно отдают себе отчет в том, что они делают. Уэлтон говорит об этом с усмешкой старого циника, Халлес еще надеется подработать немного денег и вырваться отсюда для самостоятельного свободного творчества, — только и разницы.

Независимо от того, входило это прямо в намерение писателя или нет, Огилви мастерски вскрывает внутреннюю опустошенность тех, кого капитализм превратил в литературных роботов, кто служит доллару или фунту стерлингов. Люди, собранные в стенах Клинганкорт-холла, отравлены, развращены буржуазным обществом. Их философия — крайний индивидуализм. Всё, что было у них оригинального, своего, личного, — всё постепенно сглаживается, утрачивается, подгоняется под один общий стандарт. Каждый писатель, попавший на эту фабрику, прежде всего должен распространиться со своей индивидуальностью, со своей творческой манерой. Капитализм безжалостно подавляет в нем личность, губит в зародыше все его подлинно человеческие стремления, мечты и надежды. Надо либо оставаться «невидимкой», либо постараться любой ценой вырваться вперед, попасть в число «знаменитых», как Гарстенг или Пилгарлик.

— Имейте в виду, он не дурак. Он мерзавец, — говорит о Пилгарлике один из персонажей повести. — Если он когда-нибудь напишет свою автобиографию, ему следует озаглавить ее так: «Жизненный путь проходимца».

Преуспевают и благоденствуют на литературном поприще капиталистических стран именно такие проходимцы.

— Преуспевающие писатели, — жалуется один из «невидимок», — захватили львиную долю и делают ее руками «невидимок». Они берут на себя обзоры в журналах, они заваливают редакции горами статей, они ведут некоторые отделы популярных газет и они же пишут от издательств рекламные рецензии на выходящие книги. Многие сами становятся издателями... Редакторы газет и издательств всю работу делят только между собой: редактор либеральной газеты пишет в консервативном журнале, а зато редактор консервативного журнала становится главным рецензентом либеральной газеты. Такие господа везде поспевают, во всем имеют долю.

Среди всех требований к литературе буржуазные издатели на первое место ставят занимательность. «Кто умеет писать всякую ходкую дрянь, тому нет надобности батрачить на других», — с горечью отмечает один из приятелей Халлеса.

— Развлекать публику — вот единственный выход, — отвечает он на вопрос, что же делать журналисту. — Раскапывать старые сюжетики и придавать им занимательный или сенсационный характер. Быть неизменно поверхностным.

В свете сказанного Огилви перед английским читателем предстает картина прямо-таки противоположная тому, что пытаются вбить ему в голову буржуазные газеты и радио. О какой «свободе творчества» или «независимости» писателя может идти речь в Клинганкорт-холле и подобных ему предприятиях?

Более ста лет тому назад в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс писали:

«Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников».

В этом как раз и коренятся причины идейного и художественного оскудения современной буржуазной литературы в капиталистических странах Запада.

Огилви не марксист, он далек от пропаганды идей коммунизма. Но, будучи честным писателем, он нарисовал правдивую картину английской действительности, — картину, подтверждающую давний вывод классиков марксизма.

Повесть «Невидимки за работой» художественное произведение. Конечно, при создании ее не обошлось без авторского

домысла. Огилви прибегает к гротеску, карикатуре — это позволяет ему подчеркнуть, заострить как раз те черты, которые являются типическими для изображаемых в повести персонажей. Тем более жизненны и правдивы данные им образы: достоверны и отдельные ситуации и общая картина. Пусть не было именно этой колонии в Клигнанкорт-холле — она создана фантазией художника. Но сколько подобных же предприятий реально существует в Англии и особенно в Америке? Как верно писателем схвачено, подмечено и показано существо отношений, характеризующих положение писателя в буржуазном обществе.

В повести много смешного. Юмор и сатира используются автором для осмеяния, для разоблачения литературных нравов буржуазной Англии. Огилви показывает, к какому падению, измельчанию литературы приводит превращение ее в служанку капитала, в средство наживы. Автор выступает в защиту свободы печати, растоптанной буржуазным строем.

Как честный англичанин, Огилви не может не видеть тех пагубных последствий, к которым приводит американизация его страны, экспорт уоллстритовской «культуры» в Европу. Среди созданных писателем сатирических образов едва ли не самому злому и беспощадному осмеянию подвергнуты заокеанские «культуртрегеры».

Владельцев Клигнанкорт-холла весьма взбудоражил приезд мастера Уобеша Купферстечера — председателя Американского комитета упорядочения европейской литературы. Они жаждали долларовых субсидий и с трепетом внимали поучениям самодовольного янки:

— Цель наша — чтобы под воздействием литературы, которую мы выпускаем, люди за границей перестали слушать коммунистов.

«Первой ступенью обучения американскому образу жизни» мистер Купферстечер считает массовое продвижение в страны Западной Европы развлекательных нью-йоркских журнальчиков типа «Проказы любви» с неизменной «пин ан гёрл» — «американской красавицей» на обложке. Эту девицу легкого поведения он именует «жрицей — весталкой международной демократии».

Но за первой ступенью обучения мыслится и вторая. Мистер Купферстечер приоткрыл перед слушателями свои планы в отношении литературного дела в Англии. Он решительно высказался за расширение колонии писателей и придание этому бизнесу большего размаха.

— Вы можете больше ни о чем не заботиться, Гарстенг, думать буду я, — без особых церемоний заявил гость. — Теперь дальше: сюда придется командировать сотрудника ФБР, и он будет тщательно следить, чтобы в вашей литературной продукции не было никакого антиамериканского уклона. Разумеется, и прошлое всех ваших писателей будет проверено...

Итак, вслед за «американской красавицей» появляется чиновник из ФБР — агент Маккарти. Совместными усилиями они должны подготовить местное население к покорному принятию американских военных баз. Писатель тут прямо пишет с натуры.

Отражая настроение миллионов рядовых англичан, протестующих против американского засилия, против превращения Англии в «нетонущий американский авианосец», Огилви в конце повести показывает, как был осмеян и бежал из Клигнанкорт-холла мистер Купферстечер.

Впрочем, Огилви понимает, что при нынешней позиции правящих кругов его страны осуществить на практике популярный среди англичан лозунг: «Американцы, убирайтесь домой!» — не так-то просто. Для этого понадобятся гораздо большие усилия, чем для изгнания мистера Купферстечера из Клигнанкорт-холла.

Неожиданно для Гарстенга литературная колония прекратила свое существование. Его компаньон лорд Клигнанкорт продал поместье американцам. Американская фирма «Мирлобивая авиакомпания» решила построить здесь завод бомбардировщиков.

«Целая армия американских рабочих с бульдозерами и другими машинами, — пишет Огилви, — уже начала расчищать территорию для будущего большого завода. Рубили деревья, взрывали корни и пни, насыпали пруд, сносили павильон, выравнивали все холмики, которыми два века тому назад украсил здешний парк знаменитый Браун, мастер на все руки. Парк уже принимал вид освобожденной территории».

Повесть «Невидимки за работой» показывает, что среди честных писателей Англии усиливается движение протеста против подчинения литературы капиталистам-предпринимателям. Английского читателя повесть над многим заставит призадуматься.

Полезна она и для советского читателя, так как знакомит его с изнанкой буржуазной демократии, показывает, до какой степени маразма и морального падения дошли ее апологеты.

## НОВЫЕ КНИГИ

Василий КУЧЕРЯВЕНКО, **На американском берегу**, Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 104, тираж 15 000 экз., цена 1 р. 20 к.

Автор книжки бывший моряк. На кораблях советского торгового флота он побывал в различных городах Америки. Его рассказы представляют собою записки очевидца. Автор говорит о том, как эксплуатируется в Америке детский труд, как унижен и обездолен простой человек, каким преследованиям и издевательствам подвергаются негры. И не только негры. Американские солдаты, ставшие инвалидами на полях войны, не имеют ни крова, ни работы. А когда они пытаются просить помощи, полисмены безжалостно избивают их. Характерно заявление американки, наблюдающей за одной из таких сцен: «...Зачем им жить? Ведь столько здоровых людей, им лучше было умереть на фронте и не торопиться с окончанием войны. Ведь как мы жили в войну! Было много военных заказов; они давали хорошую прибыль, а теперь всё это кончилось». На американке — марсельские кружева, лионский шелк, в руках — японский веер. И автор с возмущением отмечает, что она весьма напоминает жен немецких фашистов, которые тоже очень любили так называемые «трофеи». Далее читатель узнает, что муж ее «раньше наводил порядок в Европе». И читателю понятно, о каком «порядке» идет речь.

Но простые люди Америки не хотят войны. Автор рассказывает, как тепло встречают они советских моряков, с какой гордостью произносят слово «Сталинград», ставшее символом победы над фашизмом. Они собирают подписи под воззванием за заключение Пакта Мира, они хотят жить в мире и дружбе со всеми народами.

Сборник рассказов В. Кучерявенко — полезная и интересная книга.

Е. ЮРЬЕВ. **Трудная путина**, Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 72, тираж 5 000 экз., цена 95 коп.

В брошюре Е. Юрьева рассказывается руководящей роли партийной организации

с работе камчатского рыболовецкого колхоза-миллионера «Красный труженик».

В разгар путины 1953 года коммунисты артели стремились так организовать работу, чтобы направить все помыслы рыбаков на решение основной задачи — выполнить и перевыполнить план добычи рыбы.

Объединив вокруг себя коллектив, четко организовав работу, правильно распределив людей, коммунисты личным примером воодушевляли рыбаков на успешное выполнение государственного задания.

Автор рассказывает о большой воспитательной работе, которую вели коммунисты среди ловцов, о трудностях, которые приходилось преодолевать, о достигнутых успехах. Опыт работы первичной парторганизации колхоза «Красный труженик» заслуживает большого внимания.

**Свет против тьмы**, Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 176, тираж 10 000 экз., цена 90 коп.

Это — полезный для пропагандистов и агитаторов сборник материалов на научно-атеистические темы. Открывается он известной статьей В. И. Ленина «Социализм и религия». Далее помещены лекции и консультации на темы: «О преодолении религиозных пережитков в сознании людей», «Религиозное сектанство и его реакционная сущность», «Астрономия в борьбе с религиозными предрассудками» и другие.

Второй раздел сборника включает рассказы, очерки, стихи, развенчивающие дикость и нелепость религиозных обрядов. В числе их рассказы: Чехова — «Канитель», Горького — «Праздник шиитов». Серафимовича — «Чудо».

В конце сборника дан список рекомендуемой литературы на научно-атеистические темы.

А. П. КАЗАРИНОВ, **Соболь Дальнего Востока**, Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 120, тираж 3 000 экз., цена 3 р. 35 к.

Богатый и разнообразный животный мир Дальнего Востока открывает широкие воз-

возможности для развития охотничьего хозяйства и промысла. Важное место занимает в этом промысле соболь.

А. П. Казаринов рассказывает в своей брошюре о районах обитания соболя, образе жизни и повадках зверька, его питании и размножении.

Большое место отводится в брошюре описанию способов добычи соболя. Автор рассказывает, как в прошлом варварски уничтожали пушные богатства Дальнего Востока американские промышленники и как в результате этого резко сократились запасы соболей. С установлением в крае советской власти был принят ряд самых решительных мер, направленных на восстановление запасов этого ценного зверька.

Автор пишет, каким образом нужно производить отлов, транспортировку, питание, комплектование партий соболей для искусственного расселения.

В конце книги приведены цифровые данные, показывающие размеры соболей различных рас, меховые достоинства соболиных шкур, добытых в разных районах, таблицы питания соболей. Книга снабжена рисунками и чертежами рекомендуемых орудий лова. Написанная живо и квалифицированно, она представит значительный интерес для работников охотничьего хозяйства.

**К. Г. АБРАМОВ, Копытные звери Дальнего Востока и охота на них.** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 128, тираж 3 000 экз., цена 2 руб.

Автор, в течение двадцати пяти лет изучающий животный мир Дальнего Востока, рассказывает в своей брошюре о различных видах копытных зверей, населяющих огромные просторы края, о местах обитания этих животных, их образе жизни, хозяйственной ценности, сроках и способах охоты. В брошюре приведены таблицы и карты, наглядно показывающие районы распространения копытных животных на территории Дальнего Востока.

Брошюра снабжена иллюстрациями.

**К. П. СОЛОВЬЕВ, В. А. ЧЕРНИКОВ, Леса Дальнего Востока и главные рубки в них,** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 60, тираж 3 000 экз., цена 90 коп.

Автор знакомит читателя с условиями произрастания, состоянием дальневосточных лесов и ведением хозяйства в них, с системами рубок, которые разрешаются и рекомендуется проводить в лесах той или иной группы. Значительное внимание уделяется вопросам естественного возобновления леса.

Книжка снабжена интересными цифровыми и сравнительными данными, таблицами.

**Н. ЛАНТУШЕНКО, Партийная организация лесопункта в борьбе за план,** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 24, тираж 3 000 экз., цена 25 коп.

В брошюре рассказывается о том, каких

успехов добилась партийная организация Кузнецкихинского лесопункта, борясь за претворение в жизнь постановления партии и правительства «О ликвидации отставания лесозаготовительной промышленности».

На участке осуществлен почти повсеместный переход на циклическую организацию труда, рабочие лесопункта взяли повышенные обязательства и с честью борются за их выполнение. Значительно повысилась производительность труда введенная на лесопункте двухсменная тракторная вывозка древесины. Если до этого лесопункт вывозил за сутки 300—350 кубометров леса, то с введением нового метода вывозка возросла до 500 и более кубометров за сутки.

Воодушевляя рабочий коллектив, партийная организация добилась того, что Кузнецкихинский лесопункт резко улучшил свою работу.

**Г. Т. КАЗЬМИН, Слива, вишни и абрикос на Дальнем Востоке,** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 112, тираж 3 000 экз., цена 1 р. 45 к.

Кандидат сельскохозяйственных наук Г. Т. Казьмин в своей книге рассказывает о разведении и выращивании на Дальнем Востоке сливы, вишни и абрикоса. Автор указывает, что почвенные и климатические условия Дальнего Востока не только не препятствуют, а, наоборот, благоприятствуют возделыванию здесь косточковых пород. Об этом говорит уже тот факт, что здесь произрастает в диком или одичавшем состоянии несколько видов вишни, два вида абрикоса и один вид сливы.

Наибольшее распространение в плодовых насаждениях имеет слива. Автор указывает, что многие хозяйства Дальнего Востока успешно выращивают и получают высокие урожаи слив. Таковы, например, колхозы «Краснофлотец», «Красный маяк» Нанайского района, «Дальневосточный колхозник» Смидовичского района, Краснореченский совхоз и другие. Хорошие урожаи получают и садоводы-любители в своих приусадебных садах.

Благодаря применению мичуринских методов селекционерам-садоводам удалось вывести местные зимостойкие и высококачественные сорта и этих культур.

В книге приводятся интересные опыты по гибридизации.

Значительное внимание уделяет автор выращиванию саженцев и закладке сада. Особый раздел посвящен описанию вредителей и болезней косточковых пород и мерам борьбы с ними, приводятся календарные сроки проведения мер борьбы с вредителями и болезнями.

Книга снабжена фотоснимками, таблицами.

**Профессор И. Б. ТАЛАНТ, Алкоголизм и борьба с ним,** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 24, тираж 10 000 экз., цена 25 коп.

Автор брошюры профессор И. Б. Талант рассказывает, какое огромное разрушающее действие на организм человека производит алкоголь.

Автор приводит данные, показывающие, как употребление алкоголя снижает производительность труда, ухудшает качество работы.

Привычка к алкоголю, пишет И. Б. Талант, ведет к так называемому хроническому алкоголизму, что является уже тяжелым заболеванием и со временем достигает стадии алкогольной деградации, упадка. В стадии алкогольной деградации человек теряет свой нормальный облик, морально разлагается, забывает о своих обязанностях перед семьей, обществом, государством.

На почве хронического алкоголизма развивается целый ряд нервно-психических заболеваний, в том числе и белая горячка. Профессор приводит запись историй болезней, наглядно показывающих, до какого тяжелого состояния доводит человека алкоголизм.

В нашей стране, указывает автор, нет социальных причин, которые способствовали бы массовому распространению алкоголизма. Пьянство существует у нас лишь как пережиток капитализма. С ним можно успешно бороться, проводя широкую массово-воспитательную и культурно-просветительную работу.

**А. В. БОЛОНЯЕВ, Закладка плодового сада.** Хабаровское книжное издательство, 1954, стр. 64, тираж 3000 экз., цена 85 коп.

Лауреат Сталинской премии А. В. Болоняев в течение ряда лет работает над разведением на Дальнем Востоке плодовых культур, над выведением новых, зимостойких и высокоурожайных сортов их. На основании личного опыта, а также опираясь на результаты работы научно-исследовательских учреждений и опыт передовых совхозов и колхозов, автор рассказывает о системе агротехнических мероприятий, применение которых способствует развитию садоводства на Дальнем Востоке.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"

за 1954 год

## РОМАНЫ. ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

- КОСТЮКОВСКИЙ Б.** Утро Андрея Шиллина, повесть, № 1.  
**ЛЯО ШЭ** — Лунсюйгоу, пьеса, перевод с китайского, № 1.  
**МАРКОВ Г.** — Соль земли, роман, №№ 5, 6.  
**ПАЛЕХОВ Р.** — Через перевалы, повествование, №№ 2, 3, 4.  
**ПРИШВИН А.** — Правда жизни, рассказ, № 3.  
**РОГАЛЬ Н.** — Июнь-Корань, пьеса, № 4.  
**СМИРНОВ О.** — Незванный гость, рассказ, № 6.  
**ШЕСТАКОВА Ю.** — Берёза, берёза! Повесть, № 3.  
**ЦИНЬ ЧЖАО-ЯН** — Нечаянно подслушанная история, перевод с китайского, № 3. Два рассказа, перевод с китайского, № 4.

## ПОЭМЫ, СТИХИ

- АВТОНОМОВ В.** — Фактория, Северное сияние, стихи, № 4.  
**АНДРЕЕВ Л.** — В Амурском лимане, На заставе, стихи, № 6.  
**ДУБРОВИН Б.** — Три стихотворения, № 5.  
**ЗАВАЛЬНЮК Л.** — Сон, стихи, № 1.  
**ИБУКИ ЮКИКО** — Счастье, стихи, перевод с японского, № 2.  
**ИРИЕ РЕТАРО** — На тракте Кавагоэ, стихи, перевод с японского, № 2.  
**КАТО САНДЗО** — Работы, стихи, перевод с японского, № 2.  
**КИМ ДИН ТХЕ** — Чего хочу я, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**КОМАРОВ П.** — Из записной книжки, № 1.  
**КРАСНОПОЛЬСКИЙ А.** — Стихи, № 4.  
**КРЮКИН И.** — Из камчатской тетради, стихи, № 5.  
**КУЗНЕЦОВ В.** — Вожатому Володе, Се-стренка, Поэту, стихи, № 6.  
**ЛАРИН М.** — Два моря. Новая Диканька, стихи, № 1.

- ЛИ ГВАН** — Каким надо оставаться, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ЛИ И** — Тому, кто твердит о высоте гор, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**МАСЛОВ О.** — У Волочаевской сопки, стихи, № 1.  
**МАНДРИК А.** — На Курильском острове, стихи, № 3.  
**МИЛАН В.** — В район, стихи, № 5.  
**МОЖАЕВ Б.** — Два письма, стихи, № 6.  
**НАВОЛОЧКИН Н.** — Два стихотворения, № 2.  
**НАЙДИЧ М.** — Два стихотворения, № 6.  
**НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ** — Расстоянием между друзьями, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ОВЕЧКИН К.** — Земля амурская моя! Стихи, № 6.  
**ПАК ИН НО** — О человеке, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ПАК ДЯ ЕН** — Оно не изменяет цвета, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ПАССАР А.** — Камчатский садовод. Подруги, Мой край, стихи, перевод с тайского, № 1.  
**РИОСИМАХАККО** — Иодзима, стихи, перевод с японского, № 2.  
**РЫБОЧКИН А.** — Штурмовая полоса, стихи, № 3; В дороге, Из окна вагона, Соловей, стихи, № 6.  
**СЕМЕНОВ А.** — Покорители Севера, поэма, № 2.  
**СМОЛЯКОВ С.** — Лирика, стихи, № 1: Чабан летит в Москву, На охоте, стихи, № 6.  
**ТАНАКА САНКИТИ** — Свет луны, стихи, перевод с японского, № 2.  
**ТЕН МОН ДЮ** — Вечна моя любовь, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ТЕН ЧЕР** — Старцу, идущему с ношей, стихи, перевод с корейского, № 5.  
**ТРАН ХУУ-ТУН** — На рисовом поле, стихи, перевод с вьетнамского, № 1.  
**ТУРКИН В.** — Три стихотворения, № 1: В матросском строю, Твой командир, стихи, № 3.  
**ТЫЧИНА П.** — Стихи, № 2.

- ХАСЭГАВИ АКИТОСИ** — Иваси, стихи, перевод с японского, № 4.  
**ЭНОКИ ТАКАСУ** — Родина, стихи, перевод с японского, № 4.

#### ОЧЕРКИ, ДНЕВНИКИ, ЗАПИСКИ

- БЕЛЯЕВ Б.** — Семья Сибирцевых (Из революционного прошлого Дальнего Востока), № 2.  
**ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ** (К 50-летию со дня смерти А. П. Чехова).  
**ЕСАУЛЕНКО К.** — Сто лет парового судостроения на Амуре, № 3.  
**КОМАРОВ А.** — Гайдар на Дальнем Востоке, № 3.  
**КУЧЕР В.** — Киев, очерк, № 2.  
**МИТИН В.** — Свободу убить нельзя! Очерки о людях героической Кореи, № 2.  
**ТАУРИН Ф.** — Первая на Ангаре, очерк, № 5.  
**ТОРЧИНСКИЙ М.** — Шестеро отважных, очерк, № 4.  
**ШАПА Л.** — В Приханкайской долине, очерк, № 3.

#### ПУБЛИЦИСТИКА

- АЙ ЦИН** — О национальной живописи, перевод с китайского, № 2.  
**БАБИЧ Н.** — От социализма к коммунизму, № 1.  
**БЭРЧЕТТ У.** и **УИННИНГТОН А.** — Открытое вероломство, перевод с английского, № 6.  
**ДАГИН Е.** — В народном Китае, № 4.  
**ДМИТРИЕВ В.** — Из истории Аляски,  
**ЕФИМЕНКО В.** — Гаулейтеры в Азии, № 2; Происки США в Юго-Восточной Азии, № 6.  
**НАВСТРЕЧУ ВТОРОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,**

- СЕРГЕЕВ М.** — Литературное творчество народов Дальнего Востока, № 4.  
**РЯБОВ Н., ШТЕЙН М.** — Многовековое единство, № 1.  
**САМСОНОВ Н.** — Важный фактор укрепления мира, № 3.  
**УИННИНГТОН А. и БЭРЧЕТТ У.** — Открытое вероломство, перевод с английского, № 6.  
**ШТЕЙН М., РЯБОВ Н.** — Многовековое единство, № 1.

#### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- ВИТРИЩАК В.** — Ниже возможностей, № 1.  
**ГАЙ А.** — Книга стихов П. Комарова на украинском языке, № 2; Оружием сатиры, № 5.  
**ЖУРАВИНА О.** — Повести М. В. Миронова, № 6.  
**КЛИМЕНКО Н.** — Полезное пособие, № 4.  
**КОЛЕСНИКОВА Г.** — У истоков живой воды, № 2.  
**ПЕТРОВ Н.** — Народ — главный герой современной китайской литературы, № 6.  
**РОГАЛЬ И.** — «Невидимки за работой»,  
**РЯБОВ Н., ШТЕЙН М.** — Не искажать историю! № 4.  
**СЕРГЕЕВ М.** — Скачок через века, № 1.  
**СМОЛЯКОВ С.** — Две книжки молодых поэтов, № 4.  
**Трибуна Читателя** — О романе Р. Агнешева «Зеленая книга», № 2.  
**ШТЕЙН М., РЯБОВ Н.** — Не искажать историю! № 4.  
**ШТРАЙХ С.** — Новые исследования о декабристах в Сибири, № 5.  
**ЩЕРБАКОВ А.** — В НОГУ со временем № 1.  
**НОВЫЕ КНИГИ** №№ 1, 2, 4, 6.

Ответственный редактор А. С. Пришвин.

Редколлегия: **И. Г. Машуков, Н. М. Рогаль, С. А. Тельканов,  
Ю. А. Шестакова, М. Г. Штейн, Н. Е. Шундик** (зам. редактора).

Адрес редакции: г. Хабаровск, Комсомольская ул. д. № 58. Телефон 3-33-40